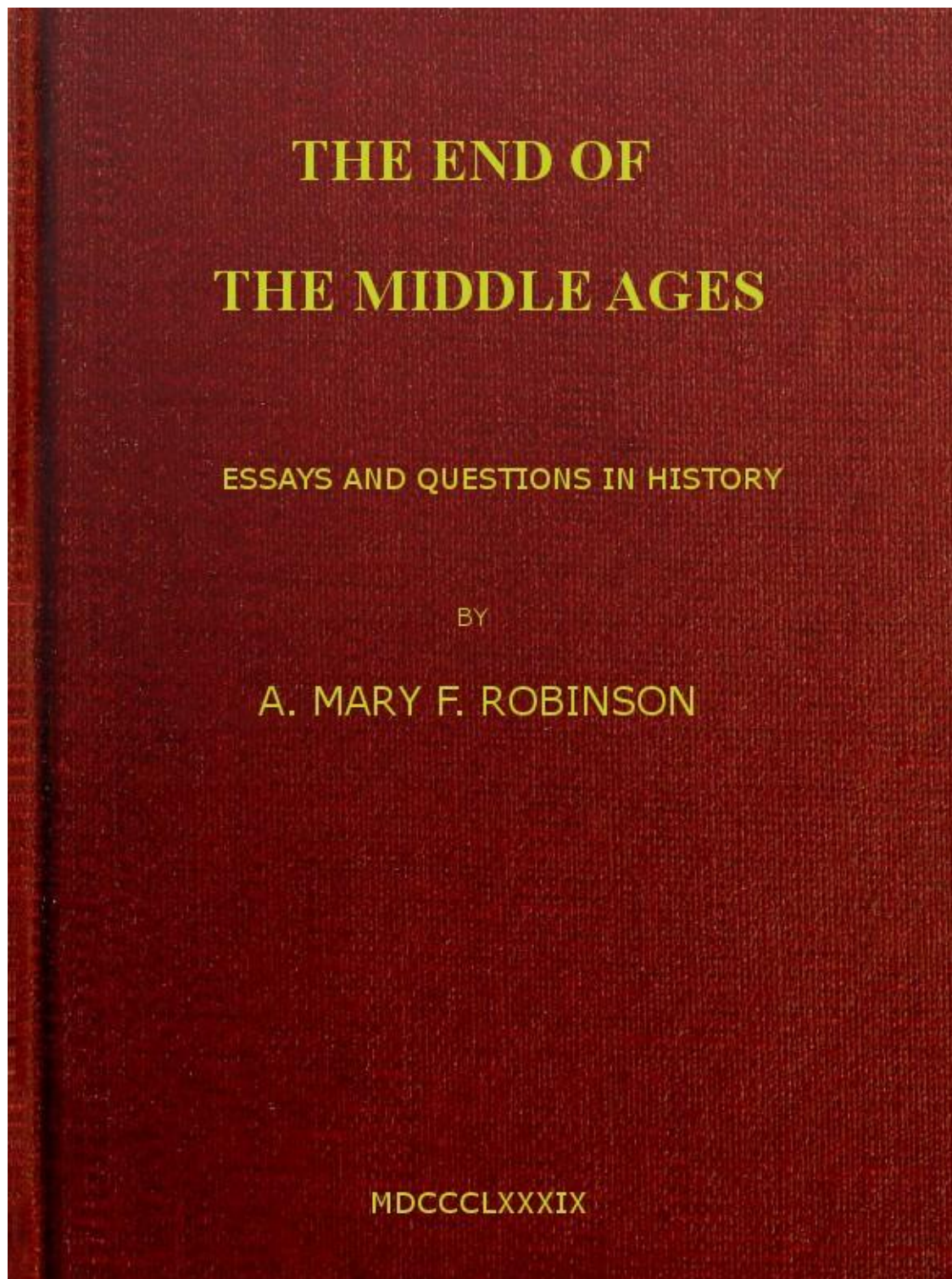


Конец Средневековья. Очерки и вопросы по истории

А. Мэри Ф. Робинсон



The Project Gutenberg eBook of The End of the Middle Ages: Очерки и вопросы истории

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать на условиях Лицензии проекта "Гутенберг", прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: The End of the Middle Ages: Очерки и вопросы истории

Автор: А. Мэри Ф. Робинсон

Дата выхода: 7 ноября 2016 [eBook #53475]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено KD Weeks, deaurider и Online Distributed Proofreading Team на <http://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных The Internet Archive)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE END OF THE MIDDLE AGES: ЭССЕ И ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ***

Примечание переводчика:

Незначительные ошибки, допущенные по вине типографии, исправлены. Пожалуйста, обратитесь к [примечанию](#) транскриптора в конце этого текста, чтобы узнать подробности о решении проблем, возникших во время его подготовки.

Любые исправления отображаются в тексте в виде ссылок на таблицу исправлений в конце примечания. Любые исправления отображаются в тексте в исправленном виде. При наведении курсора мыши на исправленный текст отображается оригинальный текст.

Сноски собраны в конце каждой главы и снабжены ссылками для удобства использования.

На основе титульного листа подготовлено изображение обложки, которое выложено в открытый доступ.

КОНЕЦ СРЕДНИХ ВЕКОВ

ЭССЕ И ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ

МЭРИ Ф. РОБИНСОН

(Мадам Джеймс Дарместер)

Лондон

Т ФИШЕР ЮНВИН

Патерностер-сквер, 26

MDCCCLXXXIX



Посвящение.

Мой дорогой мистер Саймондс, я посылаю вам маленькую книжку, не похожую на многотомник, упитанный документами и достоинствами истории, который я давно собирался вам подарить. Но поскольку ничего лучшего я предложить не могу, примите, дорогой господин, эти грубые и разрозненные страницы. Ибо кому, если не вам, я должен посвятить эту книгу? Оглядываясь назад, я вижу Вас рядом со мной во всех моих исследованиях; за последние десять лет не было ни одного из них, которое не было бы доверено Вам, и, прежде всего, мои мечты об Истории. Так что все, что я пишу, в той или иной степени принадлежит вам; но особенно этот маленький том, о котором мы так много говорили в вашем кабинете в Давосе два года назад. Помните, как вы вели меня по бесчисленным страницам Литты и Муратори в поисках тайны французских притязаний на Милан? Мы не нашли многого из этого, но мы нашли много лучшего; и, что самое лучшее, счастливые часы, которые вы осветили! Часы, в которые вы вызывали у меня, по мере того как мы все глубже и глубже погружались в ваши хроники, великие фигуры прошлого. Сначала они вставали передо мной, бледные и безмолвные, безмолвные и безупречные, как белые впадины ваших Альп; но, по мановению вашей палочки, они обретали свой древний цвет и консистенцию - ту самую улыбку, походку, акцент, страсти, которые двигали ими когда-то под этим солнцем, которое их пережило; их голоса волшебным образом выходили из безмолвных пожелтевших страниц; звуки их битв заново сталкивались в ваших безветренных долинах и на вершинах гор, увенчанных орлами. И, однажды ожив, они остались живы для меня.

Пока я сидел и размышлял, во мне проснулось новое желание - желание схватить эти блестящие явления, лишить их блеклого пурпура, лишить их формы и цвета, обнажить их до самой внутренней ткани и уловить причину и тайну их бытия.

И, прежде всего, понять, что именно они делали, когда и почему. Наши прекрасные хроники не всегда были достаточно точны. Я начал понимать, что то, что мне нужно, надо искать в рукописях и иностранных архивах. И, наполовину испугавшись, [рассказал](#) вам о своем проекте обмена веселого отдыха в Швейцарии на неделю-другую скучных исследований в Париже. С тех пор я долго и упорно работал в Париже, в Лондоне, во Флоренции, и почерк мертвых рук стал для меня привычным; но я никогда не забывал, что именно в уединении вашей возвышенной долины моя задача предстала перед моим мысленным взором. И кому же, если не вам, я должен предложить эти разрозненные руины недоделанного - эти первые неумелые наброски той истории французов в Италии, которую я еще собираюсь написать? Из Давоса они улетели; пусть снова ищут гнездо!

Если бы я лучше воспользовался вашими уроками и вашим примером, я бы предложил вам сегодня не просто сноп фрагментов, а книгу, цельное и связное целое, последовательно одушевленное, во всей сложности и единстве своего предмета, эпохой, идеей, человеком или событием. Ничто другое не может быть по-настоящему долговечным, постоянно полезным. Правда, я пытался (и пусть откровенность этого признания извинит его слабость!) - да, я пытался, по примеру эссеистов, придать видимое единство моим фрагментам с помощью названия, большого и удобного, как плащ милосердия, укрывающий в своих туманных просторах множество незнакомцев.

Ведь, в конце концов, какое отношение имеет швестер Катрей к Карлу VIII, или Изотта из Римини к Мехтильде Магдебургской? Должен ли я признаться, что этот том на самом деле представляет собой фрагментарные очерки к двум ненаписанным историям - одной дома Гогенштауфенов, другой - французов в Италии? Также я могу представить, как вы заметите, что, начиная с тринадцатого века и заканчивая шестнадцатым, мое Средневековье долго умирает:

"Les gens que vous tuez se portent assez bien".

И можно добавить, что в книге о конце Средневековья странно не найти ни строчки о потере Константинополя, ни главы об изобретении книгопечатания или открытии Америки.

Что мне остается делать, кроме как признать свою неполноту? Нет, я даже признаюсь вам, что у меня есть личные сомнения, закончилось ли Средневековье - заканчивается ли какой-либо период в определенную эпоху, а не продолжает существовать, уменьшенный, но мощный, проносясь незаметными токами по обширным венам и тайной ткани мира. Во многих поворотах мысли и привычках, во многих пренебрегаемых конституциях - в первомайском и помещичьем суде, в земельных законах и юденхеце - Средние века еще не закончились. То тут, то там они появляются вновь и пугают нас в неожиданных уголках. Та форма природы, которую мы знаем как историю, как и любая другая эволюция природы, слишком сложна, чтобы ее можно было точно зафиксировать в словах. Слова дают лишь смутное окружение; они - плохо сидящая, готовая одежда мысли.

Поэтому, несмотря на их официальное завершение, мы можем сомневаться, покончили ли мы со Средними веками. И все же вы согласитесь со мной, что персонажи моих очерков уже не принадлежат полностью той эпохе, в которой они жили. Что-то закончилось тогда, что-то началось постепенно. Раса Каина и раса Авеля, мистики, вставшие в

экстаз, или капитаны добычи и грабежа, - все же Экхарт, предтеча Гегеля, и зловещий Джангалеаццо, мечтающий на свой лад о графе Кавуре, каждый из них бессознательно был предвестником эпохи модерна.

Бегинки, приведшие растворителя мистицизма к власти в Риме; папа, покинувший свою истинную столицу в Авиньоне; кардиналы, открывшие раскол: все они, вместе взятые, изобрели Реформацию..... Джангалеаццо Висконти, когда он сделал наследницей дочь Орлеана, подготовил битвы при Мариньяно и Павии и обрек Франциска I на плен в Испании. Даже когда Орлеанская и Бургундская междоусобицы положили начало долгому соперничеству Франциска и императора, великие потомки этих разгневанных домов..... Тем временем многочисленные вторжения в Италию под предводительством герцогов Орлеанских, а еще позже - триумфальное путешествие Карла VIII, вернули Франции великолепие эпохи Возрождения. Таким образом, Халлам завершает Средневековье взятием Неаполя в 1494 году. Как бы то ни было, если вы будете снисходительны, дорогой мастер, вы можете считать мои очерки очень скромным и неадекватным введением в изучение вашего Шестнадцатого века.

Возможно, я единственный читатель, который хоть что-то почерпнул из этой небольшой книги. И, в конце концов, я доволен, что так оно и есть. Учиться гораздо приятнее, чем наставлять; и в процессе обучения человек встречается так много друзей и помощников. Я не могу рассказать вам обо всех, кто со мной подружился, но должен хотя бы упомянуть имена каноника Крейтона, неизменного критика и единомышленника; мистера Брайса, который протянул мне опытную руку и избавил меня от еще нескольких ошибок в феодальном праве; мистера Х. Ф. Брауна из Венеции, который снабдил меня венецианскими транскриптами; профессора Виллари и профессора Паоли из Флоренции (именно последний научил меня палеографии); графа Альбера де Циркура из Парижа, в котором я нашел совершенно бесценного советчика и корреспондента, - ибо, вероятно, ни один историк в Европе не знаком так хорошо с лангобардскими планами Людовика д'Орлеана, как он.

Вам я обязан самым большим долгом из всех. Я благодарю вас не только за написание книги...

Искренне Ваш,

А. МЭРИ Ф. ДАРМСТЕТЕР.

Содержание.



Бегины и братья-ткачи.

СТРАНИЦА

В 1180 году Ламберт Льежский основывает первый бегинаж; быстрое распространение ордена; изобретение родственной гильдии бегардов или братьев-ткачей.	8
В 1216 году изобретение третичных орденов святого Доминика и святого Франциска обеспечивает монашеский эквивалент бегинизма	12
От упадка бегинизм нелегко уберечь благодаря авторитету Мехтильды Магдебургской	14
После ее смерти ересь и мистицизм быстро подрывают бегинские ордена	24
Мнения бегинков	25
Церковь принимает решение об их пресечении	29
Чума бродячих орденов	30
Бегинки поглощаются третичными орденами	31
Бегинки Страсбурга присоединяются к Доминиканскому ордену	32
Среди страсбургских доминиканцев начинает появляться ересь	33
Мейстер Экхарт и его доктрины	33
Свестр Катрей	34
Бегинки были подавлены; но их идеи, незаметно сохранившиеся в тихих уголках, вновь вспыхнули в XVI веке	38

Монастырь Хелфта.

Религиозные различия Тюрингии в XIII веке	45
Гертруда из Хелфты поступает в монастырь <u>Родардесдорф</u> Родардесдорф около 1234 года; прибытие ее сестры Мехтильды	46
Жизнь в монастыре	48
В 1251 году Гертруда избирается настоятельницей.	55
И переводит монастырь в свой замок Хелфта	56
Мехтильда Магдебургская вступает в монастырь, 1265 год	57
Чудеса святой Гертруды	61
Смерть Мехтильды Магдебургской	67
Болезнь святой Гертруды	68
Ее смерть	71

Притяжение бездны.

Наука мистицизма	74
Дно души	75
Только Душа и Бог реальны, мир несуществует	75
Дно души - это Небытие	8
Бог - высшее небытие	82
А сотворенная материя - <i>purum nihil</i>	84

Мир есть Ничто	85
Превосходство позиции мистиков над позицией теологов	87

Раскол.

Папа приезжает в Авиньон. Папы остаются там семьдесят лет. В 1377 году Папа вновь входит в Рим.	95
Изменение облика Рима	96
Роберт Женевский возглавляет папские войска против восставших итальянцев	97
Смерть Григория XI. Конклав в Риме	97
Избран Бартоломмео Приньяно	97
Триумф итальянской партии	98
Непопулярность Приньяно как Урбана VI.	99
Распространяется слух, что его избрание было недействительным. В сентябре 1378 года Роберт Женевский избирается папой в Фонди под именем Климента VII.	100
Раскол	100

Валентин Висконти.

Рождение Валентина Висконти, 1366 г.	102
Ее родословная и детство	103
Возвышение ее отца, Джангалеаццо	104
Описание Валентины	107
Завоевания Джангалеаццо	110
Валентина Висконти обручена с Людовиком, единственным братом Карла VI Французского	111
Причины брака	112
Приданое Валентины	113
Антагонизм принца Людовика со своим дядей Бургундским	115
Бургундия противится браку	116
Валентин прибывает ко двору	118
Описание короля и Орлеана	119
Париж эпохи Средневековья	122
Превосходство Валентина над королем	127
Ее муж приобретает герцогство Орлеанское, 1391 год	128
Король сходит с ума	129
Народ подозревает Орлеан	131
И говорят, что герцог Орлеанский - волшебник.	133
Безумие короля	134

Говорят, что Валентина - ведьма, и что она и ее муж насылают на короля безумие	137
Причины народного раздражения против Валентины	138
Соперничество Франции и Висконти в Генуе	139
Висконти и Орлеан играют на руку друг другу	140
Адрийское королевство	145
Смерть Климента VII.	146
Франция сдает Орлеан и Висконти в Генуе	147
Во Франции заговорили о ломбардской кампании	149
Но катастрофа в Никополе заставляет французов поддерживать дружеские отношения с Миланом	150
Никополь	151
Орлеанская тирания во Франции	156
Смерть Джангалеаццо Висконти	162
Орлеан ведет армию в Ломбардию	164
И внезапно возвращается в Париж	165
Король дарует ему королевские права на Пизу	165
Флорентийцы захватывают Пизу	167
Орлеан обращает свои амбиции на Люксембург, в ущерб Бургундии	169
Орлеана убивают в Париже	170
Бургундия признается в содеянном	173
Валентина пытается восстановить память о своем муже	174
Она умирает с разбитым сердцем	178

Французы претендуют на Милан.

Валентин Висконти передает миланское наследство Орлеанскому дому	181
Согласно брачному контракту, в случае прекращения мужского рода она наследует Милан	184
Таким образом, герцог Миланский избавляется от императорского вотчины	186
Двусмысленность его поведения и намерений	189
Он намерен в равной степени обезопасить себя как от Франции, так и от Империи	190
Необоснованность императорской власти	192
Завещание Джангалеаццо Висконти подтверждает притязания Франции на Милан	193
Судьба детей Валентиниана	196
Орлеан и Ангулем в 1441 году отправляют Дюнуа в Милан, чтобы потребовать от своего дяди Филиппо Мария Висконти возвращения Асти	197
Болезнь миланского герцога	199
Соперничество его наследников	200

Он говорит о принятии дофина Людовика	202
Тем временем Людовик и Савойя планируют завоевание Милана	203
Лига между дофином и миланским герцогом	205
Смерть герцога Миланского	206
Его завещание	207
Французы готовятся отстаивать права Орлеана	209
Райнуар дю Дрезне начинает кампанию	210
Герцог Орлеанский прибывает в Асти, 17 октября 1447 года	213
Он отправляет посольство в Венецию с просьбой о помощи	215
Венецианцы медлят	217
Интриги Савойи	220
Венецианцы решают убить Франческо Сфорца	221
Миланцы неожиданно принимают Сфорцу	229
Его положение по отношению к Орлеану и перед феодальным законом	231
Венецианцы снова решают убить его	233
Усилия Сфорца по легализации своего положения	237
Дофин обещает венецианцам вторгнуться в Италию и лишить Сфорца власти	240
В декабре 1453 года Венеция подстрекает Дофина захватить Милан и изгнать Сфорца. Она заявляет о своей готовности помочь ему людьми или деньгами; или она сделает столько же для герцога Орлеанского в том же начинании. (В примечании приводятся цитаты из венецианских документов, показывающие, как примерно в то же время Генуя, Милан, Венеция и Флоренция принимали меры по защите Италии от вторжения).	241
В апреле 1459 года Венеция заключает мир со Сфорца.	242
Противоположная политика Карла VII и дофина	243
Смерть короля Карла VII.	245
Людовик XI становится твердым союзником Сфорца, но отказывается от Савойи, Орлеана, Дюнуа и Анжу	245
В декабре 1463 года Людовик XI уступает Сфорце французские притязания на Геную	245
Смерть Карла, герцога Орлеанского	246
Смерть Людовика XI, 30 августа 1483 года	247
16 января 1484 года. Венеция направляет Карлу VIII и молодому герцогу Орлеанскому письма, в которых указывает на притязания Франции на Венецию и Неаполь	250
Посольство возобновляется в феврале; но новый мир в Италии и борьба Орлеана за регентство во Франции откладывают дальнейшие планы французского вторжения	251
Вторжение Карла VIII в Италию происходит в 1494 году по инициативе не Неаполя, а Милана	252
Болезнь задерживает Орлеана в Асти, на расстоянии лиги или двух лиг от Лодовико Сфорца в Милане	252

Венеция и Флоренция начинают интриговать с Орлеаном и предлагают французам взять Милан вместо Неаполя	254
Джангалеаццо Сфорца, герцог Миланский, умирает в тюрьме	257
Права регента, Лодовико иль Моро	257
Грамота от императора объявляет его герцогом	256, 257
Отношения между французами и Лодовико Сфорца становятся напряженными	258
В марте 1495 года Венеция, Милан, император, Кастилия и Арагон объединяются в лигу, чтобы изгнать французов, если они не уйдут без оскорблений	260
В июне Орлеан берет Новару	263
Блокада Новары. Орлеан освобожден по композиции	264
Мир между Францией и Лигой заключен в октябре 1495 г. Французы эвакуируются из Италии	265
Флоренция умоляет Орлеана вторгнуться в Италию и настаивает на его правах на Милан, 1497 год	266
Орлеан отказывается покинуть Францию	266
Смерть Карла VIII.	267
Орлеанский становится королем Франции под именем Людовика XII.	267
Людовик XII. завоевывает Ломбардию, 1499 г.	268
Император подтверждает свои победы и сообщает о привилегиях, дарованных Лодовико Сфорца	269
Права Людовика XII. и Франциска I. на Милан	269
Французы теряют Милан в битве при Павии	270
Попытки вернуть Милан, 1527-1536 гг.	271
Крепийский договор	271
Смерть Карла II Орлеанского оставляет Милан испанцам	272

Малатеста из Римини.

Карло Малатеста, лорд Римини, будучи бездетным, усыновляет трех родных сыновей своего умершего брата в 1427 году	274
и добивается их узаконивания перед своей смертью в 1429 году.	275
Его преемником становится старший, Галеотто, прозорливый аскет	276
В 1430 году Гисмондо, его младший брат, отбивает папские войска и освобождает Римини, будучи в то время двенадцати лет от роду	279
Галеотто изгоняет евреев	279
И умирает	280
Гисмондо становится преемником, отбивает армии Урбино и Пезаро, обручается с дочерью Карманьолы и женится на Джиневре из Эсте, 1432 год	281
Он восстанавливает Рокку и знакомится с Изоттой дельи Атти.	284
Характер Изотты	285

В 1440 году жена Гисмондо внезапно умирает. В 1442 году он женится не на Изотте, а на дочери Сфорца.	287
Он перестраивает церковь Римини в честь Изотты	287
Архитектура и декор	287-294
Внезапная смерть Полиссены Сфорца	294
Триумфы и предательства Гисмондо в качестве капитана	295
Он дезертирует из Аррагона в Анжу	296
Начало его неудач	296
В этот момент его враг, Инеас Сильвий Пикколомини, избирается Папой Римским, 1453 г.	296
Чучело Гисмондо хоронят на улицах Рима, а его самого отлучают от церкви	297
Он тщетно ищет помощи у анжуйцев в Неаполе	297
Он женится на Изотте и оставляет ее регентом в Римини	297
Нанимается к венецианцам, проводит кампанию в Морее и привозит домой кости Гемистуса Плето в 1465 году	298
Разорение и смерть Гисмондо Малатеста	299

Миланские дамы.

Убийство Галеаццо Марии Сфорца в 1476 году	300
Герцогиня Бонне и ее дети оставляют ведение дел Чекко Симонетте, секретарю покойного герцога и его отца, великого Франческо Сфорца	300
Симонетта изгоняет братьев покойного герцога	301
Он ссорится с фаворитом герцогини, который уговаривает ее отозвать своего шурина Лодовико иль Моро	302
Лодовико тайно возвращается в Милан; обезглавливает Симонетту	303
И запирает двух своих маленьких племянников в Тауэре.	303
Он правит Миланом с титулом регента и изгоняет герцогиню	304
Его племянник, Джангалеаццо Сфорца, женится на Изабелле Аррагонской, внучке короля Неаполя.	305
Лодовико Сфорца женится на Беатриче д'Эсте, дочери герцога Феррары	306
Ревность Беатриче и Изабеллы	306
Изабелла обращается к Неаполю и побуждает отца и деда объявить войну Лодовико в защиту прав Джангалеаццо	306
Лодовико приглашает французов вторгнуться в Италию, чтобы поддержать французские притязания на Неаполь, 1494 год	307
Смерть герцогини Беатриче, январь 1496 года	309
Портреты Сфорца и Висконти	312

Бегство Пьеро Медичи.

Карл VIII вторгается в Италию, 1494 год	315
Энтузиазм народа и Савонаролы по отношению к французам	315-319
Савонарола	319
Пьеро Каппони	320
Пьеро Медичи	321
Его легкомысленное и несерьезное правление оставляет Флоренцию на милость французам	322
Пьеро тайно покидает Флоренцию и отправляется на переговоры с Карлом VIII.	325
Соглашается на экстравагантные требования короля	331
Возмущение Флоренции	335
Пьеро изгоняют из города	337

Французы в Пизе.

Габриэль Мария Висконти, владыка Пизы, объявляет себя вассалом короля Франции, 1404 г.	340
Маршал Бусико отправлен в качестве французского губернатора в Геную, 1402 г.	341
Характер Бусико	341
Его планы по захвату города в Ломбардии	341
Но его союзники, флорентийцы, слишком заняты осадой Пизы.	342
Людовик Орлеанский направляется в Ломбардию, 1403 год	343
И внезапно возвращается во Францию	343
Бусико принимает Висконти в качестве вассала короля за Пизу	345
Король передает Орлеану все королевские права на Пизу	345
Флоренция вступает в спор с Бусико, своим союзником, утверждая, что она имеет больше прав на Пизу, чем французы	345-8
Тем временем пизанцы изгоняют Габриэля Марию Висконти, который укрывается в Генуе и требует помощи у французского короля, своего сеньора	350
Бусико пытается устроить дела <i>по-людски</i>	351
Пизанцы отказываются принять Габриэля Марию, но предлагают напрямую отдать себя Франции, как это уже сделала Генуя	351
Буко уговаривает Габриэля Марию принять компенсацию и отправляет в Пизу французский гарнизон и галеру с провизией	352
Пизанцы захватывают экипаж галеры, бросают его в тюрьму и снабжают город провизией для длительного сопротивления за счет Бусико	352
Висконти продает Пизу флорентийцам	353
Бусико уговаривает короля Франции принять флорентийцев в качестве своих вассалов за Пизу	354
Король соглашается и подписывает соответствующий договор; однако в следующем году он объявляет Бургундию и Орлеан сеньорами Пизы и просит Бусико помочь им против флорентийцев. Бусико отказывается	365

Флорентийцы берут Пизу. Гнев во Франции. Герцог Орлеанский бросает флорентийских послов в тюрьму: их освобождает его вдова после его смерти.	
Семьдесят лет рабства для Пизы	367
Но когда в 1494 году Карл VIII Французский вторгается в Италию	368
он обязуется поддерживать пизанцев в их свободе.	369
Пизанцы изгоняют флорентийцев и объявляют себя Свободной Республикой.	369
Разногласия в лагере Карла	370
Карл торжественно клянется Флоренции, что восстановит Пизу по возвращении из Неаполя	371
Пизанцы отправляют адвоката к королю в Рим, умоляя его не выдавать их Флоренции	373
Луи де Линьи-Люксембург вместе с другими приверженцами Орлеанской партии поддерживает дело пизанцев	376
Савонарола встречается с королем в Поджибонси и призывает его вернуться через Флоренцию	378
Но король возвращается через Пизу и не отдает город,	380
Король обещает сообщить флорентийцам о своем решении, как только прибудет в Асти	385
Тем временем он оставляет Энтрагеса с французским гарнизоном в Пизе.	385
Король, прибыв в Турин, призывает Энтрагеса уступить Пизу флорентийцам	388
Энтраг отказывается	390
Он заключает договор с пизанцами	391
Пиза становится номинально свободной республикой	393
Бедствия французов в Неаполе	394
Бедствия Флоренции	395
Милан и Венеция интригуют за Пизу	396
И Пиза никогда не простит французам своей свободы	396

Бегины и братья-ткачи.^[1]

I.

С наступлением тринадцатого века мир пробудился от своего долгого и беспробудного сна. Начался век веры, чудесный век, голодающий из-за отсутствия хлеба и питающийся небесными розами. Святой Людовик и святая Елизавета, красноречивый Доминик и пламенный Бонавентура, Фома Аквинский и Франциск, *славный поверенный Дио*, провозглашают восторженный дух эпохи. Это век рыцарства не только в религии, но и в любви, век, чье несколько натянутое и мистическое представление о добродетели подслащено новым сильным импульсом человеческой жалости. Мир начинает видеть; и зелень земли, и птицы воздуха, и рыбы моря становятся ясными и заметными вещами в

глазах святых. Мир просыпается и чувствует. Жан де Мата и Феликс де Валуа, господа из Мо, посещают тюрьмы Франции и выкупают из Марокко многие сотни пленников. Со всех сторон люди начинают любить больных, бедных, грешных; даже жаждать болезней и бедности, как будто они сами по себе добродетельны; даже задаваться вопросом, не могут ли грех и зло быть святым средством для умерщвления духовной гордыни. Спасти пленника, накормить голодного, выхаживать прокаженного, как Елизавета Венгерская выхаживала Христа в своем тюрингском городе - вот новый идеал человечества. И этот век чувств - не меньший век спекуляций, метафизических исследований, разнообразных ересей и расколов. Ни один новый Бернард не останавливает своей искренней догмой тысячи теорий, которые повсюду возникают и распространяются.

Началась современная эпоха. Святые предыдущих лет были людьми более воинственными или монашескими, догматическими умами, такими как Бернар Клервоский, Норберт, Томас Бекет. Эпоха благотворительности и спекулятивной мысли начинается, когда двенадцатый век подходит к концу.

С последнего года одиннадцатого века и до окончательного изгнания христиан из Сирии в 1291 году в непрерывном крестовом походе почти не было перерыва. На протяжении всего двенадцатого века этот энтузиазм жалости к мертвому Искупителю, оставленному в руках неверных, поддерживался в горячке. Позже он был смягчен и расширен новым духом милосердия по отношению к больному и заблуждающемуся человечеству. Но в первые сто лет Священной войны она поглотила все самое святое и чистое, самое пламенное и благородное в европейском человечестве. Все уходило, чтобы пасть на полях Палестины или вернуться странно изменившимися через много лет. Франция, Англия, Германия и Фландрия, каждая в свою очередь, командовали благочестивым воинством; но так же, как эти страны были славны на Востоке, они были бесплодны и пусты на родине. Целые районы кукурузных полей и пастбищ снова превратились в мох и болото. Целые деревни поределели от здоровых и деятельных мужчин. По всей Европе распространились бедствие и нищета. Это были тяжелые годы для опустевших женщин. Их прядильщицы и бродильщицы не могли купить им хлеба, и им приходилось с трудом жить до возвращения кормильцев. Даже когда армии вернулись из Палестины, многие не вернулись: многие умерли от странных азиатских моровых поветрий, многие не выдержали долгого пути; кости одних обесцветились на песке пустыни, другие побелели в море. А некоторые из них обрели венец, к которому тогда стремилась и жаждала каждая благочестивая душа. Они пали, как желала пасть Мехтильда Магдебургская, кровь их сердец струилась под ногами язычников. И когда поредевшие и немощные ряды оставшихся в живых пришли в свою страну, по всем обездоленным вдовам Европы прокатился страшный крик.

Их положение было поистине жестоким. Некоторые, правда, искали отдыха и покоя в монастыре; но в те времена монастырь был смертью для мира. О благотворительных орденах Франциска и Доминика еще и не мечтали. Только великие медитативные ордена предлагали абсолютное отречение и абсолютное уединение. Робкие и цепкие сердца не могли так полностью отречься от мира; многие энергичные духи не чувствовали призвания к мечтательной тишине монастырской обители. И для них мир был жесток. Они должны были выпрашивать хлеб, который редко удавалось заработать своим трудом. Одно страшное ремесло, которое по воле мужчин всегда остается открытым для отчаяния женщин, находило много последователей. Но были и чистые, и святые, и почтенные, и умирающие женщины, которые не могли жить в грехе. И на каждом рынке можно было увидеть несчастных и голодных просительниц, взывающих: "Ради Бога, дайте нам хлеба, хлеба ради любви Христовой!"

Swestrones Brod durch Got. Сестры хлеба ради Бога. Это имя часто встречается в более поздней письменности. Название в единственном числе стало привычным. Ибо когда мы читаем о жалком нескрываемом благочестии, когда мы читаем о смиренных заслугах, обличающих грехи высокомерных церковников, и в рассказах о странных мистических ересьях, и в списках запретов и сожжений, мы часто встречаем в монашеской латыни Германии и Фландрии эту необычную фразу: мы снова слышим о *Swestrones Brod durch Got*.

II.

В 1180 году в Льеже жил некий добродушный, заикающийся священник, известный из-за своей немощи как Ламберт ле Бег. Этот человек жалел обездоленных вдов своего города. Несмотря на затрудненную речь, он, как это часто бывает, обладал определенной силой и красноречием в проповеди. Его слова, которые трудно было найти, приводили к убеждению, когда они приходили. Этот Ламберт так тронул сердца слушателей, что на него посыпались золото и серебро, отданные на помощь тем из обездоленных женщин Льежа, которые еще вели добрую и благочестивую жизнь. На собранные таким образом деньги Ламберт построил небольшой квартал из домиков, в центре которого находилась церковь и больница, а по бокам - кладбище. Здесь он поселил бездомных вдов, по одной или две в каждом домике, а затем составил полумонашеское правило, которым они должны были руководствоваться в своей жизни. Правило было очень простым, совершенно неформальным: никаких обетов, никакого великого отречения, связанного со *Swestrones Brod durch Got*. Определенное время дня отводилось для молитвы и благочестивых размышлений; остальные часы они проводили за прядением или шитьем, наводили чистоту в доме, а во время болезни ходили в качестве сиделок по домам горожан. Им предписывалось быть послушными и целомудренными до тех пор, пока они остаются в сестринстве, но они могли по своему желанию выйти замуж без всякого позора. Если богатые женщины решали вступить в новую несанкционированную гильдию, они могли оставить часть своего богатства любому наследнику по своему выбору. Таким образом, эти женщины, хотя и благочестивые и замкнутые, все же были в мире и от мира; они помогали в его бедах и разделяли его страдания, а при желании могли снова вступить в борьбу.

Вскоре мы видим, что название *Swestrones Brod durch Got* было заменено на более привычное название *Beguines*, или *Beghines*. Различные авторитеты дают разное происхождение этому слову. Некоторые, слишком фантастичные, возводят название к святой Бегге, святой монахине седьмого века. Некоторые считают, что оно было взято в память об основателе, благотворителе Ламберте ле Беге. Другие полагают, что, подобно мистикам, или муттерам, лоллардам, или хаммерам, папельгардам, или бабблерам, бегинцы, или стаммеры, получили такое прозвище за постоянное бормотание в молитве. Это правдоподобно, но не настолько, как предположение доктора Мосхайма и месье Августа Юндта, которые выводят слово *Beguine* от фламандского глагола *beggen* - просить. Ведь мы знаем, что эти благочестивые женщины были настоящими нищими, и нищими они должны были стать снова.

С удивительной быстротой новый порядок распространился по Нидерландам, Франции и Германии. В каждом городе был свой избыток бездомных и благочестивых вдов, а также своя небольшая квота женщин, которые хотели бы провести свою жизнь в делах добра, но не имели призвания к монастырю. Бегинаж, как его называли, стал домом и убежищем для обеих категорий. До 1250 года бегинки, или сестры-попрошайки, были в Тирлемоне, Валансьене, Дуэ, Генте, Лувене и Антверпене во Фландрии; во всех главных городах Франции, особенно в Камбре, где их насчитывалось более тысячи; в Бале и Берне в

Швейцарии; в Любеке, Гамбурге, Магдебурге и многих городах Германии; две тысячи бегинок в Кельне и многочисленные бегинства в благочестивом городе Страсбурге.

Так орден распространился в пределах памяти одного человека. Ламберт, возможно, дожил до того времени, когда в каждом большом городе, находившемся в его ведении, появились бегинки; но мы больше не слышим о нем. Бегинки теперь не для Льежа, а для всего мира. В каждом городе была своя тихая община, и у любой больничной койки можно было встретить женщину, одетую в простой плащ и большую мантию, похожую на вуаль, которая жила только для того, чтобы молиться и творить дела милосердия. Они были очень благочестивы, эти незакрытые сестры бедных. Невежественные женщины, познавшие самые страшные опасности жизни и смерти, их пыл был теплее, глубже, неграмотнее, чем набожность монахинь; они молились, как только что спасенные от позора, разорения и голодной смерти. Их тихое, невыразимое благочестие стало пословицей, почти упреком; так же, как в Англии, на нашей памяти, относились к бескровному благочестию методистов. Когда дитя Елизавета Венгерская постилась и видела видения в Вартбурге, принцесса Агнес, ее мирская невестка, не могла найти более жестокой насмешки, чем эта: "Думаешь, мой брат женится на такой девице?". И это в 1213 году, всего через восемь с половиной тридцать лет после того, как Ламберт построил первый приют для обездоленных вдов Льежа.

III.

Успех бегинок стал примером для подражания; идея гильдии благочестивых, незамутненных тружениц мира захватила воображение Европы. Еще до того, как святой Франциск и святой Доминик учредили ордена святых, в каждом городе Нидерландов тихо рос дух братства, не навязанный никакими правилами, а являвшийся естественным импульсом народа. Ткачи, целыми днями сидящие в одиночестве за своими грохочущими станками, оружейники, выбивающие свои мысли в железе, портные со скрещенными ногами и сапожники, думающие и сшивающие вместе, - эти люди, молчаливые, благочестивые, задумчивые, объединились в братство по образцу бегинцев. Их называли Братьями-ткачами. Не связанные никакими обетами и не скованные никакими правилами, они по-прежнему жили мирской жизнью и занимались своим ремеслом по найму. Только в свободное время они собирались вместе, молились, мечтали и размышляли. Неученые люди, с горячим недисциплинированным воображением, они задавались целью разгадать величайшие тайны земли и неба. Иногда, в своей возвышенной и опасной смелости, они натывались на истину; чаще они забредали далеко, ведомые волей-неволей своих собственных неуправляемых мыслей. В долгие напряженные часы ткачества и шитья они находили странные ответы на проблемы человеческой судьбы, а на досуге, затаив дыхание, обсуждали эти теории, как другие люди обсуждают свои шансы на лучшую зарплату. Таковы были основатели великого братства *Fratres Textores*, или *Beghards*, как в более поздние годы называли их в народе. И философия их так странно абстрактна и далека, что мы не смогли бы ее объяснить, если бы не знали, что время от времени к скромному братству присоединялся какой-нибудь светский священник или богатые и благочестивые миряне. И священник приносил в их копилку тусклых чудес александрийские теории псевдо-Дионисия, которые тогда, во всех монастырях христианства, считались краеугольным камнем священной философии. Мы можем представить себе, с какой жадностью эти простые люди хватали освященные фрагменты Эригены и Ареопагита и как они хранили их как священные тайны в глубине своих нежных и мистических душ. Мы знаем, что время от времени какой-нибудь посвященный священник вступал в несанкционированный, но благочестивый орден бегардов; нет ничего удивительного в том, чтобы предположить, что время от времени какой-нибудь крестоносец, только что прибывший с Востока, приносил им свои воспоминания о

восточных теориях; что какой-нибудь ученый добавлял строчку из Авиценны или Аверроэса. Через какой-то канал, очевидно, бегарды получили последний слабый ручеек александрийской теории. Их смутный, идеалистический пантеизм - лишь отголосок Плотина и его школы. Из монастырей, от арабских комментаторов Аристотеля или непосредственно с Востока до них должны были дойти эти фрагменты неоплатонической философии; из них должны были развиться, прежде всего, великие метафизические ереси Средневековья, а позднее - привычка ума, которая привела к немецкой Реформации.

IV.

Пока бегарды и бегины медленно, незаметно приближались к великой пропасти ереси, создание двух новых орденов в Риме коварно отняло у них большую часть их престижа. Пока францисканцы и доминиканцы не получили санкции Папы, бегины казались естественным средством между жизнью монастыря и жизнью мира. Но новые благотворительные ордена обладали всей активностью и благотворностью бегинок, а также дружбой и защитой Рима. Еще некоторое время бегинцы процветали, оставаясь ортодоксальными и авторитетными; но орден получил свой смертельный удар в тот день, когда Франциск и Доминик получили папскую санкцию на свои третичные ордена покаяния.

Третичные ордена Доминика и Франциска стали новым отходом от эксклюзивных теорий римского монашества. Они были придуманы для мужчин и женщин святой жизни, женатых и все еще живущих в миру, которые желали более тесной связи с Церковью, чем это свойственно обычному члену конгрегации. Они принимали участие в мирских радостях и печалях, победах и поражениях, но молились дольше, чем другие мирские люди, делали больше добрых дел, больше смотрели на небо. Учреждение этих орденов стало широкой брешью в барьере, отделяющем монастырь от мира, священное от профанного. На самом деле, как уже понял читатель, они представляли собой иерархическую версию тех братств, которые создавали между собой некрещенные бедняки: бегины и бегарды, находящиеся под защитой церкви.

Таким образом, идея светского бегины была преобразована в священную. Примеру бегинок последовала Церковь, которая, освятив эти новые ордена, провела огромную реформу старого исключительного монашеского идеала, сделав огромную уступку новому демократическому духу, вдохновляющему всех людей. До сих пор монастырь был убежищем и укрытием от шумных народов. Он был подобен ковчегу, плывущему над бурными водами, предлагая безопасность тем, кто находился внутри него, но не заботясь о шумной толпе, которая тонула и боролась за его пределами в нарастающем потоке. Целью Франциска и Доминика было покинуть это отстраненное и возвышенное убежище, пойти и обличать заблуждающихся и спасать невежественных, быть другом и братом грешников и мытарей, магдалинов и прокаженных, вернуться, по сути, к старому демократическому идеалу христианской церкви. Они должны были быть бедными среди бедных, вооруженными только броней веры. Они должны были стать в мире глашатаями Бога. Сестры ордена должны были быть смиренными женщинами, братья - монахами-мендикантами. Поначалу они брали от мира не больше, чем странствующие бегинки в более поздние времена - только воду, хлеб и одежду. Но вскоре это строгое правило абсолютной бедности было отменено, и доминиканцы, во всяком случае, никогда не испытывали нужды.

У каждого ордена была своя миссия. Доминиканцы, братья-проповедники, должны были убеждать черствых сердцем, укреплять немощных, утешать опустошенных, предупреждать заблуждающихся и истреблять еретиков. Однако, как ни странно, этот самый ортодоксальный орден, эти стражи Господа, должны были стать в Германии центром

мистических ересей. Орден святого Франциска, Младшие братья, имел более нежный и экстатический идеал. Они ходили нищими по миру, ухаживали за больными, любили беспомощных, проповедовали птицам и рыбам, полные причудливого сострадания к миру, святого безрассудства. Мало было сердец, настолько твердых, что, хотя их и не сотрясали бури Доминика, они не таяли перед сладкой францисканской святостью. И вот два ордена путешествовали по свету, сдвоенные силы и голоса жалости. Но рыцарская и воинственная жалость Доминика, жаждущего отомстить за оскорбленного Христа, постоянно распинаемого неверными, слишком часто принимала форму гнева и сожжений, в то время как Франциск любил заблудших с простой человеческой жалостью. В ответ мир одарил и до сих пор одаривает его чем-то вроде удивительного сострадательного почитания, которое восточные народы оказывают Чистому Юродивому, человеку, не запятнанному мудростью мира и по-прежнему окутанному простотой Бога. Между собой эти два ордена должны были разделить христианский мир. Утвержденные в один и тот же год и под одним и тем же гостеприимным правлением Августина, они триумфально отправились выполнять свои различные миссии. Вдохновленные, скорее всего, примером бегинцев, они вскоре поглотят светский орден в свои могущественные силы. И настоящий упадок бегинизма начинается не в 1250 году, когда светские братства впервые уличили в ереси, а в тот день 1216 года, когда ученый Доминик и прозорливый Франциск встретились и обняли друг друга на улицах Рима.

V.

Поначалу внешнее положение бегингов и бегардов не представляло ни опасности, ни недостатка. Их братство всегда было светским братством; их положение благочестивых мирян было таким, что святость сочеталась с независимостью. Бегинажи по-прежнему процветали и множились. Особенно в Низких странах, а также в Камбрее, Страсбурге, и Кельне - местах, где мистицизм всегда был дорог, а церковная власть никогда не была желанным игром, - бегинизм развивался быстрыми темпами. Но несомненно, что одной из главных причин, которая в течение тридцати лет предотвращала гибель светских братств, было присутствие в их среде одной из самых замечательных женщин своего века; женщины, которая для бегинков была всем тем, чем святая Елизавета была для францисканцев или Екатерина Сиенская должна была стать для ордена святого Доминика. Этим одаренным и необычным существом была пророчица Мехтильда Магдебургская.

Мы не знаем названия замка, в котором в 1212 году родилась Мехтильда Магдебургская. Он не мог находиться очень далеко от города, который должен был стать ее убежищем и имя которого она носит. Титул ее отца также утерян, но несомненно, что она происходила из знатного и придворного рода. Ее семья, вероятно, была религиозной, поскольку известно, что ее брат Балдуин стал одним из доминиканцев в Галле.

Мехтильда была, как она сама вспоминает, самой дорогой из детей своих родителей, и эти придворные и благочестивые тюрингские дворяне, похоже, гордились своей маленькой дочерью, как и любили ее. Она получила либеральное образование. Ее книга о струящемся свете Божества написана с энергией, сладостью и разнообразием стиля, сильно контрастирующими с "Гертруденбухом" и "Мехтильденбухом" Хелфты. Музыка ее стихов доказывает, что она была знакома с лирикой миннезингеров. Они, несомненно, посещали замок ее отца. Но маленькая Мехтильда не мечтала о поэзии и рыцарях-оруженосцах. Это позже она будет сожалеть о бедных тщеславных менестрелях, которые в аду выплакивают больше слез, чем воды в море.^[2] В детстве все ее мысли были о святых на небесах. Когда ей было двенадцать лет, девочку посетил (по ее словам) Святой Дух, и с этого момента она захотела оставить этот мир.

Это был момент сильного духовного возвышения, 1224 год. Неподалеку в Вартбурге семнадцатилетняя ландграфиня Елизавета вызывала удивление своего народа своей набожностью и сладостным аскетизмом. Хлеб, чудесным образом превращавшийся в небесные розы, прокаженный, за которым она ухаживала, превращался в сияющего Христа, истории о ее видениях и бичеваниях, несомненно, были знакомы маленькой Мехтильде. Император Фридрих II уже собирал своих вельмож для злополучного крестового похода на еретиков. В этом же году на Монте-Лаверне святой Франциск получил стигматы. Бланш Кастильская и ребенок Святой Людовик правили Парижем, как король Артур мог бы править своим двором в Камелоте - властью любви и нежности. В то же время ужасающая распространенность проказы и моровой язвы, войны и страшный голод делали мир столь же страшным, сколь и желанным. Те, кто помнит состояние Айзенаха, описанное в житии святой Елизаветы, могут представить себе, с какими видами человеческих страданий ежедневно сталкивалась маленькая Мехтильда. А неподалеку, в обширных лесах Пруссии, обитали язычники, не знавшие ничего лучшего, чем этот жестокий мир. В том же году некоторые рыцари-крестоносцы отправились на завоевание этого языческого королевства. Таким образом, когда с одной стороны была святая Тюрингия, а с другой - языческая Пруссия, когда война, голод и мор были частыми просителями у ее ворот, неудивительно, что маленькая Мехтильда разделяла духовный пыл своего времени и жаждала отдать себя Небу.

Но она, подобно Гертруде и Мехтильде из Хаккеборна, не ушла в монастырь в младенчестве. Скорее всего, она поддалась на уговоры своей семьи, "из которой она всегда была самой дорогой". Проходил год за годом, а Мехтильда все еще жила в замке своего отца. Но после того единственного детского мгновения экстаза сладость и честь мира показались ей тщетными и бранными. И все же ее больше не посещали ни транс, ни видения. Она не была мечтательницей, эта жаждущая Мехтильда, но энергичной и здоровой девушкой, в расцвете прекрасной и похотливой юности, бдительной, страстной, с умом, бодрствующим над всеми вопросами и интересами окружающего ее мира. Такая натура по инстинкту не может быть мистической; но странная зараза времени коснулась ее и медленно действовала на ее внутреннюю сущность. Все сильнее и сильнее становились напряженные нездешние побуждения: *"без греха, чтобы не быть опозоренной перед миром"*.

Одиннадцать лет это желание росло и крепло, одиннадцать лет Мехтильда боролась с ним. С каждым днем оно становилось все более настойчивым, все более покорным. Наконец, в 1235 году, в год канонизации Елизаветы, когда Мехтильде было двадцать три года, она тайно покинула отчий дом и бежала в Магдебург. Она оставила всех - братьев и сестер, отца и мать, "из которых она была самой дорогой", и придворную почетную жизнь, и тихое счастье любви и безопасности. *Frau Minne, ihr habt mir benommen weltlich Ehre und allen weltlichen Reichthum!* Она оставила все, следуя побудительному импульсу Священной Любви.

Когда она добралась до чужого города, когда оставила далеко позади себя далекий дом, где и сейчас ее родные удивляются, скучают и ищут ее, когда в Магдебурге на нее опустилась ночь, Мехтильда захотела найти приют. Измученная бегством, она решила попросить какой-нибудь женский монастырь предоставить ей убежище. В этих святых стенах она могла бы более искренне предаться Богу.

Она постучалась в дверь монастыря и попросила приюта, сказав, что хочет стать монахиней. Но тихие сестры не доверяли этой красивой, измученной путешествиями девушке трех- и двадцати лет, без средств, друзей и рекомендаций, одинокой ночью на беспокойных городских улицах - девушке, которая, по ее собственному признанию, сбежала из отцовского дома. Вскоре двери этого дома были закрыты для нее. Однако в таком большом архиепископском городе, как Магдебург, было много монастырей. В монастырь за

монастырем отправлялась отчаявшаяся девушка, находя в каждом из них, несомненно, отдых для конечностей и пищу для тела, но ни в одном из них она не находила дома. Ведь ни один религиозный дом не принял бы это недружелюбное и подозрительное создание в свое чистое сообщество. Когда за ней закрылись последние двери, Мехтильда стояла на улице, одна в Магдебурге. Наверное, тогда до нее дошло, что наконец-то исполнилось ее великое желание - *без греха она была опозорена перед всем миром.*

Когда Мехтильда покинула родительский замок, она выбрала Магдебург местом своего укрытия, потому что в этом городе жил друг ее семьи. Она думала скрепя сердце думать об этом ненаглядном друге, который мог стать для нее последним спасением в трудную минуту. Но теперь, когда возникла необходимость, Мехтильда не стала искать его. Она знала, что он попытается переубедить ее в правильности выбранного ею пути, а Мехтильде требовалось все ее мужество.

Так, недружелюбная, одинокая, она стояла на улицах Магдебурга. Тогда она вспомнила о другом пристанище, скромном, но безопасном. Она покинула дом только для того, чтобы быть униженной. Каким же унижением было бы вступление, подобно дорогой святой Елизавете, в святой орден святого Франциска? Или какое унижение, если бы она, подобно своему брату, приняла правило Доминика, "самого дорогого для меня, - говорит она, - из всех святых"? Здесь не было духовной жертвы. А на какую жертву жизни, социальных привычек, уважения она могла бы пойти, если бы поступила в один из великих цистерцианских или бенедиктинских монастырей, куда дворяне Саксонии и Тюрингии с гордостью отправляли своих дочерей? Мехтильда была рада, что они отвергли ее; ей казалось, что наконец-то, чистая от гордыни, свободная от слабых желаний, она увидела свою собственную волю и направляющую волю Бога.

Теперь она двигалась; она знала, что делать и куда идти; она больше не была неуправляемой и одинокой. Она отправилась в бегинаж, дом вдов-подвижниц, богадельню святых нищих, отдавших себя Богу. В эту дверь, не допускавшую никого в мир, Мехтильда постучала. Ей открыла бедная женщина, одетая в простой плащ и большую мантию, покрывавшую голову и плечи. Еще одно платье и плащ лежали рядом, готовые принять Мехтильду. Она вошла в дом.

В ту ночь Мехтильда стояла в своей маленькой келье. Она была очень похожа на монастырскую келью, но в ней не было ни монастырских ограничений, ни привилегий. Мехтильда могла покинуть эти стены в этом году, в следующем, в любом. Она могла выйти замуж и завести детей. В конце концов, она не принесла в жертву свое тело; она не умерла для мира, но теперь должна была жить и трудиться в нем едва ли не больше, чем в замке своего отца. Отныне между ее душой и грехом не должно было стоять никакой преграды. Битва еще не закончилась, она только началась.

Гораздо легче было принести большую жертву, принесенную раз и навсегда! Гораздо спокойнее было в тихом женском монастыре, освященном восторгом и уединением! Теперь Мехтильда была только служанкой, а не невестой Христа. Она была девицей, а не монахиней. Опытная дочь знати, она была спутницей обездоленных и ничтожных. Так было лучше, лучше быть смиренной и презираемой, как был презираем Христос. Все эти мысли - ужас, восторг, усталость и возвышение - метались и сталкивались в усталой груди Мехтильды. Затем, во второй раз, транс накрыл ее, и она без сознания погрузилась в вечно присутствующие объятия Бога.

Затем в видении Мехтильда увидела, что отныне ее жизнь будет вдвойне славной и вдвойне полной опасностей. Ангел и дьявол, которым до сих пор было позволено вести ее и нападать на нее, чудесным образом разделились на две части. Теперь справа от нее стояли херувим с

дарами и святой мудростью на лазурных крыльях и серафим, несущий ей сердце любви. А слева за ней наблюдали два дьявола - два дьявола, которые во все времена подстерегали мистика и одинокого провидца. И имя одного из них - Тщетная Слава, а другого - Тщетное Желание.

VI.

С ночи этого видения начинается карьера Мехтильды и история ее видений и пророчеств. Поначалу видения Мехтильды Магдебургской, занятой покорением своей сильной и похотливой юности, мало чем отличаются от видений любой монастырской святой. Ангелы и дьяволы, прекрасное мужское естество Господа, фрагменты из Песни Песней Соломона, восторг от духовных бракосочетаний - таковы неизбежные темы. Но эта женщина, мы чувствуем, не просто Гертруда или Мехтильда Хаккеборнская. Ее интересует весь мир и его судьбы. Читая книгу, в которой она записывала свои видения, книгу струящегося света Божества, мы вскоре переходим от этой начальной стадии ко второй и более широкой.

"Я видел одного человека;

Ihr Name ist die ewige Hass."

Этими беременными словами начинается "Видение ада" Мехтильды. План этого великого видения, в котором, сменяя друг друга и расширяя террасы, предстают обиталища грешников, с огнем и тьмой, смрадом и холодом, и болью в самой нижней яме, не меньше, чем план поэмы, в которой наказываются многие распространенные грехи Церкви, оба они напоминают о еще не родившемся великом поэте, который также должен исследовать глубины ада и высоты рая, который должен принять в качестве проводника в рай некую таинственную Матильду,

"Cantando come donna innamorata,"

в которой ученый герр Прегер узнал нашего искреннего небесного менестреля, любящую и поющую Мехтильду Магдебургскую.

Форма видений Мехтильды не сделала ее популярной среди церковников ее города. Народ подхватывал лилейные, танцевальные ритмы ее песен. Благочестивые подпевали ее видениям. А девушки, которым монахиня всегда казалась холодным и святым существом, понимали счастливые стихи о бесстрашной любви к Богу, в которых Мехтильда утверждает для себя порыв, столь же естественный, столь же неодолимый, как любовь любой девы к своему суженому: - "Das ist eine kindliche Liebe".

"Das ist eine kindliche Liebe,

Dass man Kinder säuge und wiege;

Ich bin eine vollgewachsene Braut,

Ich will gehen nach meinem Traut.

"Ich stürbe gerne von Minnen

Seine Augen in meine Augen,

Sein Herz in mein Herze,

Sein Seele in meine Seele

Umfangen und umschlossen.

"Der Fisch mag in dem Wasser nicht ertrinken,

Der Vogel in den Lüften nicht versinken,

Das Gold mag in dem Feuer nicht verderben;

Wie möchte ich denn meiner Natur widerstehn?"

В монастырях Хелфта и Кведлинбурга эти песни распространились и укрепили великую славу Мехтильды. Генрих фон Галле, знаменитый доминиканец, навещал ее и стал ее другом. Но светские священники не любили ее, эту бегинскую реформаторшу, эту новую несанкционированную аббатису Хильдегард, которая так ясно видела и так откровенно осуждала многочисленные пороки, вкравшиеся в Церковь даже в тот век веры, даже в век святого Франциска и святого Доминика, короля Людовика и Елизаветы Венгерской. Некоторые из этих светских священников пытались сжечь ее книгу; тогда Мехтильда увидела видение и услышала голос Бога, громко взывающий: *"Lieb' meine, betrübe dich nicht zu sehr, die Wahrheit mag niemand verbrennen"*.

Глубокая и трогательная фраза, девиз всех мучеников и каждого дела: Никто не может сжечь Истину! Если бы мир только выучил наизусть эту пронзительную фразу, произнесенную в ту самую эпоху, когда начались гонения на еретиков, сколько войн, смертей, гнева, жестокости, веков угрызений совести и ненависти не пощадили бы мир! Вся честь этой женщине, которая шесть веков назад поняла, насколько тщетно охотиться, убивать, сжигать, истреблять идею. Эта фраза должна быть бессмертной.

Мехтильда продолжала говорить то, что казалось ей самой необходимой истиной. "Папы и священники, - кричит она, - идут по дороге в ад. Если они не откажутся от своей чувственности, от духовной небрежности, от мирской алчности, то страшные бедствия захлестнут их". "В этой книге, - говорит она, - я пишу кровью своего сердца". Она не бесчестный антагонист, угрожающий власти Рима, а дочь, стремящаяся вернуть своего родителя на святой путь. Ей приходит видение, и она видит извращенное христианство, лежащее, "как нечистая дева", вдали от престола Божьего. Она берет его в объятия своей души и стремится поднять его ближе. "Оставь!" - кричит грозный голос Бога; "Она слишком тяжела для тебя". А Мехтильда смотрит вверх и улыбается. "Эя, Господи!" - восклицает она; "Я понесу ее к Твоим ногам на Твоих собственных руках, которые Ты простер ради нее на кресте!"

Такова цель Мехтильды: вернуть властную и мирскую римскую иерархию к примитивному и демократическому идеалу христианства. Она смела в своих намерениях и не стесняется обличать заблуждения, как бы высоко они ни стояли. Она, Бегина, сестра бедных, написала декану Магдебурга, порицая печально известную праздную и сладострастную жизнь его духовенства. "Пусть он спит на соломе, а его каноники берут и едят ее в качестве корма!" Возможно, нет ничего удивительного в том, что духовенство Магдебурга не любило пророчицу.

Она также написала Папе Римскому, Клименту IV, чья терпимость к убийству Конрадина потеряла много верных немецких сердец, чей вялый и безрелигиозный двор был Гоморрой в глазах Мехтильды. И эти священники и прелаты, этот всемогущий Папа, если и не исправляются и не подчиняются, то все же смиренно прислушиваются к словам этой несанкционированной монахини, этой светской сестры из Магдебурга.

Никогда еще бегинки не достигали столь прекрасного, столь чистого превознесения. Они действительно все еще бедные, все еще скромные, все еще непризнанные, все еще бегинки. Но это отрицание стало их славой и отличием. Какая жизнь ближе к идеалу христианства - жизнь великого прелата или жизнь бегинки? Священники слушают и слушают, на мгновение смущаясь от своего великолепия и власти. Бегинки бедны, не обучены, не защищены; но они ближе к простоте Божьей, к той *святой любви*, которую хорошо умеет восхвалять бегинка Мехтильда.

Так в течение тридцати лет Мехтильда проповедовала против заблуждений и пророчила наказание, пела о любви к Богу и видела видения ада, где нечестивые церковники горят за преследование невинных. В течение тридцати лет она жила в своем уединении напряженной, серьезной, возмущенной жизнью пророка-реформатора, жизнью Данте, жизнью Савонаролы. И вот энергичный каркас иссяк. На пятьдесят третьем году жизни даже Мехтильда увидела, что нужно положить конец этому неустанному стремлению. Она хотела бы, подобно Ютте фон Шёнхаузен, отправиться в дикие леса, чтобы проповедовать язычникам-пруссам. Но это было невозможно: тело было слишком слабым. Она удалилась в цистерцианский монастырь Хелфта, где жила великая аббатиса Гертруда и ее сестра, младшая Мехтильда. Но и там она не успокоилась. "Что мне делать в монастыре?" - вопрошала она в мучительных молитвах. "Учить и просвещать", - отвечал ей небесный голос. И так еще двенадцать лет живет Мехтильда, и учит монастырь великому миру за его стенами, и заканчивает свою книгу о струящемся свете Божества, пока, почитаемая и любимая всеми, не заканчивает свою богатую событиями жизнь в 1277 году.

VII.

Reine, Heilige Einfalt" - так Мехтильда восхваляла своего Бога. *Чистая, святая простота*; это похвала бегинок и мистиков, начало пантеизма. Но Мехтильда не пантеистка; она твердо верит в личность души, в реальность Христа, в существование мира, в рай и ад. Она ортодоксальная и католическая христианка, но ее будоражит дух своего времени.

"Бог, - говорит она, - это чистая простота; из вечного источника Божества я вытекла, и все вещи вытекают, и оттуда все вернется". Эти искренние фразы мистического пантеизма срываются с ее уст, но не трогают ее сердце. Она не задумывается над тем, что они подразумевают; ведь если все вещи, возникнув в Божестве, возвращаются к своему источнику, когда жизнь заканчивается, то как может Зло иметь реальное существование, как могут грешники быть наказаны навечно в городе Вечной Ненависти? Если Бог - единственная реальная вещь, то нет зла и нет ада. Если все души, освобожденные от бытия, возвращаются этой чистой и святой простоте, то нет никакого личного бессмертия ни для блаженных, ни для чертей. Мехтильда не понимала смысла и последствий своей фразы, но бегинцы довели ее смысл до конца. Александрийский пантеизм, пантеизм подавленной альмарикской ереси, будоражил и оживлял мысли благочестивых и раскольничьих бегинцев. И пантеизм, с его двумя крайностями - аскетизмом и чувственностью, усиливался и углублялся в секте.

Мистический пантеизм, утверждающий, что Бог - это все, а материя - ничто; дух - все, тело - лишь преходящая пелена; мысль и разум - вечны, чувства и чувственные удовольствия не имеют значения ни для зла, ни для добра; эта доктрина допускает два толкования. Это может быть религия Плотина и чистых душ. Она может полностью игнорировать тело; она может означать жизнь разума и души, всегда доведенную до наивысшего возможного уровня. Или же это может быть, и слишком часто бывает, оправданием самого низкого чувственности. В измененном значении слова "либертин" есть страница психологии. Поскольку ни в грехе, ни в святости тело не может влиять на душу, поскольку чувственные удовольствия совершенно

независимы от духовного существования, низший пантеизм может оправдать разврат как допустимое расслабление, не затрагивающее дух. И именно это, как правило, подразумевается в сообществах недисциплинированных и малообразованных энтузиастов.

Постепенно это стало означать, что он появился среди бегардов и бегинов, или, по крайней мере, среди значительной их части. Некоторые, правда, молясь Чистой и Святой Простоте, стремились жить только в чистоте своей души и таким образом стать единым целым с этим вдохновляющим духом. Такими были бегинки из Страсбурга. Часть светских общин, опасаясь постоянных нашествий ереси, укрепились в католической ортодоксии и вступила в третий орден Доминика и Франциска. Но большая часть была поглощена смутным мистическим пантеизмом, который, ставя душу слишком высоко, чтобы ее затрагивали дела плоти, оправдывал это мнение полной независимостью от нравственного закона.

К концу жизни Мехтильды престиж бегинизма серьезно упал. Иннокентий IV и Урбан IV взяли светский орден под свою особую защиту, но в 1274 году папа Григорий X. возобновил против него приговор Латеранского собора и объявил бегинок непризнанными Римом. Вслед за этим официальным осуждением посыпались упреки со стороны более мелких людей, и к концу XIII века светские братства были популярны только среди бедняков, только среди мирян и народа. Среди духовенства они были дискредитированы и считались еретиками.

За тридцать лет до приговора Григория жалобы на бегинов и бегардов поступали в Рим от прелатов Германии и Фландрии. Два демона, предсказанные Мехтильдой, - демон тщеславия и демон чувственного греха - проникли в эти тихие молитвенные дома. Уже в 1244 году среди младших сестер начались скандалы, и архиепископ Майенский постановил, что в женские монастыри его епархии не должны приниматься женщины моложе сорока лет. Уже в 1250 году Альбертус Магнус в Кельне встретился с еретиками-бегардами, чей смутный пантеизм должен был расти и распространяться среди ордена, пока не исчезнет всякое различие между бегардами и еретиками-братьями Свободного Духа. Они уже вернулись к своим старым привычкам, бродили по улицам, оборванные, как восточные факиры, громко молились и просили у прохожих: "Хлеба, ради Бога!" Слишком большое невежество и слишком большая свобода разрушили и извратили истинное назначение ордена. Великий момент бегинизма, его время независимой бедности и светского благочестия, время Мехтильды Магдебургской, прошло и ушло. Начался третий этап бродяжничества и ереси.

Этот период, как мы должны помнить, был периодом разложения и раскола в самой Церкви. Нет ни одного обвинения, выдвинутого против светского ордена, которое в равной степени не могло бы быть выдвинуто против обычных монахов и монахинь. Длинная волна пантеизма, предшествовавшая Реформации, поглотила невежественных бегинцев в сотне извращений идеи, плохо объясненной и неправильно понятой; но та же волна захлестнула мастера Экхарта и доминиканских мистиков. Только Римская церковь, ревниво относящаяся к непризнанному ордену, быстро услышала низкий голос бегинцев, бормочущих: "*Бог - это все, что существует*".

Эта фраза, подхваченная, повторенная, произнесенная шепотом, наполовину понятая, неправильно понятая, а зачастую и вовсе не понятая, распространилась с быстротой и авторитетом Евангелия среди бегардов и бегинок Европы. Вскоре в Италии бродячая секта апостоликов, последователи Сегарелли, францисканцы Фратичелли во Франции, бегарды и бегинцы Северной Европы - все они дружно бормотали эту фразу, это ключевое слово пантеизма: "*Deus est formaliter omne*".

Нелегко предотвратить рост идеи среди сообщества, столь широко распространенного и постоянно меняющегося. Сегарелли был сожжен в Парме, и все напрасно. Его доктрины просочились повсюду. Вдохновленные примером ордена мендикантов, многие бегарды и бегинки вернулись к бродячей жизни. Благочестивые бродяги, все в лохмотьях, без посохов, без писем, они бродили по стране от приюта к приюту, выпрашивая по пути еду. Это была настоящая перемена по сравнению с ранними привычками ордена, столь занятого, столь усердного в работе, столь благочестивого, столь ответственного. Но в сердцах самых низких слоев населения светские братства никогда не были так дороги, никогда не были так почитаемы, как сейчас. В 1295 году Совет Майенса запретил им бродить по улицам, вызывая жалость публики и крики: "*Брод дорх гот!*", а Гийом де Сент-Амур сетовал, что люди ослеплены лохмотьями, голодом и ложной набожностью этих бродяг. Это, конечно, мнение церковников, которые не придерживались столь строгих взглядов на заслуги францисканских нищих. Действительно, большая часть недоброжелательности, с которой Церковь относилась к странствующим бегардам и бегинам в более поздние времена, может быть объяснена ревностью, чтобы благочестие этих нерегулярных братьев не обмануло нищенствующие ордена. По той или иной причине громы церкви стали часто и сильно обрушиваться на светские братства.

В 1310 году Тревский собор разобрался с притязаниями бегардов достаточно решительным образом. Бегарды были названы мнимой общиной, праздными беглецами от честного труда, ложными толкователями Писания, бродягами, не санкционированными Церковью.

В 1311 году на Венском соборе Климент V принял решение о полном подавлении бегинизма. Но приговор был суров. Слишком много невинных должны были страдать вместе с виновными. В том же году Папа отменил свой приговор и разрешил ортодоксальным и безупречным бегинцам жить "по вдохновению Господа".

Но с этого времени бегинству как институту пришел конец. Ортодоксальными и безупречными" стали бегарды и бегины, вступившие в третичный орден Франциска или Доминика. Светский орден перестал быть светским; цель бегинок была фальсифицирована и изменена.

VIII.

В 1328 году около пятидесяти либертинов, или братьев свободного духа, были публично сожжены в Кельне.

Преследование странствующих бегинов и бегардов началось с особой силой. В истории того времени, в хрониках любого города вдоль Рейна или в Низких странах мы можем встретить эту мрачную запись: В такой-то день столько-то бегардов были сожжены или заключены в вечную тюрьму. Против них была учреждена специальная немецкая инквизиция.

Это старая жестокая война с нетерпимостью и ересью, тщетная и позорная борьба, которой полны шесть веков. Но здесь было более чем обычное оправдание для чрезмерной суровости Рима. Европа стремительно разорялась этими странниками. Нищенствующие монахи святого Франциска, кармелиты, доминиканцы, многочисленные новые ордена, которые процветали некоторое время, умирали и забывались, - все это наводняло страну благочестивыми бродягами, которых должны были обеспечивать обедневшие миряне. И в дополнение ко всем этим православным бездельникам теперь существовала бесчисленная орда бродячих бегардов, не менее невежественных, не менее неспособных к войне или труду, и, кроме того, язвительных еретиков. Такова была точка зрения Церкви.

За пятьдесят лет до этого Григорий X. пытался сократить "необузданную толпу нищих, которые являются тяжелым бременем как для церкви, так и для народа", но его усилия оказались тщетными. Бедняки всех народов и времен быстро приписывают благочестие тем, кто, оборванный и бездомный, уверяет, что грядущая жизнь оплатит им за их страдания здесь. Полуголодные, истощенные, не лучше рабов, крестьяне Германии с благодарностью делили свою жалкую трапезу со странствующим монахом. Отказать святому человеку в порции было не меньшим святотатством. Это было естественное отношение людей. Они давали и не жаловались.

Они давали, и монахи брали, и бегарды брали, и все равно раздавалось: "Дайте". Фратричелли, апостолики, бегарды, бегины, братья свободного духа заполнили всю Европу. Всех их нужно было кормить не меньше, чем ортодоксальные братства. И год от года число мендикантов росло. Беззаботная бродячая жизнь без ответственности и последствий, отсутствие связей и труда, престиж в безделье - привлекали бродяг и лентяев. А многие благочестивые люди действительно считали, что это самая благородная человеческая жизнь. Поскольку идеей Божественного была простота, простота, то чем больше святой упрощался и чем меньше заботился об одежде или еде, тем ближе он был к небесам. Эти мужчины и женщины, странные потомки сестер-пряильщиц и братьев-тексторов, были подобны полевым лилиям, поскольку не трудились и не пряли. Таким образом, они воплощали в жизнь народный идеал благочестия. Год от года труд и расчетливость все больше дискредитировались, поскольку выяснилось, что если ты не кормишь себя сам, то тебя всегда накормит более мирской человек; пока в 1317 году в приговорах, собранных Иоганном фон Охсенштейном, мы не прочитали, что никакие внешние мотивы, *даже желание Царства Небесного, не должны склонять доброго человека к деятельности.*

Напрасно даже Папа проповедовал, напрасно Гийом де Сент-Амур нападал на всех и каждого, напрасно соборы и епископы громогласно осуждали леность, распущенность, слабую мораль и свободные взгляды этих людей. Мендикантов становилось все больше и больше. Народы стонали под святым бременем. И вот, около 1310 года, не в силах больше сдерживать свое недовольство, Церковь разразилась запретами и гонениями. В Кельне сжигают пятьдесят бегардов. В Магдебурге несколько бегинок брошены в тюрьму. В Страсбурге, в Констанце, в Майенсе бегинки и бегарды подвергаются наказанию, если не обратятся в течение трех дней. Против бродячих еретиков ведется война на ножах.

IX.

Под давлением столь сурового недовольства большая часть бегардов и бегинов приняла правила третичных орденов. Мать стала покорной своим детям. Большая часть братства, включая все фламандские бегинажи, приняла францисканское правило; но бегарды и бегины из Страсбурга, наиболее подозрительные из всех, присоединились к третичному ордену Доминика. Таким образом, ересь бегинизма оказалась на некоторое время преодолена.

Но в то же время во многих проповедях и уроках самой Церкви стала заметна странная мистическая пантеистическая тенденция. Вся эта толпа еретиков-бегуинов, внезапно ставших ортодоксами в течение трех дней, все это огромное скопление смутного альмариийского благочестия не могло не повлиять на завоевательную веру. Среди доминиканцев Страсбурга мистический уклон с каждым годом становился все более решительным. Эти любимые доктора и магистры были светилами Церкви, людьми влиятельными и образованными; но мистицизм, который в них был ортодоксальным, на самом деле был идентичен неоплатонистским теориям бегардов. И, действительно, эти люди

- Экхарт, Таулер, Рудольф Мерсвин - пошли дальше по пути пантеизма, чем еретическая братия до них.

Невозможно уничтожить идею. Она должна жить своим чередом, расти, процветать и умирать. Будь она мудрой или глупой, ортодоксальной или гетеродоксальной, пусть в ней будет хоть какой-то новый аспект истины; пусть она будет свежей, глубокой и поразительной; пусть она будет действительно и истинно идеей: она будет жить своей жизнью, прежде чем умрет своей естественной смертью.

Так идея бегинок, произвольно подавленная, тем не менее расцвела еще больше. Подобно росточку на розовом дереве, она распускала свои дикие и хрупкие цветы среди упорядоченных красот церковного сада. В великих доминиканских мистиках Страсбурга центральная мысль еретического бегинизма ("*Deus est omnia*") расцвела еще полнее, чем прежде.

Бог есть все: мир - ничто. Вот что теперь стали проповедовать миру мистики Страсбурга и мистики Нидерландов.

Х.

С 1312 по 1320 год в Страсбурге жил магистр Экхарт, великий доминиканский проповедник. Его глубокий и оригинальный ум, который так сильно должен был повлиять на умозрение его времени, теперь сам попал под влияние бегинизма. С 1312 по 1317 год он проповедовал и посещал доминиканские приюты Страсбурга. Будучи всегда мистиком и неоплатоником, до этого времени он не подозревался в [ереси](#). Теории доминиканских бегинок прекрасно согласовывались с убеждениями этого необычного существа, проповедовавшего в акцентах напряженной искренности доктрину нереальности материи.

Среди бегинок его епархии была одна, которую Экхарт принял в качестве своей духовной дочери. Но отношение бегинки сестры Катрей к великому генеральному викарию доминиканского ордена едва ли было тем покорным, которого мы ожидаем от кающегося к своему духовнику. Она побуждает его к новым дерзаниям веры, предлагает новые покаяния, отказывается от всякой сдержанности. Она показывает ему, как искренняя натура может воплотить в жизнь его особый догмат о том, что мир - ничто, что существует только Бог.

Катрей была дочерью достойных страсбургских горожан. Не нужда, а страсть к самоуничтожению привела ее в бегинаж. Вечно сомневаясь в собственном спасении, она умножала посты и покаяния, пока даже ее директор не стал умолять ее сжалиться над ее измученным голодом телом. Но Катрей не поддавалась на уговоры; она заявила, что в ней еще не убит старый Адам, она еще не "мертва насквозь". Как Мехтильда Магдебургская - великий активный тип ордена, так Катрей представляет собой пассивный бегинизм. У нее не было реформаторского рвения; она принадлежала к поздней школе, к тем, кто сказал: "Даже желание Царства Небесного не должно искушать доброго человека к деятельности".

Освободиться от мира и его притязаний, оставить позади плоть и все потребности и желания плоти - вот чем была озабочена Свестор Катрей. Она покинула приют, знакомые лица, чтобы их можно было легко забыть, соседство отца и матери и в одиночку отправилась в странствия по жизни. С собой она не взяла ни посоха, ни денег. "Все, что я прошу у мира, - говорила она, - это источник, корка и одежда" (*brunnen, brod, und ein rock*). Так она шла много месяцев, погруженная в свою душу, забыв о мужчинах и женщинах, земных удовольствиях, земной любви и земном долге, и наконец вернулась в Страсбург, чтобы быть никому не известной.

Она еще не была удовлетворена. Ее идеал еще не был достигнут. "Еще нет, - упорствовала она, - еще я не умерла до конца". "Нет, - ответил исповедник (за чьей мантией мы видим лицо Экхарта), - пока ты помнишь, кто был твоим отцом и кто твоей матерью; пока тебя не волнует, что твой священник отказался исповедовать тебя или отпустить грехи; не до тех пор, пока тебя будет беспокоить, что ты не можешь вкусить тело Бога; не до тех пор, пока ты будешь скорбеть, когда никто не приютит тебя, и все будут презирать тебя; не до тех пор, сестра моя, ты сможешь познать настоящую смерть для себя". Затем Катрей снова удалилась в пустыню и долгое время скиталась по лицу земли. Когда она вернулась, то странно изменилась; даже ее духовник не узнал ее. Наконец, когда каталептические трансы становились с каждым днем все более продолжительными и глубокими, а сама она постоянно впадала в странную истерическую нечувствительность к боли и голоду, она целыми днями лежала без еды, питья и движения в углу великого собора. Теперь она была мертва для внешних вещей. "Теперь, - сказала она, - я Бог". Отец и мать пришли и плакали над ней, наполовину смущенные ее святостью, наполовину мучимые ее состоянием. Но Катрей теперь не знала их. Она больше не понимала, на что смотрит; мир и все, что в нем находится, были для нее пустым звуком.

Наконец, в один прекрасный день транс стал еще глубже, она перестала дышать. Несколько человек из церкви, решив, что она умерла, унесли ее хоронить. Но когда они вернулись в церковь с Катрей на телеге, ее духовник, приблизившись, увидел, что она не совсем мертва. "Ты довольна?" - спросил он, и она ответила: "Наконец-то я довольна". Она бы позволила им похоронить ее.

Квиетизм не может пойти дальше этого. Когда эта необычная женщина умерла, между 1312 и 1320 годами, хотя Церковь уже начала порицать мистические ошибки бегинизма, ее благочестие считалось столь великим, что Мейстер Экхарт написал мемуары о ее жизни как пример и увещание для благочестивых людей. Она - святая позднего бегинизма, так же как энергичная Мехтильда Магдебургская - покровительница более древнего стиля.

XI.

Но у сестры Катрей было слишком много последователей, и постепенно чувство религиозного мира восстало против этого оцепеневшего и мертвого идеала. Уже в трудах Сузо (1335), Рюйсброка и Рульмана Мерсвина - людей, чей идеалистический мистицизм мало чем отличался от бегинской ереси, - квиетизм этих "ложных вольноотпущенников" подвергается полному осуждению. Сузо в своей "Книге истины" рассказывает, как он встретил в путешествии одного из этих странствующих бегардов, который на все вопросы отвечал примерно так, как Парсифаль отвечает Гурнеманцу. Откуда он пришел и куда направляется, странник не знает. Его называют Безымянным Дикарем. Он - Ничто, погруженное в божественное Небытие. Без воли и желания он повинует своим природным инстинктам, поскольку любой конфликт с ними разрушит покой его души. Таков новейший тип светского братства; но он, в отличие от сестры Катрей, не встречает одобрения со стороны изумленной Церкви.

Действительно, бегарды и бегинки с их распущенными нравами, с их душегубством стали непосильным бременем. Поэтому, отчаявшись, в 1328 году Церковь, как мы уже говорили, передала пятьдесят из них светской руке, и они были сожжены, в качестве примера, в Кельне. Гонения стали неуклонными и непрерывными, но по-прежнему в тайных местах и по странным подземным каналам распространялась [пантеистическая](#) идея - пантеизм, который теперь уже не был туманным и завуалированным. "Мы не верим в Бога, не любим Его, не обожаем Его и не надеемся на Него, ибо это означало бы признать, что Он есть нечто

иное, чем мы сами". Так говорят эти еретики XIV века. Так далеко они продвинули фразу: "Бог - это все, что существует".

С этого времени сплоченная сила бегинизма быстро уменьшается. В 1365 году папа Урбан V все еще говорит о "детях Белиала, бегардах и бегинах", но их имя постепенно исчезает из хроник эдиктов и соборов. Или же оно применяется к любой новой секте еретиков. В 1373 году мы слышим о "бегардах или турлупинах", а в следующем веке "бегард" часто становится синонимом лолларда. Великая ересь Свободного Духа была разделена на сотню несущественных подразделений. К середине XV века бегарды и бегины были либо ортодоксальными общинами какого-то третичного ордена, либо рассеянными отшельниками, живущими в лесах и перелесках и незаметно поддерживающими в себе те немногие угольки, которые остались от пантеистической ереси. Казалось, что движение действительно искоренено. Но фразу Мехтильды не так-то легко было опровергнуть. Ни один человек не может сжечь идею.

Правда, мы больше не слышим ни о бегинцах, ни о братьях-ткачах; но в XVI веке, когда в Виттенберге и Страсбурге, в Базеле и Мо, одновременно пробудилась великая идея Реформации, в этот период духовного брожения пантеизм светских братств вспыхнул вновь, и еще более яростно, чем прежде. Либертины, анабаптисты и фамилисты XVI века сохранили в более грубой форме гонимую традицию бегардов и бегинок.

1. Основными источниками для этой и двух следующих статей послужили: Мосхайм, "Institutiones Historiæ Ecclesiasticæ"; д-р Шмидт "Strasburger Beginen-häuser [im](#) Mittelalter" и другие страницы этого мастера средневековой религиозной мысли; д-р Прегер "Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter"; том "Le Panthéisme populaire au Moyen Age" М. Огюста Юндта; Штокль "Geschichte der Philosophie: Мейстера Экхарда; труды об Александрийской школе М. Вашеро и М. Бартелеми Сент-Илера; "Полчаса с мистиками" г-на Вогана; и, наконец, не в последнюю очередь, проповеди Экхарда, поэмы Мехтильды Магдебургской, размышления и жития святой Гертруды и святой Мехтильды Хелфтской.

2. "Der viel arme Spielmann der mit hohem Mütze sündliche Eitelkeit machen kann, der weint in der Hölle mehr Thränen denn alles Wassers ist in dem Meer." Мне нравится приводить читателю строки из книги Мехтильды - из того, что я читал о ней, то есть на страницах герра Прегера и в других местах, - чтобы показать ему музыкальный напев ее стиля, эмоциональное очарование (предвещающее Генриха Сузо) и некую легкую сердечность, которую я не помню ни в одной другой мистической книге, кроме изысканных "Фьоретти ди Сан Франческо".

Монастырь Хелфта.

Великие идеалы мира спасаются странными маскировками. Хотя наступление прогресса угрожает их существованию, тем не менее они увековечивают себя в незамеченном

убежище. Если сегодня мы видим, как религия маскируется под преданность человечеству, то это лишь обратная сторона великого маскарада Средневековья, когда любой порыв доброй воли к человеку, которому суждено было выжить, принимал ради безопасности одеяние церкви. Благотворительность, наука, логика, философия и все искусства надели капюшон и колпак. Пришло время, когда в религию вошла и любовь. Монастырь стал единственным надежным убежищем в борющемся, темном, хаотичном мире - мире, для которого столетия тщательного воспитания плохо подходили к чувству любви.

Средневековье, можно сказать, существовало для его развития. В течение столетия, последовавшего за изобретением Непорочного Зачатия (1134), культ Девы Марии стал доминирующим в церкви, и, *pari passu*, положение женщины в мире становилось все более благородным - более того, возвышалось и одухотворялось до опасной искусственной красоты. Затем была найдена тысяча приспособлений, чтобы скрыть от еще несовершенных мужчины и женщины жестокость одного и подлость другого. Суды любви, где муж не мог быть любовником своей жены, грубая и напряженная набожность миннезингеров, поклонение Марии и святым - сами по себе эти приемы были нереальны и уродливы, но они накладывали на грубую страсть прекрасные чувства благоговения и служения. Ведь они показывали возлюбленную женщину как существо отстраненное и обособленное, отделенное от очарования обладания расстоянием небес или преградами земли.

Так в Средние века росла и расцветала любовь; растение, еще нежное и едва акклиматизированное, но поливаемое, ласкаемое и укрываемое. Без этой заботы она не могла расти, будучи еще молодой и не укоренившейся. В тринадцатом веке мир охватила страшная судорога, и судьба всех нежных, изысканных вещей на некоторое время повисла в страшном равновесии. Ибо в тот богатый событиями век, который завершает старый мир и начинает новый, давно копившаяся ревность папы и императора разразилась страшной бурей. Двадцатилетняя буря, разрушившая империю дома Гогенштауфенов, оставила Рим хотя и победителем, но не меньшей добычей для своего собственного защитника, Карла Анжуйского. В течение трех лет он не допускал избрания папы, держа ключи Петра в своих неослабевающих лапах; и даже когда папский престол был номинально заполнен, анжуйский авантюрист руководил его советами и подсказывал декреты. Одно кораблекрушение поглотило и папство, и империю, и никто не мог предвидеть, что из этих обломков будут построены куда более благородные суда. Иерархический и феодальный порядок вещей пал, а дух закона и федерации был еще неведом. По всей Европе царили мрак и смятение: Рим был парализован, Франция обезумела от суеверий и коммунистической паники, Италия была просто дезорганизованной добычей для следующего претендента; и Германия, самая жалкая из всех, с искренностью новообращенного и преданностью крепостного, еще не готовая к внезапному отказу от иерархии и феодализма, за которые она цеплялась в качестве поддержки, тяжело качалась. Казалось, близится конец света; и действительно, в это ужасное междуцарствие вся ткань Средневековья начала трещать и зиять в зловещем разрушении.

Теперь, когда дворы Любви опустели, его турниры стали полями сражений, его менестрели выкрикивали боевые клички, что же стало с Любовью? Где его дамам, так долго воспеваемым и почитаемым, искать своих рыцарей? Они ушли сражаться за Бога и короля; они ушли далеко, но уже не к Гробу Господню; они ушли разорять и разрушать далекие города или смирать власть Рима. Многие из них никогда не возвращаются; некоторые через годы - десять, пятнадцать, двадцать лет - возвращаются домой, загорелые и седые воины, чьи разговоры сводятся к битве, чьи лагерные шутки и похабные истории падают, как грязь, в чистый источник женской души. Какого же рыцаря должна полюбить нежная леди! Она должна изменить саму природу своей любви, если это удовлетворит ее сердце. Хрупкий

идеал, так долго питаемый заботой и терпением, должен умереть, так кажется. Но, как в древних легендах, где похотливый любовник преследует чистую нимфу, настигает ее, протягивает руки за призом, чтобы найти их пустыми, чтобы найти ее вне досягаемости, в безопасности в неприкосновенной зелени лавра, так и нежный дух любви одним неистовым усилием вырвался за пределы похоти оскверненного мира, укрылся, превратился в мистическую любовь к Богу.

Естественный импульс религии был дан расколом и бедствиями общества. Мы показали, по каким каналам мистический дух Александрии проникал в религию Запада. Рыцарь от своих похитителей или пленников, ученый от своих занятий, монах от чтения самых популярных святых авторов - все они могли проникнуться подобным духом. По всему Западу распространилось, частично, правда, и не для всех одинаково, презрение к науке и пониманию, а также чувство тайны, стремление к экстазу, желание слить всю личность с бесконечным. Такие влияния не создавали, они лишь направляли движение. Они были, как показал нам М. Вашеро, источником вдохновения, резервом традиции для природного инстинкта, который и без них должен был удовлетворить себя. Отчасти благодаря этим полурелигиозным влияниям, отчасти благодаря внешнему положению дел движение, которое могло бы основать еще одну Александрийскую школу, могло бы поверить в астрологию или философский камень, могло бы просто закончиться жонглированием и колдовством, но вместо этого стало школой для провидцев и экстатиков. О том, насколько сильным было это движение, можно судить по его продолжительности и по тому, что в его рядах мы находим не только истеричных святых-девственниц, не только двух приоров святого Виктора, не только поэтичного Сузо, пылкого Рюйсброка, созерцательного Таулера, но и широкий ум Альберта Магнуса, силу Экхарта, практическую мудрость Герсона.

Доктрины неоплатонизма, полученные через посредство святого, были переведены в другой смысл людьми с меньшим интеллектом и более сильными привязанностями, чем александрийцы. Наука для этих поздних мистиков - мало, внутренний источник мира - много; вместе с Бонавентурой они вопрошают не доктрину, а желание, не человеческий разум, а небесную благодать. Они просят не света, а огня. В экстазе они стремятся соединиться не только с абстрактной мудростью, но и с высшей любовью. Ибо экстаз для них - это *ars amandi*, и для него необходим не разум, а чувство. "*Amor oculus est*", - говорит Ричард Сен-Викторский, - "*et amare videre est*". Увидеть этим оком то, что скрыто от земного зрения; умереть для мира, чтобы жить для Христа; потерять свою душу; утопить себя, совесть, разум, добродетель, чувство в потоке экстаза - таково было стремление благороднейших духов мира.

В этом апофеозе экстаза, в этой заразе любви, естественно, преобладал женский элемент. Движение, о котором возвестила милостивая и жалкая фигура Елизаветы Венгерской, должно было стать, прежде всего, движением женщин. Далеко за пределами славы Экхарта и Герсона, за пределами славы мыслителя и учителя, в этой странной иерархии мечтателей сияло блаженство провидицы и пророчицы. Одни - пророки Божьи, другие - пророки зла; так решила Церковь. Но трудно отделить духовное отречение Бриджит, Екатерины, двух немецких Елизавет, Мехтильды Магдебургской, Гертруды и Мехтильды фон Хаккеборн от ереси, провозгласившей, что для души, потерянной в Боге, грехи тела ничтожны. Эта ересь - всего лишь святость других, доведенная до логического конца.

Святые были в основном женщинами - женщинами со смутными, властными, неудовлетворенными чувствами, больными от мира, отданного на растерзание, интердикт и резню, где не оставалось выбора между неверностью и проклятием; женщинами молодыми и активными, живущими по большей части пассивной, умеренной бессобытийной жизнью

монастыря; Женщины, налагавшие на себя долгие посты и бдения, чья нежная плоть была изранена каменными знаменами кельи, где они лежали зимними ночами для покаяния, и истерзана ударами бича, нанесенного самим себе. В этой жизни для них нет надежды, в этом мире нет любви, нет счастья, нет имущества. Как голодающие мечтают о вкусных пирах и банкетах, так в видении они обрели то, что от них скрывали во сне.

Amor rapit, unit, satisfacit: практичный Герсон отпускает пламенную фразу. Каждый из этих девственных провидцев говорил то же самое. Откройте книги их упражнений, их откровений; пыльные страницы выдыхают жестокость и нежность страсти, которую никогда не улавливали миннезингеры, никогда не чувствовали трубадуры в своем земном пении. Ведь все эти святые видения - это любовь: любовь, которая восхищает; нет, любовь, которая топит, уничтожает, поглощает. Любовь во сне, и все же единственная реальная вещь в тесной и узкой жизни; любовь, заполняющая все промежутки и щели пустоты и ноющего сердца; Любовь невидимая, нетронутая, неслышимая, которой провидица ждет час за часом, в муках напряженной преданности, ждет, пока приглушенная монотонность ее молитв, неподвижное, непрерывное напряжение ее глаз, убаюкав тело до смертельного транса, освободит душу, чтобы показать ей мираж ее собственного неудовлетворенного желания.

I.

На протяжении всего XIII века Тюрингия оставалась центром и оплотом немецкой святости. Жизнь святой Елизаветы в Вартбурге возносилась из ее среды, как очищающее пламя алтаря к небесам. Когда она умерла в 1231 году, сотни мужчин и женщин со слезами на глазах пришли почтить истощенное тело, завернутое в изношенный францисканский плащ, лежавшее мертвым в бедном домике в Марбурге. Из памяти о ее жизни, из паломничества к ее гробнице в народе распространилась традиция и идеал святости. Пятнадцать лет спустя именно в Тюрингии Папа нашел своего защитника. Даже его притеснения, поражение и смерть этого злополучного защитника веры не смогли умерить народный пыл.

Монастырь Родардесдорф, расположенный недалеко от Айслебена, и великий княжеский монастырь Кведлинбург придавали Тюрингии особое религиозное значение; но только в 1234 году, когда богатый и знатный фрайхерр фон Хаккеборн из Хелфты поместил в Родардесдорф свою маленькую пятилетнюю дочь Гертруду, определилось особое прославленное будущее этого дома. Родардесдорф был монастырем цистерцианцев, местом задумчивым и спокойным. Маленькая Гертруда была там счастлива. Она была серьезным и серьезным ребенком, "не довольствовавшимся, - говорится в хронике, - детской невинностью, но, даже будучи младенцем, одаренным постоянной серьезностью и благоразумием поведения". Действительно, эта детская головка была встревожена многим, ведь девочка страстно желала научиться всему, что попадалось ей на пути: наукам, гуманитарным наукам, грамматике, богословию. Так что за свои познания она стала не менее почитаема, чем любима за покорность и скромность в поведении.

Но монастырю предстояло обрести еще одну святую в младенчестве. Мать Гертруды снова посетила монастырь, а однажды привела с собой младшую дочь, Мехтильду, которой тогда было семь лет, и на столько же лет младше своей сестры. "Они приехали для честного развлечения", - говорится в хронике, вероятно, чтобы увидеть маленькую Гертруду, и, конечно, без мысли оставить Мехтильду позади. Но ребенок был в таком восторге от этого странного места, больших комнат, маленьких келий, часовни с алтарными лампадами, детей в саду, монахинь, которые много с ней занимались, что она заявила, что готова остаться там навсегда. Она не хотела уезжать, хотя мать просила ее уйти. Тогда сестры, восхищенные столь юной святостью, тут же умоляли мать оставить девочку на некоторое время в их

обществе, и та согласилась. Бедная мать, неужели ее сердце не сжалось, когда двери монастыря захлопнулись перед обеими ее детьми? Это было навсегда; никакие молитвы, никакие приказы не могли больше вернуть ей ее своенравную, любящую, жаждущую малышку Мехтильду, ибо, как повествует "Житие", "после этих святых и благословенных объятий ее родители уже никогда не могли отвести ее от этого места, сколько ласк и нежностей они ни умели сделать". С разорванными узами и кровоточащими сердцами начинается карьера святой. "Только тот, - говорится в Писании, которое ребенок часто слышал, - кто возненавидит отца и мать, может стать Моим учеником".

О повседневной жизни в монастыре мы можем получить представление из наставлений Абеяра монахиням Параклита, и, учитывая разницу в датах и разницу в культуре двух стран, мы можем небезосновательно полагать, что тюрингские цистерцианцы 1250 года следовали во многом тем же правилам жизни, что и бенедиктинцы Елоизы, принятые столетием ранее.

Согласно кодексу Абеяра, монастырь был разделен на шесть функций, каждая из которых в равной степени подчинялась настоятельнице. Ризничая, она отвечала за монастырскую казну, хранила ключи, заботилась о церковной утвари и священных сосудах; в ее обязанности входило поручать сестрам-девственницам готовить облатки для Святыни, которые не должны были изготавливаться вдовами. Певица обучала пению и чтению, заботилась о хоре и библиотеке, которую должна была пополнять, копируя и освещая манускрипты. Заведующая лазаретом отвечала за больных. Другая сестра была хозяйкой гардероба и отвечала не только за прядение, ткачество и шитье, необходимые для монастыря, но и за кожевенное и сапожное дело. В ведении кельнерши находились вина для алтаря и больных, провизия для стола, а также управление всем, чем владел монастырь садами и огородами, отарами, стадами и ульями, форелевыми ручьями и мельницами. Наконец, привратник, которого выбирали за учтивые манеры, рассудительность и надежность, отвечал за охрану ворот, развлечение гостей и раздачу гостеприимства.

Жизнь в монастыре была не тяжелой, но монотонной, не поддающейся описанию - вечное чередование прерванного сна, повторяющихся дел и молитв. Посреди ночи сестры вставали на утреню, а закончив службу, возвращались сквозь темноту в дортуар. Там они спали до Лауд, которые поются на рассвете; летом, когда Лауды ранние, сестры спали до Премьеры. На премьере они выходили из дортуара, предварительно вымыв руки, и, взяв свои книги, отправлялись в монастырь, чтобы читать и петь, пока не начнется служба. По окончании службы все собирались в главке, где им читали и объясняли урок из мартиролога. По выходе из капитула каждая монахиня отправлялась заниматься своим делом - петь или шить, ухаживать или печь - до часа Тирса, когда совершалась месса. Затем они возвращались к своим делам до полудня, шестого часа, который был временем монастырского ужина, за исключением постных дней, когда он откладывался до полуночи, или Великого поста, когда ничего не ели до вечерни в четыре часа. Монастырская пища была простой и скудной. Кроме больных, никакого вина; черствый хлеб из грубой муки; коренья и зелень, и по усмотрению настоятельницы порция несладкого мяса по вторникам, четвергам и воскресеньям. С осеннего равноденствия до Пасхи, из-за краткости дней, эта одна трапеза считалась достаточной для всех, кроме немощных.

После ужина в летнее время сестры спали до обедни; в два часа между этим служением и вечерней они должны были закончить свои дела, а в четыре дня работа была закончена. Между весенним и осенним равноденствиями сестрам разрешалось слегка подкрепиться после вечерни. Это было единственное время, когда можно было есть фрукты. После легкого ужина начинался Комплимент. Затем все они снова устремлялись в дортуар. В субботу вечером они ложились немного позже, поскольку тогда сестрам предписывалось очиститься

- то есть вымыть руки и ноги, за чем настоятельница или сестры-мирянки должны были следить. После этого они спали до тех пор, пока колокол полуночной заутрени не поднимал их с постели.

В такой тоскливой однообразной жизни, изо дня в день одно и то же задание или точно такое же, одна и та же молитва, один и тот же урок, всегда о святых и мучениках; в этой жизни вынужденных лишений, в этой полуголодной жизни песнопений и разбитых снов, кто может удивляться, что (Μορφή μία) постоянно возникали видения, тайны, скандалы, колдовство. Двое маленьких детей преуспевали в монастыре, который поначалу был для них лишь школой, причем отличной школой. Гертруда, молчаливая, целеустремленная, нашла там больше книг и лучших учителей, чем могла бы иметь дома; и пока ее душа была настроена на учебу, почтение, оказываемое ей как ребенку, посвященному Богу, только подстегивало ее амбиции. "Она постоянно увеличивала свою природную красоту души святыми обычаями, добавляя к ней блеск и сладость всевозможных цветущих добродетелей, чтобы быть более приятной в глазах каждого", - говорится в хронике, в которой после ее смерти монахини Хелфты забальзамировали ее добродетели. Но пока маленькая Гертруда так старалась сделать себя желанной, Мехтильда просто и без усилий покорила все сердца. Хотя она не была ни столь ученой, ни столь серьезной, как ее сестра, хотя однажды она солгала (единственная ложь в ее жизни), похваставшись своим спутникам, что видела вора во дворе, где вора не было; хотя, судя по более позднему видению, она иногда оглядывалась от плуга и тосковала по материнской любви: хотя, как и Гертруде, в ней не было ранней святости, а проявилась она только после поступления в монастырь; несмотря на все это, Мехтильда была любима. Пока Гертруда в библиотеке усердно занималась грамматикой, чтобы ее ум был достоин Бога и любви ее спутниц, Мехтильда, стоя в саду, была окружена слушателями, которые замирали от слов ее причудливых аллегорий, когда она излагала послание Божье. Пока Гертруда делала выписки из Отцов и составляла сокровищницы Писания, чтобы помочь душам сестер, Мехтильда, как маленькая мать, ходила среди больных, говорила, служила каждому, давала помощь и утешение всем в несчастье. Когда они повзрослели, все осталось по-прежнему: Гертруда вкладывала душу в учебу, Мехтильд - в жизнь; Гертруда была поглощена и мудра, не предпочитая ни одного друга другому; Мехтильд была всеобщим любимцем, овеванная тайнами каждого, "чтобы помешать сладостному спокойствию ее души". Гертруда - гуманистка, Мехтильда - человек.

II.

До сих пор все было правильно и справедливо. Каждый ребенок естественным образом выбирал воспитание, соответствующее его потребностям, и становился мудрым или любящим в зависимости от необходимости. Но когда они достигали совершеннолетия, то не покидали школу, учение которой они переросли. С самого детства эти девочки были монахинями, посвятившими себя Богу. Но только когда детство закончилось, они смогли осознать значение своего обета. Для Мехтильды это не имело большого значения; ее жизнь в миру могла быть полнее и богаче, в монастыре она не пропадала даром. Она так легко интересовалась другими, так талантливо успокаивала больных и страждущих, так естественно смиренна и бескорытна, что даже сознание святости не могло ранить ее натуру; даже в своих видениях она редко возвещала о собственной славе. Она видит Гертруду на лоне Отца и слышит Божественный голос, возвещающий: "Гертруда гораздо больше, чем эта Мехтильда". Чаще всего ее видения - это послания утешения для тех, кого она жалела и ради кого трудилась. Она видит мертвого младенца одной скорбящей матери, облаченного в багряницу и золото и прославленного на небесах. Она видит Бога и Деву, стоящих у постели одной из сестер, которая больна до смерти; или же ее видения - это

нежные и поэтические фантазии. Она видит, как Отец дает всем святым испить из источника милосердия. Она видит Сердце Божье, горящее как светильник; или, опять же, она видит священную розу, цветущую в Сердце Божьем; или, наконец, ее видения обеспечивают потребности ее искалеченной и заторможенной жизни. Стоя на коленях на полу своей кельи, эта любящая женщина, не имеющая естественных связей, часто видит, как Бог приходит к ней в виде маленького ребенка пяти лет, и во сне Бог дает ей Свою любовь, наконец, чтобы стать ее матерью, "заботиться о ней и вести ее, как мать свое дитя". Или же ей, этой женщине с ее любовью к цвету и красоте, снятся прекрасные женщины в великолепных одеждах. Мария приходит к ней в платье цвета воздуха, усыпанном крошечными золотыми цветами, а на шее и рукавах вышита святая монограмма Иисуса. Или же она приходит в бледно-зеленом плаще, обшитом золотом, с головой Христа в каждой решетке. Святая Екатерина Александрийская предстает в тускло-малиновом одеянии, покрытом золотой вышивкой в виде маленьких колесиков, скрепленных на груди застежкой из двух встречающихся золотых рук. Христос предстает юным и прекрасным, в розовом шелке, усыпанном золотом и драгоценными камнями, "но не сброшенным, потому что так тяжел, а облагороженным", как душа с тяжелыми драгоценными камнями скорби. Или же она видит самого маленького святого в Раю, юношу среднего роста, удивительно красивого, с прекраснейшим лицом, с вьющимися волосами, цвета между зеленым и белым, одетый во все зеленое. Ни на одной из картин Мейстера Стефана не было таких глубоких цветов, таких причудливо узорчатых платьев и мантий, таких драгоценностей и вышивок, как в видениях этой маленькой бедной святой, спящей в своей заштопанной сарже и пожелтевшем белье, и всегда одетой, по ее собственному выбору, в худшую одежду монастыря, порванную и залатанную во всех углах.

Реальные опасности мистицизма не имеют силы над душой, столь милой и наивной, как эта. Но с Гертрудой все было иначе. Она была женщиной со страстным воображением, с вечно активным и честолюбивым умом. В детстве она с умом занималась учебой. Если бы она тогда отправилась в мир, жизнь и учеба заняли бы ее. Будь она светской сестрой, как Екатерина Сиенская, странствующей проповедницей и пророчицей, как Мехтильда Магдебургская, или заведомо ученой и реформаторской настоятельницей, как Элоиза или Тереза, она, возможно, была бы самой полезной и самой счастливой из всех. Но когда она повзрослела, когда поняла истинную цель своей жизни в монастыре, ее ученость стала для нее отвратительной. Какое отношение имели суетные познания этого мира к назначенной супруге Христа? "Когда эта дева продолжала изучать гуманитарные науки, - повествует Житие, - она осознала, что эти занятия слишком далеки от подобия Христа, и поняла, что слишком жадно стремилась к человеческим знаниям, по причине чего до того момента не располагала свое сердце к получению Божественного озарения. Тогда она поняла (и не без страстных вздохов, исходящих из сердца), что до этого момента она была лишена как утешений, так и озарений Божественной мудрости, поскольку оставалась увлеченной человеческими вещами".

Страшный конфликт, страшное искушение. У искренней натуры Гертруды мог быть только один конец. Она отрезала от себя голодную и страстную любовь к человеческому познанию, как отрезала бы конечность или вырвала глаз, чтобы войти, искалеченной, но святой, в рай. Слезами, муками и горькими молитвенными муками она искалечила свою душу. Но не всегда изувеченный член исцеляется. Горе тем, кого природа наказывает за дерзость дебилизацией, оцепенением и ползучей смертью.

Теперь, когда Гертруда по собственной воле отгородилась от всех прежних средств к существованию и работе, как ей проводить время? Она не была, как Мехтильда, от природы больной сиделкой и наперсницей; у нее не было, как у Мехтильды, прекрасного голоса,

который она могла бы развить для служения Богу; а для ее доминирующей жадной натуры было необходимо что-то делать и делать это лучше, чем кто-либо другой. Единственным остатком всех занятий, которые она себе позволяла, был перевод латинских молитв на немецкий язык в пользу более невежественных сестер, и этим она занималась целыми днями. Но это часто повторяющееся, почти механическое занятие не могло заполнить ее ум, не открывало никаких перспектив для ее честолюбия. В самом деле, у нее была только одна дорога, по которой она могла идти; все обстоятельства ее жизни сходились в одной точке.

Когда в долгие часы сна или переписывания она вспоминала о книгах, которые когда-то читала, какие мысли они могли ей навеять? Она, можно быть уверенным, не читала книг, которые могли бы дать ей видение внешнего мира - поэм Вергилия-мага или миннезингеров. Для нее гуманитарные науки сами по себе были книгами по теологии; труды отцов Церкви, может быть, трактат святого Бонавентуры, или одна из проповедей Экхарта или Альберта Магнуса (тогда они были в расцвете своей славы), или, конечно, труды Дионисия Ареопагита. Чему бы они научили ее, эти книги, от которых она отказалась, чтобы подражать смирению Христа? Они говорили ей, все до единой, насколько чувство желаннее разума, экстаз - заботы о других, вера - дел; насколько выше естественной нежности человеческого милосердия - *virtus infusa*, богословская добродетель, любовь к Богу. Каждый час ее жизни должен был повторять этот урок. Восемь служб в день, урок из мартирологии, который был всей пищей для этого голодного и активного ума; ежедневная работа по переписыванию молитв; долгие, изнуряющие страдания от того, что ты никто, не занимаешь истинного положения. Все это, должно быть, говорило этой серьезной, озабоченной собой Гертруде, которая так долго трудилась, чтобы стать приятной в глазах всех; и теперь, так хорошо зная, что необходимо, разве не стремилась бы она в молитве к этому последнему, самому дорогому дару? Неужели она не задастся целью научиться этой единственной необходимой вещи? Скорее всего, она недолго молилась и не начала сознательно учиться, прежде чем дар был получен, наука приобретена, сильный ум ослаблен и извращен, а ученица превратилась в экстатику.

III.

С этого первого момента видений слава Гертруды росла так высоко и так быстро, что когда в 1251 году настоятельница Родардесдорфа скончалась, эта девятнадцатилетняя девушка-экстатик была избрана ее преемницей. Странно, что обязанности ее новой должности, огромная ответственность за столь знаменитый монастырь не отвлекли ее от видений; но влияние времени было сильным, и настоятельница Родардесдорфа не испытывала настоятельной потребности в реформах. В этом упорядоченном доме высокородных мистических дам не было очистительной работы праведности, которую следовало бы совершить. Все, что могла сделать Гертруда, - это через семь лет после своего назначения, когда источники Родардесдорфа иссякли, перевести монастырь в свой собственный замок Хельфта, что, естественно, повысило ее собственное положение в монастыре и утроило ее славу настоятельницы, благодетельницы и экстатистки. Гертруда, однако, была не единственной святой в Хелфте. Помимо ее сестры, милой, причудливой святой Мехтильды, была еще Гертруда-монахиня,^[3] иногда путают с настоятельницей, которая, по всей вероятности, написала заключительную книгу Жития, несомненно, законченную после смерти святой Гертруды. Две дочери графа Мансфельда также были исповеданы в монастыре и стали одаренными ученицами его мистических доктрин. София потратила свою жизнь на пополнение и без того ценной библиотеки Хелфты, а Елизавета занималась живописью, вероятно, в капелле.

В 1265 году монастырь, уже ставший высшей школой экстаза на севере Германии, принял более знаменитую женщину, чем все эти. Это была наша Мехтильда Магдебургская, чья искренняя вера и пылкое, страстное красноречие, чьи песни вдохновляли дикой, странной нежностью, чья жизнь, полная лишений и приключений ради любви к Христу, сделала ее одной из самых благородных и самых привлекательных фигур своего века. Она выбрала Хелфту домом для своих преклонных лет и добавила еще одну славу монастырю Святой Гертруды и Святой Мехтильды.

Такой дом, надо полагать, не исчерпал духовных сил природы, столь полной сил и честолюбивой, как юная настоятельница. Окружающая обстановка была лишь дополнительным стимулом для ее устремленной души. Она много работала, правда, с помощью своей сестры Мехтильды. Каждый день она посещала лазарет и следила за тем, чтобы больные получали хорошее и чистое лечение. Она управляла своими монахинями продуманно и заботливо; но когда наступали часы досуга, множество ежедневных периодов, отведенных для молитвы и медитации, тогда ее прежний экстаз овладевал ею с силой и яркостью, тем более сильными, что ему приходилось преодолевать препятствия. Более страстными, более личными становятся ее откровения, когда она лежит, погруженная в транс и видения, в объятиях духовного Возлюбленного. Так сильны, так горячи, так яростны, так нежны слова, слетающие с ее уст, что мы не в силах вынести их спокойно. Ах я! Что за тщетная и бесплодная страсть эта мечтательная любовь святого к мечте!

Только через девять лет после дарования "необыкновенной благодати божественного знакомства", говорится в "Житии", Гертруда записала описание своих видений. Но сами видения, записанные в пяти книгах ее откровений, похоже, начались почти сразу после ее отречения от человеческой учености. "С того времени она стала считать мерзким все видимое и внешнее, и, конечно, не без причины, ибо с того времени Господь открыл ей пути на гору Сион, место радости и утешения. Оставив изучение грамматики, в которой она была сильно наставлена, она обратилась к богословию, то есть к Священному Писанию и житиям святых, используя их с бесконечным усердием".

И вскоре святая сама начала говорить с горы на своем родном языке. Здесь нет ни нежных утешений, ни причудливо изображенных фантазий Мехтильды. В откровениях Гертруды проявляются амбиции, активность, эмоции подавленной и страстной природы, вынужденной действовать в неестественном русле. Трагическое и жалкое зрелище: сильная страсть, искренняя воля, столь необходимые в окружающем мире, тратятся тщетно, мерзко, вызывая ужасные болезни. Святая слабеет по мере того, как усиливаются ее видения; ее разум, искаженный и сломленный, может склониться только в одну сторону. И этот путь - к инерции, безумию и уничтожению. Старая сказка, много раз повторенная, но, возможно, необходимая в наши дни месмеризма и спиритических сеансов. Старая сказка, хорошо известная йогам Индии, монахам и монахиням средневековой Европы, всем, кто сознательно делал себя жертвой каталепсии и истерии. Ибо они делали это сознательно. Многие из этих приемов дошли до нас: абсолютный отказ от практических дел, пустота ума и сердца; регламентированная диета, ни слишком мало, ни слишком много; отсутствие сна; тишина, которую не могут нарушить ни радость, ни горе других людей, когда, сидя или стоя на коленях в своей келье, в час, когда пищеварение уже закончилось, с тоской вздыхая глубокими, регулярными вздохами, глаза прикованы к одной точке, слишком высокой или слишком низкой для полного комфорта, руки бьют по груди в монотонной рутине, как предписывают Герсон и другие врачи-мистики, пока тело не погрузится в тяжелый транс, пока мозг не сойдет с ума от этого ужасающего и удушающего однообразия, и подкрадывающаяся смерть или безумие не завершат видение.

"Однажды, - говорится в "Житии", - Гертруда по причине болезни не могла посещать вечерню; и, тоскуя по ней и чувствуя душевную боль, она обратилась к Господу и сказала: "О мой Учитель, разве не более похвально, чтобы я сейчас пела в хоре с другими моими спутниками, слушала молитвы и другие обычные упражнения, чем лежать в этой слабости, в которой я небрежно провожу столько часов?". На что Он ответил: "О, неужели ты веришь, что жених меньше дорожит своей невестой, когда остается дома, чтобы вкусить домашние удовольствия, чем когда он с удовольствием выводит ее, хорошо украшенную, перед взорами толпы? Из этой речи она поняла, что на богослужении душа предстает как невеста, идущая вперед; но когда она обременена телесными недугами, то как невеста, спящая в тайной комнате; ибо чем более человек слаб, лишен всех удовольствий чувства, обездолен и бессилен, тем больше он радуется Господа".

Такая теория, естественно, порождала посты и бдения, и если благосклонность Господа зависела от болезни ее тела, то она никогда не могла быть далека от этой бедной больной и анемичной девушки. Отвратительное количество страданий наивно и случайно проявляется в ее делах духовной благодати. Едва ли не одна глава открывается словами: "Снова страшно ослабела от недостатка пропитания", "Снова лежу в постели, беспомощная от болезни", "Сильно угнетена жжением в печени" или подобными признаниями о связи между ее откровениями и слабостью ее здоровья. Часто она жалобно умоляет Господа вернуть ей прежнее здоровье и хорошее самочувствие, но ответ всегда один и тот же. "Болезнь твоя для меня - танец и праздник", - отвечает Небесный Супруг; и никогда нет надежды на прекращение боли. В своих блуждающих чувствах несчастная измученная святая смутно догадывалась, что ее духовные дары зависят от полного прозябания ее тела и разума.

Зрелище ее страданий убедило весь монастырь в святости Гертруды. Они верили, что она ежедневно общается со своим невидимым Главой. Поэтому вполне естественно, что они приносили к ней свои горести и просили ее о заступничестве, как люди просят министра дать совет королю, или управляющего исправить небрежность отсутствующего хозяина, или благосклонную госпожу умолять, чтобы ради ее любви была дарована та часть справедливости, которая в противном случае была бы упущена. Вполне естественно, что Гертруда считала себя способной направлять волю Божью; естественно, что странное тщеславие прорицательницы и истерички затуманило взор ее разума и повело дальше по избранному пути. После видений - чудеса.

IV.

Чудеса существуют в сознании очевидцев. "Чудо, - говорил Ламенне, - существует, когда оно происходит". Для современного скептика чудеса, обеспечившие канонизацию Гертруды, - это такие естественные мелочи, что трудно представить, как они могли наполнить целую деревню восторгом и благодарениями. Внезапный дождь, прекращение ливня, нахождение иглы - вот ее чудеса. Но послушайте, с какой пышностью и торжественностью повествует о них летописец.

"Однажды вечером, когда монахини закончили ужин, они вышли во двор, чтобы закончить некую работу, которую им было поручено сделать, и случилось так, что в это время солнце еще светило, несмотря на то, что на небе было несколько туч, грозивших дождем; тогда она, вздохнув, начала сердечно беседовать с Господом, и я услышал все, что она говорила, следующим образом: "Господи Боже, Создатель всего, я не желаю, чтобы Ты, как бы по принуждению, повиновался воле меня недостойной; тем не менее, мне было бы очень дорого, если бы Тебе было угодно, чтобы Твоя либеральнейшая доброта возобладала над Твоей честной справедливостью и немного задержала, ради меня, этот дождь. Тем не менее,

да будет воля Твоя". Она произнесла эти слова, отдавшись в руки Божьи, не думая ни о чем, кроме исполнения Его благоволения; надо признать, что это было удивительно: едва она закончила говорить, как молния, гром и крупные капли дождя разразились с великой яростью; по этой причине, испытывая жалость к другим сестрам, она оставалась в полном страхе и снова обратилась к Господу: "Пусть благодать Твоя, милостивый Боже, продлится хотя бы до тех пор, пока мы закончим наше назначенное дело". При этих словах милостивый Бог, чтобы показать, как во всем Ему угодно исполнить ее молитву, задержал дождь, пока монахини не закончили дело, над которым работали; сделав это, они вернулись в монастырь, и едва они достигли ворот, как началась буря с дождем, громом и молниями, так что некоторые из сестер, которые задержались, не могли войти в дверь, прежде чем промокнуть до нитки".

V.

Гертруда была святой монастыря, и все же ее амбиции не могли быть полностью реализованы. Она, которая с самого детства усердно старалась приобрести "всевозможные цветущие добродетели, чтобы радовать глаз каждого", она, благосклонная к Богу, тем не менее была в монастыре менее любима, чем простая Мехтильда. Этот факт неосознанно проявляется на каждой странице ее жизни, во всех многочисленных откровениях, когда Бог заявляет, что, несмотря на монастырское самоуправство, Гертруда больше, чем Мехтильда. И она была выше - более страстная, сильная и искренняя, страдающая от мук и горящая великими желаниями, которые ее милая и счастливая сестра не могла себе представить. Любовь была ей необходима, любовь и одобрение. Они были пищей ее души. Читая бок о бок ее откровения и ее жизнь, легко понять, что в той мере, в какой ей не удавалось завоевать любовь и нежность своих спутников, ее видения становились эротическими и страстными. Дать такой натуре уважение, почтение, благоговение в награду за ее жертвенность - это, по правде говоря, все равно что дать камень ребенку, просящему хлеба. Проголодавшаяся Гертруда мечтала о пире; о призрачных банкетах, которые не питают, а сводят с ума.

Со временем Гертруда перенесла всю свою серьезность, всю свою силу чувств из внешнего мира в эту рожденную мечтами внутреннюю жизнь. Цензурная, абстрактная, мало заботящаяся о физических страданиях, она была нежна и тревожна до последней степени во всем, что касалось души. И это без всякого интереса к личности существа, которое она стремилась спасти. По словам ее биографа, у нее не было ни одного настолько близкого друга, чтобы ради его спасения она хоть словом погрешила против совершенной справедливости, и она заявила, что скорее согласится на увечье собственной матери, чем вынашивает злую мысль против врага. Все ее мысли были на небесах, а мирские вещи были для нее как пыль. Нет, как яд. Она была осторожна, как Паскаль^[4], и ни одним своим словом не могла привлечь к себе сердце какого-либо человека; не для нее, возлюбленной Богом, было объединяться в земную дружбу, и, как бегут от человека, пораженного язвой, она бежала от любого, кто искал ее расположения. Теперь она не могла вынести ни слова о земной любви; скорее она лишилась бы услуг и благосклонности всего мира, чем согласилась бы на то, чтобы по человеческой милости сердце кого-либо соединилось с ее сердцем.

Так гласит летопись. И все же при всем этом горьком равнодушии, при этой киснувшей в сердце любви она сохраняла великую нежность к заблудшим или мучимым душам, молясь и наблюдая за ними, предостерегая и утешая; и хотя грешник оказывался упрямым, она все же не ослабляла своей заботы; Когда же сестры умоляли ее не страдать за грехи [безбожников](#), она отвечала, что скорее примет смерть, чем будет утешать себя страданиями тех, кто поймет свою погибель только тогда, когда наконец предстанет перед лицом вечного искупления. Так

велико было ее сострадание, что, если она только слышала о ком-нибудь, кто болен духом, пусть даже очень далеко, она не могла успокоиться, не попытавшись утешить его горе. И как люди, слегшие с лихорадкой, изо дня в день живут в надежде на выздоровление, наблюдая собой, не стало ли им немного лучше, так и она из часа в час жаждала и следила, чтобы Господь утешил скорбящего и облегчил его скорбь.

Странно и жалко это усердие к неопределенной и безличной душе, не касающееся ни характера, ни чувств, ни ума, ни физического состояния. Странна и ужасна эта преобразованная любовь, эта преобразованная человечность и доброта, которые занимаются нереальным, в то время как вокруг весь мир болеет и умирает. И все же не так уж странно, если вспомнить, что обмен реальности на тень, мысли на мечту, а истины на фантом - это принцип мистицизма.

VI.

Между тем Мехтильда, мистик по учению и обстоятельствам, но не по темпераменту, даже в монастыре занималась в основном делами реальности. Она была, как мы видели, всеобщим другом, нянькой и наперсницей и лишь в малой степени заботилась о святой славе для себя. Она не творила чудес, и Бог никогда не говорил ей, что она самая благосклонная среди женщин. Она провозглашала славу Гертруды. Святые деяния, о которых рассказывается в книге, имеют жалкую человеческую гротескность, которую невозможно найти в поступках или высказываниях Гертруды. Например, из великой жалости к грехам мумий и танцоров на карнавале она набила свою кровать горшками и битым стеклом и каталась в них, пока не превратилась в массу порезов и язв, умоляя Бога принять ее страдания в качестве отсрочки веселья окружающего мира. Это не истинный мистический нрав, который игнорирует все, кроме единения души с Богом. Мехтильда не стремилась к совершенствованию собственной души, она пыталась смягчить проступки виновных и спасти их от наказания, а не привести к покаянию; более того, она считала себя ответственной за их ошибки. Истинный экстатик, потерянный в Боге, отказывается от человеческой ответственности. Тем не менее, даже в монастыре Мехтильда, с ее веселым терпением в страданиях, заботой о больном теле не меньше, чем о больной душе, смирением и любовью, была естественно дороже своей строгой, абстрактной сестры-святой. И, тем не менее, сестры осознавали, что Гертруда, а не Мехтильда, является их настоящим почетным титулом.

Поскольку мистическая жизнь распространялась по монастырю как зараза, у многих младших сестер, недокормленных, лишенных воздуха и физических упражнений, не было сил поддерживать ненормальное существование провидицы. Болезни были частым явлением в этом монастыре экстатиков, и будь то в Родардесдорфе или в Хелфте, смертность была чрезмерной. Монахини умирали молодыми от неопределенных болезней. Мы постоянно встречаем упоминания об их короткой жизни, проведенной в мечтах, о их ранней и необъяснимой смерти. Они умирают от анемии, раньше, чем признанные больные сестры; и монахини не могут найти причину их смерти, разве что Богу было угодно удалить столько сладости, чтобы она вечно процветала в Его присутствии. Болезни монастыря - это физические недуги, вызванные умственным напряжением и телесным истощением: чахотка, истерические конвульсии или паралич, нарушения в работе печени. Те, кто не может умереть, кто, подобно самой Гертруде, обладает слишком сильным характером, чтобы погибнуть в девичестве, - лингеры, измученные болезнями, преждевременно состарившиеся и бесполезные. Все, что им остается в утешение, - это фраза, которую Гертруде в видении подарил ее небесный жених: "О, вы, которые так хотели бы поспешить в мое присутствие, вы как супруги, которые голые и неукрашенные осмеливаются войти в брачный чертог; знайте,

что после этой смерти, которой вы так желаете, душа не получит больше никакой благодати и не сможет больше страдать ради Бога".

Мехтильда Магдебургская, "Матильда" Данте, стала первой из великих святых. Долгая жизнь в лишениях, энергичная борьба с виновным миром, годы пророчества бегинок, долгий писательский и проповеднический труд, боль телесного изнеможения измотали ее. В возрасте шестидесяти семи лет самая сильная и милая из всех немецких женщин-мистиков ушла из мира, с которым она не побоялась столкнуться, который даже из своей обители стремилась облагородить. Сильный, реформаторский дух наконец утих. Единственная женщина в монастыре Хелфта, знавшая мир таким, каков он есть, его грехи и чаяния, его великодушие и преступления, была мертва. В доме было закрыто окно, выходившее в мир за стенами часовни и впускавшее в тяжелый запах мерцающих свечей и качающихся каминов свободное дыхание ветра. Отныне здесь не было напоминаний о большом мире, о чистом воздухе снаружи: Мехтильда Магдебургская была мертва.

VII.

Гертруде не было назначено такого освобождения; легкая смерть тела была не для нее, хотя о смерти она молилась днем и ночью, обнаружив, что ее молитвы о здоровье и силе никогда не были удовлетворены. Пригвожденная к матрасу крайней слабостью, она смотрела, как одна за другой умирают младшие монахини, "принятые в небесные брачные покои", а она, слабая, парализованная, беспомощная, все еще оставалась. "Боже мой, - взывает она, - неужели я не могу служить Тебе лучше, чем сейчас, с моими старыми силами?" И всегда слышится ответ, что чем более смиренно тело, чем беднее гордый интеллект человека, тем дороже Богу его духовная сущность. Так тянулся год за годом, и великая настоятельница заполнила свои пять книг откровений и восемь книг духовных упражнений. Жизнь ее была прожита, и она состарилась. Позднейшие агиографы рассказывают о святой Гертруде, что она умерла от томления по Божественной любви. Современная наука назвала бы по-другому этот длительный паралич тела через пристрастие ума. Но никакие диагнозы, ни святые, ни научные, не могут дополнить чувство страдания и опустошенности, с которым мы вспоминаем эту сильную жизнь, так рано оборвавшуюся, эти двадцать пять лет напряженных нервов и болящих конечностей, эту ежедневную смерть от истерического паралича, длившуюся шесть месяцев.

"Эта избранница Божия, - говорится в Житии, - исполненная Святого Духа и достойная того, чтобы быть принятой в объятия Божественного милосердия, Гертруда, благочестивейшая настоятельница, достойная всяческой похвалы, трудившаяся сорок лет и много дней в честь и хвалу Бога, управляя своим аббатством мудро и с большим благоразумием, сладостно, и с большим благоразумием, будучи по причине всех этих добродетелей цветущей, как свежая роза в этом мире, и чудесно милостивой и достойной быть любимой не только Богом, но и людьми, наконец, после сорока лет и сорока дней, впала в тяжкую болезнь, которая известна как малый паралич, разновидность апоплексии."

Рассказчики, знавшие Гертруду и часто видевшие ее, ни слова не говорят, как видно, о небесной любовной болезни, которую более сентиментальный вкус выдал впоследствии за причину ее смерти. И действительно, подобное суеверие не могло возникнуть даже вокруг столь великой святой, пока физические подробности ее последней слабости оставались свежими в памяти монахинь Хелфты. Они искренне оплакивали ее и верили, что никогда более святая не была переведена на те приятные поля небесной зелени, по которым она так

часто тосковала. Но с восхитительной *наивностью*, даже веря в то, что Бог чудесным образом поднял ее с больничной постели в Свои объятия, они знали, что она умерла от паралича. Для них не было ничего несочетаемого в этих двух идеях; они и не думали скрывать - они скорее хотели выставить напоказ деградацию и немощи простого человеческого тела, которое так долго сковывало небесную душу. Поначалу чувства оставались при ней, только она не могла пошевелить конечностями, не могла заставить шевелиться истощенные руки, которые когда-то так быстро шили, писали, приводили в порядок все, что было не на своем месте. Она могла спокойно лежать и мечтать, бедный умирающий мистик.

Ибо теперь, как дар, который нельзя отнять, она отдала ей то совершенное спокойствие и неподвижность тела, которые так часто, так терпеливо практиковала днем и ночью в прошлые времена. А вскоре ей предстояло получить и другое крыло экстаза - полное отрешение разума от всех человеческих мыслей и дел. Бремя ее немощи стало настолько тяжелым, что она уже не могла управлять домашними делами, не могла заботиться о других. Наконец она не могла говорить, не могла молиться, не могла думать. Она достигла совершенства мистическим путем; уничтоженная, оцепеневшая, парализованная, она достигла вершины своего желания. Не двигаясь, не меняясь, мертвая-живая, она лежала там месяц за месяцем, беспомощным бременем для общества. Почитаемая как некая в высшей степени благосклонная к Господу людьми, чьи ноги ступали по одной и той же бесплодной и смертоносной дороге, она не могла произнести никаких других слов, кроме этих: "Душа моя!" И эту фразу она повторяла снова и снова, находя ее удивительно емкой и достаточной для выражения всех движений духа. О безжалостный идеал, о жестокая и отвратительная доктрина, неужели к этому вы хотите свести живой, мыслящий, деятельный человеческий разум? Неужели конец такого постоянного самопожертвования, таких лет ежечасного, ежедневного труда - только это: парализованное бесполезное тело, немая, оцепеневшая душа, не имеющая ни мыслей, ни желаний помимо себя? Наконец настал час распада, ночь, в которую никто не будет работать; в ожидании этого дни жизни проходили бесплодно и впустую; в надежде на это солнце вставало и садилось впустую, времена года сменялись незаметно; в подготовке к этому душа, сердце, разум и физические силы сознательно сковывали свои самые благородные способности; и вот наступила долгожданная ночь, ночь, в которую забываются все ошибки, утихают все заботы и муки.

В последний раз Гертруда произнесла эти два полновесных слова: "Душа моя!" - вечером, когда заканчивался комплин. После этого начался ее переход в другую жизнь. В это время, повествует автор конца Жития в причудливом аллегорическом панегирике, не только покои умирающей настоятельницы, но и весь монастырь был переполнен до отказа, поскольку среди молящихся и плачущих сестер стояла вся небесная дева.

"Наконец настал счастливый час, когда Небесный и Императорский Супруг должен был принять Свою возлюбленную в Своем доме любви, наконец-то, после столь долгого ожидания, освобожденную из темницы мира". Монахини стояли на коленях вокруг, молясь и плача; наблюдающие сестры видели, что ангелы тоже стоят на коленях. А мы, разве мы не видим призраки мертворожденных жалости, и радости, и любви, и помощи, стоящие там с белыми глазами и в тени? Но к чему плакать всем и каждому? Конец близок; роды закончились и прошли, и скоро она отдохнет так хорошо, что, даже если бы могла, не покинула бы своего тихого ложа. Пусть спит она, бедная, беспокойная душа, заблуждавшаяся и благороднейшая в своих ошибках; пусть спит она, которая, будучи мертвой, все же говорит более чистым и уверенным голосом, чем на земле, рассказывая о терпении и жертвах, добровольно принесенных ради любви, о верной стойкости через боль

и труд, подавая пример и предостерегая одним словом. И в середине молитвы никто не услышал, в какой момент спящий дух ушел. Настоятельница умерла, но монастырь продолжал жить, как будто она была жива. Ее место заняла другая настоятельница, вместо нее видения и чудеса творила другая монахиня, менее святая, но такого же качества. Даже после смерти Мехтильды, спустя несколько лет, старая жизнь продолжалась: сон и молитва, или вынужденные бодрствования и проклятые экстазы; старая жизнь с недостаточным питанием и недостаточными мыслями породила старые отклонения и болезни. Лихорадка еще не прошла.

Мы, стоящие здесь, в безопасности, как нам кажется, от смертельной эпидемии, с любопытством изучающие эти восемьсот тщательно отпечатанных страниц как записи болезненной истории, можем почувствовать, как наши сердца тают от меланхолического сожаления о крушении стольких благородных жизней. Ведь самое страшное в этом недуге было то, что он поражал самых возвышенных духом людей, как филлоксера - самые старые и плодовые лозы. Мы можем жалеть и восхвалять их на одном дыхании; мы можем по-доброму удивляться их запоздалой любви и говорить, что, если бы не они, чувства, наполняющие наши сердца сегодня, были бы менее терпеливыми, менее нежными, менее возвышенными. И это хорошо, мы должны чтить лучшее в них. Но давайте позаботимся о том, чтобы мы сами были свободными и цельными; давайте не будем считать себя слишком безопасными, а установим карантин в наших собственных душах, чтобы сладкий и смертельный яд мистицизма не проник туда незамеченным.

3. Герр Прегер, несмотря на авторитет других ученых и всю традицию Церкви, утверждает, что "Гертруден-бух" принадлежит не Гертруде фон Хакеборн, а некой Гертруде-монахине, жившей в то же время в том же монастыре. Кроме того, в качестве весьма изобретательного аргумента он отделяет Мехтильду-певицу от нашей Мехтильды фон Хакеборн, которой, однако, он оставляет авторство ее произведений; но поскольку в венецианском издании Жития (1583 и 1605) я нахожу слова "Теперь Гертруда, вместе со своей сестрой Мехтильдой-певицей, управляла всеми делами монастыря" с постоянными указаниями на идентичность Гертруды-настоятельницы и Гертруды-святой; И поскольку Лансперг, самый ранний летописец, прямо указывает, что обе они были дочерьми графа фон Хаккеборна, я решил в этом вопросе не принимать диктат ученого, которому все изучающие этот предмет должны оставаться в долгу.

4. "Истинная и неповторимая верность и, следовательно, правота. Это несправедливо, что все привязываются ко мне, хотя все относится к этому с удовольствием и добровольно. Я трогаю тех, в ком я могу зародить страсть; потому что я не являюсь конечной целью человека и не могу удовлетворить его". Паскаль говорил своей замужней сестре, что она не должна ласкать своих детей и не должна допускать, чтобы они ласкали ее.

Притяжение бездны.

I.

Как остров окружен водой, как ночь окружает звезды, а воздух - земной шар, так и за пределами области известного простирается необозримое пространство тьмы и безмолвия. Все умы знают, что оно есть; для многих из нас оно является фоном для отдыха на фоне напряженной жизни; для некоторых это скрытое место имеет свою схему веры или догмы. Но есть и такие, для кого эта огромная и темная Неизвестность более реальна, чем маленькая и сияющая определенность Вселенной. Их засасывает в водоворот ее необъятности и темноты. Эти натуры отворачиваются от вещества и мечтают о тени, они покидают узкие поля науки и смело отправляются в путь по необозримым водам за ее пределами. Такие души никогда не чувствуют себя в жизни как дома: их очаровывает темнота, неизведанное, бесконечное. Их влечет притяжение Бездны.

Мистика привлекает разных людей разными методами. Он привлекает различными линиями страстное сердце, сокрушенную и смиренную волю, разгоряченную фантазию, возмущенный дух, негодующий на жестокость и зло мира. Не меньше привлекает он и рассуждающий и метафизический ум, отталкивающийся от догм и все же желающий Божества. Ведь мистицизм - это не только сны, чудеса и видения, не только удовлетворение расстроенного воображения, больных и чахлых страстей; он включает в себя систему философии, настолько логичную, что тот, кто принимает первый легкий тезис, приходит без отрицания или изумления к последнему. Мистики, по сути, создали науку о душе, сложную систему абстракций, вполне логичную саму по себе, хотя и противоречащую истинам физической природы. Никто не готов признать это противоречие охотнее, чем сам мистик, ведь душа, по его словам, в точности противоположна телу. Поэтому естественно, что как телесная жизнь поднимается по шкале от простого к сложному, так и существование души должно быть наиболее чистым, когда оно наименее дифференцировано. Ведь душа и тело на мгновение встречаются на одном уровне, но исходят из разных позиций. Человеческое тело - это высшая эволюция одушевленного мира; человеческая душа, уверяют нас мистики, - это низшее и последнее нисхождение Бесконечного Существа. В действительности, душа человека находится к Божественности в таком же отношении, как зоофит к нам. Только, к сожалению для аналогии, в этом странном сверхъестественном космосе зоофит выше человека. Скажем скорее, что человек, пройдя путь от зоофита к человечеству в теле, должен теперь в душе подняться от человека к зоофиту. Ибо душа, как мы должны помнить, божественна, когда она наиболее проста. Она - последнее нисхождение Бога, а Бог (говорят мистики) - это абсолютное единство и простота. "Бог, - говорит Мейстер Экхарт, - это простейшая сущность бытия; и кто, думая о Боге, видит какое-либо отличие от абсолютной простоты, будьте уверены, он видит не Бога".

II.

"Но как, - воскликнул один из слушателей Экхарта, - как может абсолютно простое быть многообразным? Вы говорите, что Бог прост и един; и все же вы утверждаете, что каждая душа происходит от Бога. Если Бог абсолютно прост и един, Он не может разделить Себя на множество душ". Здесь Экхарт, мы можем быть уверены, улыбнулся бы и похвалил благоразумие своего обидчика; ведь это возражение подводит нас к центральной теории спекулятивного мистицизма, самой дорогой догме Плотина, Дионисия, Скота Эригены, а также мастера Экхарта.

Дух везде един. Дух находится в Божестве и неделим. Божество существует, говорят нам наши мистики, выше и за пределами всех божественных теофаний; Божество существует как огромный и непостижимый океан, перекачивающий свои моря пустоты и безмолвия от полюса к полюсу. Но везде океан граничит с сушей, и его воды в круговороте приливов и отливов омывают сотни берегов, заполняют тысячи заливов, бухт и маленьких скалистых бассейнов. Как глубокое море посылает свои мелкие воды на пески, а затем отводит их в свою вечную и непостижимую полноту, так и воды Божьи текут в каждую душу. И когда море снимает свой прилив, оно снимает не только содержимое этого бассейна и этого ручья, но и само море, вечно неразделенное, хотя на время прилива оно заполняло пределы и впадины берега.

Но не весь берег омывается морем; выше определенной линии пески зарастают жесткой травой и серо-зеленым чертополохом; пески - это почти суша. И не всю душу посещает Божественная простота; только ватерлиния, засушливая глубина души, захлестывается и заполняется бесконечным существом Бога. "В душе есть нечто, - учил Мейстер Экхарт, - несотворенное и несотворимое; в душе есть нечто, что находится за пределами души, Божественное, простое, абсолютное небытие; в душе есть место, где обитает Бог, и это основание души едино с основанием Бога. И достичь этого неясного пристанища Вечного и Божественного, где обитает бессознательное Божество, - вот высшая и последняя цель всех сотворенных вещей".

III.

Как же Мистик достигает этой безвестной и внутренней глубины, этой тишины, где душа едина с Богом? Погрузившись в себя. Для мистика не существует внешнего мира. Раз Бог внутри нас, то какая ценность в окружающем мире? "Omnes creaturae sunt purum nihil", - формулирует мастер Экхарт. Для Мистика тело - лишь тюрьма, искажение, помеха; его органы чувств, его опыт не могут научить его. "Освободившись от глупости тела, - говорил Платон, - мы сами познаем всю истинную сущность". "Материя, - говорит Плотин, - есть принцип индивидуации, и тот, кто ищет ее, должен оставить материю". Без тела, таким образом, мы перестаем быть личностями, перестаем быть отдельными; мы все - одно и все - Бог. Именно тело определяет наш характер; в душе нет личности. Мы должны представлять себе ее как чистую воду, налитую в цветную вазу, которая становится красной, или синей, или зеленой, в зависимости от цвета вазы. Цвет не является принципом воды и не влияет на нее. Так и душа, влитая в тело, кажется, приобретает собственную ноту и цвет, но, вылитая снова, видится неизменной. Первая цель истинного Мистика - очистить свой дух от этого постороннего и земного оттенка; сделать вазу, если он может, такой же бесцветной, такой же простой и однородной, как то бесконечное Существо, из которого, по выражению Эригены, Душа является последним нисхождением.

Поскольку душа - это Бог, мир - ничто. Не больше, чем глаз может ощутить вкус или ухо уловить, сотворенное может постичь Божественное. "Если мы хотим познать что-то чистое, - читаем мы снова у Платона, - мы должны быть отделены от тела". А Плотин добавляет, что тот, кто отправляется на поиски Единого, должен подняться к Первому принципу своей собственной природы. Первый принцип Плотина - это то же самое, что и основа души у Мейстера Экхарта. Это Единое. Интеллект может быть средством для его достижения, но никак не целью. Философ-мистик вводит себя в экстаз; и экстаз, а не мысль, является его целью.

Поэтому наш Мистик отказывается от мира и от своего собственного опыта в стремлении достичь Бога. Он должен быть совершенно неподвижным, пассивным, немым; мистик

должен быть как новорожденный ребенок, который еще не улыбнулся в лицо матери. Он не должен даже *желать* стать единым с Богом. "Он должен стремиться к себе не больше, чем труп", - пишет Экхарт. "Пусть он будет как мертвый", - советует Сузо. "Он не должен удовлетворяться никакими делами или добродетелями", - добавляет фламандец Рюйсброх, - "но только в Бездне". И Таулер возвышается до страстного красноречия: "Погрузись в свою Глубину и свое Ничто, и пусть башня и все ее колокола обрушатся на тебя; да, пусть все дьяволы Ада набросятся на тебя; пусть Небо и Земля со всеми своими созданиями нападут на тебя, но все они будут лишь чудесно служить тебе! Погрузись лишь в свое Ничто, и лучшая часть будет твоей".

IV.

Смерть при жизни - цель мистика, и его утешение - мысль об аннигиляции. Для него нет ни покоя, ни утешения, кроме как в том, что Сузо называет "пустыней и глубокой пропастью непостижимого Божества". Нам, живущим в более позднем веке, для которых самым большим и манящим обещанием религии является надежда на личное бессмертие, трудно осознать факт, который должен поразить каждого студента; а именно, что на протяжении Средних веков самым страстным мотивом сотни пылких сект, самым дорогим тезисом самых глубоких мыслителей Церкви было это интенсивное желание личного уничтожения. На самом деле, это безумие в поисках Небытия стоило Церкви больше ересей, чем любая коррупция в ней самой. Сами врачи Церкви были запятнаны им. Самые низкие люди - бедные, голодные и охочие до фанатиков - объединялись в группы и братства, чтобы проповедовать это утешительное евангелие исчезновения. Книги Дионисия Ареопагита принесли александрийские теории Единого в каждый монастырь Европы. Альмарийцы, водеи, последователи Ортиба, бегинцы, братья и сестры Свободного Духа и многие другие секты бедных и странствующих людей распространяли свои фантастические извращения того же самого среди рабочих классов. С двенадцатого по шестнадцатый век желание многих мистических святых было идентично отчаянию современных атеистов. Это было исчезновение личной души. Вихрь времени приносит странные возмездия.

Мистицизм XIII и XIV веков занимал в мыслящем и религиозном мире положение, почти идентичное положению спиритизма в наши дни. Как и его современное ответвление, средневековый мистицизм мог быть наложен на любой культ или привычку; как и спиритизм, он в равной степени поддавался как грубо-чувственному, так и абстрактно-идеалистическому толкованию. Поэтому мистицизм обращался к огромной аудитории: к невежественным и претенциозным людям, недовольным авторитетом церкви только потому, что это авторитет; к чистым реформаторам, стремящимся сохранить религию и отказаться от ее формальных и порочных проявлений; к нежным, благочестивым и мечтательным душам, не имеющим большой опоры в мире фактов; к абстрактному рассудку, стремящемуся сохранить свою веру, позволяя несостоятельным догмам ускользать. Уполномоченная религия заняла необычную позицию по отношению к этим мистикам, которые образовали как бы церковь внутри церкви. Боясь полностью отречься от них или, более того, открыто осудить, чтобы не ослабить тем самым свою собственную власть, и в то же время сознавая, что эти теории ее детей едва ли менее подрывают ее собственное превосходство, чем теории любого еретика или атеиста, Церковь сжигала одного мистика и канонизировала другого, с беспристрастностью, рожденной колебаниями. Влияние мистиков было поистине огромным и слишком серьезным, чтобы относиться к нему легкомысленно. Они обещали уничтожить тюрьму, раковую опухоль, болезнь *Самости*, выпустить освобожденную душу из тела, чтобы она навсегда исчезла в божественном мраке невообразимой Бездны; они утешали многие мечтательные души, терзаемые неизгладимой памятью о человеческом

грехе. Они предлагали усталому мыслителю, голодному и изможденному труженику, сокрушенной монахине, измученному горожанину привлекательность, которую сама Церковь не осмеливалась открыто предложить; и многие, кто отшатнулся от жесткого, строгого и узкого лона Рима, нашли в Мистицизме убежище, кто в противном случае мог бы отбросить все претензии на веру. Даже сегодня многие спиритуалисты, которые в противном случае были бы агностиками. Ведь спиритизм не настаивает ни на каких узах или догмах религии и предлагает своим верующим неопровержимое доказательство того, что религия только обещает, то есть бессмертия души, этого золотого миража-фонтана нашего жаждущего современного мира. Именно такой была позиция средневекового мистицизма, только, как мы знаем, она предлагала покой, а не жизнь; угасание, а не продолжение; не рай, а бездну.

V.

То, что множество людей повсюду в одно и то же время страстно желают чего-то одного, конечно, не является доказательством того, что их желание будет удовлетворено; но оно показывает реальную потребность в сердце человека - потребность, которая может быть остановлена изменением условий, если не самими желаемыми вещами. Столько же людей жаждали исчезновения в беспокойном Средневековье, сколько сегодня жаждут бессмертия. Я не хочу сказать, что они формулировали это желание, ведь большинство из них были ревностными христианами. Но жизнь тогда была горькой, и они надеялись утихомирить свои измученные и жаждущие души в бессознательном Божестве. Когда жизнь горька сейчас, мы говорим: "Вечная справедливость обязана дать нам более счастливый опыт в качестве компенсации за наши страдания здесь". Но в обоих случаях остается один и тот же факт: пока жизнь горька, люди будут жаждать и жаловаться. Ни один современный проповедник не говорил о радостях бессмертия более горячо, чем средневековые мистики о Бездне. Каждому из них было уготовано окончательное и неизмеримое воздаяние за все несправедливости, когда-либо существовавшие в мире. Многие ревностные церковники, многие святые и многие мыслители Средневековья поклонялись Богу в первую очередь как Бездне. Он был верховным уничтожением. Душа должна погрузиться, говорит Экхарт, в чистое Небытие. Душа должна погрузиться, говорит Таулер, в Божественную тьму, в тайное место Божественной бездны. "Нет безопасности, - говорит Гийам Брисонне, - кроме как в Бездне" ("l'abysme qui abysme en désabysmant"). Авантюрная награда, говорит Сузо, может прийти в сознании победы над злом и совершения добра; но истинная награда, сущностная награда - только в дикой пустоте и глубокой бездне непостижимого Божества, в единении души с безличным Божеством. Это Божество, говорит Экхарт, - простая неподвижность без качеств и различий. Бог не является ни тем, ни другим. Кто может различить и сказать: "Это хорошо, тот не видит Бога; ибо все, что есть в Божестве, абсолютно едино, и бесформенно, и пусто, и бесконечно, и пассивно". И имена, под которыми в основном поклоняются Богу, показывают это странное безличное отношение. Божественная Тьма, Непонятная Ночь, Пустыня, Бездна, Неопишуемая Нагота, Бесконечная Сущность, Сокрытая Тьма, Единое, Высшее Ничто: вот имена этого отдаленного, абстрактного Иеговы средневековых мистиков.

VI.

Потерять себя в этом бессознательном блаженстве-благоденствии было религиозным идеалом тысячи душ. Потерять себя, утонуть, погаснуть, прорваться сквозь и за пределы ненавистного, заключающего в себе Эго - таков был мотив их настроения. Но что, спросим мы, остается с человеком после того, как он так полно потерял себя? Как он может различить

блаженство, о котором мечтает? Как он вообще может знать, что отдыхает? Мы подозреваем, что эти Мистики не вполне осознавали свои собственные желания, что они имели в виду некий остаток себя, чтобы остаться и насладиться ощущением собственной Нирваны. И тогда мы спрашиваем их, что они подразумевают под Бездной. "Об этом, - говорит Экхарт, - мы не можем говорить. Это простейшая сущность существования, она неизвестна и должна быть неизвестна всегда. Это простая тьма безмолвной пустоты. Это предельный срок".

И все же мы не удовлетворены и продолжаем сомневаться. Как может дух человека, лишенный добродетели, познания, воли, личности и жизни, оставаться бессмертным? Более того, как он может наслаждаться таким бессмертием? Смутное ощущение такого вечного покоя понятно каждому из нас, кто, выйдя внезапно из освещенной комнаты в бескрайнюю ночь, почувствовал, как в душу внезапно вторглось ощущение тайны и безмолвия. Мы чувствовали это; но в своем последнем блаженстве Мистик не должен чувствовать этого: "Он должен быть как мертвый". Мы также можем понять головокружительный восторг от разматывания абстракции за абстракцией, пока мы не сплетем сеть, которая, кажется, удержит небо и все его звезды. Но Мистик не может думать. "Он не должен видеть ни различий, ни разницы". И страстное устремление души вверх, к Богу, невидимому, неведомому, в которого она все еще верит; так мы могли бы молиться. Но Мистик не молится. "Пока человек желает исполнить волю Божью, он не является истинно пригодным; тот, кто может искать Божество, он не желает, не знает и не заботится".

Что же тогда, спросим мы снова, что за удовлетворение так сильно влечет ваши души к Бездне? Никто не ответит? И Таулер, великий мистический доминиканец, отвечает: "Человеку остается бездонное уничтожение самого себя; абсолютное игнорирование своего личного "я", всех целей, всей воли, сердца, цели, использования или пути".

VII.

Итак, не личное наслаждение ожидает Мистика в бездне; это чувство поглощения своим Божеством. Трудно определить характер этого Божества, ради которого человек с такой радостью отдает свою душу и жизнь. Поскольку оно тождественно с основой души (а она, уверяет нас Экхарт, не только Божественна и проста, но и абсолютное Ничто), трудно ухватиться за идею его божественности или вообще его отличия от сотворенной материи, которая также есть *purum Nihil*, и легко увидеть, как на этом пути отрицания мистицизм всегда расходится с пантеизмом..... Сущность Мистической Божественности, по-видимому, заключается в самой ее непостижимости; и было бы опрометчиво и тщетно составлять о ней представление. Но мы можем хотя бы попытаться понять, какой эта божественность представлялась ее поклонникам.

"Единое, - начинает Плотин, - не является ни веществом, ни качеством, ни разумом, ни душой, ни движущимся, ни покоящимся, ни местом, ни временем; оно также не имеет никакого рода или вида". Таким образом, мы узнаем, какие вещи не присущи Божеству; мы узнаем, что должны представлять себе безтелесную, безусловную, безличную, бесконечную Пустоту; вечную, недифференцированную сущность существования; бесконечное Существо, к которому не может приблизиться ни разум, ни душа. Экхарт идет дальше и утверждает не только то, чем Божество не является, но даже то, чем оно является. "Существует Божество, - говорит он, - которое выше Бога. Божество не движется и не действует..... Оно - простая Неподвижность, вечное Безмолвие".

Если бы это было все, мы могли бы постичь тоску по тишине, страстное желание отдыха, которое заставляло усталых и измученных проблемами людей всех времен обожествлять

тишину и покой. Мистика всегда лучше всего расцветала в голодные и бурные века. Это отстранение души от озадаченной и отвратительной внешней жизни; для кого-то это стремление к любви и миру, для кого-то - к отдыху, для кого-то - к бессмертию в другом месте. Но для логических и умозрительных умов это нечто большее; Бог умозрительных мистиков - это не просто сон, не просто сновидения, не просто неподвижность. Они бесстрашно доводят свои рассуждения до естественного вывода, и это достойно всяческой похвалы; но то, что они должны поклоняться этому выводу, конечно, странно, ибо "Бог есть небытие", пишет Скот Эригена; и Экхарт добавляет, что когда душа проникает в чистую несотворенную сущность Божества, то Небытие наконец-то оказывается в присутствии Небытия.

VIII.

Бог, таким образом, есть Ничто; Эригена дал нам это выражение, ибо *Nihilum*, говорит он, есть бесконечная сущность Бога. Душа есть Ничто; "бездонное уничтожение себя", по словам Таулера, "абсолютное небытие", по выражению Экхарта. И, наконец, мир - это ничто, *purum Nihil*, столь же нереальное, как и все остальное. Уже в конце двенадцатого века Давид из Динанта заявил, что Все есть одновременно Дух, Материя и Бог. Позднейшие мистики добавили к его тезису новую строку: Все есть Одно и Все есть Ничто.

Таков результат этого странного идеализма, в котором идея личности от начала до конца приносится в жертву концепции Бога. Таковы догмы этой необычной фазы мысли и чувства; фазы, которая объединяет все холодное и формальное в философии со всем неразумным, пылким и истеричным в религиозном возрождении. Доктора и проповедники спекулятивного мистицизма переживают трансы не менее реальные, чем святой Франциск; но то, что они созерцают с восторгом, - это не идея Бесконечной Любви. Это Бесконечное Ничто, которое наполняет их экстазом. И эти мистические мыслители столь же точны и столь же склонны стать простыми педантами системы, как и любой последователь Канта или Комта. И все же, хотя они стремятся использовать только свой разум, они презирают разум. Эти философы смотрят на разум как на покорную служанку экстаза. И этот божественный экстаз возбуждается мыслью о *Nihilum*.

Это действительно кажется почти абсурдной позицией; и все же позиция мистиков была благородной и разумной. Они пытались ответить на вопросы, от которых и сегодня ускользают богословы (см. Newman, "Grammar of Assent", p. 210). "Откуда берется зло?" Зло, отвечают они, не создано Богом, а, так сказать, пустоты и пробелы, не заполненные Его творением. Зло и боль не имеют реального существования; они - лишь недостаток жизненной силы; они - негативные и временные качества, не признаваемые бессознательным Богом, не виновным в их причинении. "Почему мы созданы ответственными существами без нашего собственного согласия?" Наши тела созданы не Богом, и мы не несем перед Ним ответственности за их ошибки. Они являются выражениями наших Вечных душ - их собственными выражениями по их собственному желанию как *модус вивенди* в этом мире. "Как Бог может нуждаться в наших действиях, если Он всемогущ? Если всемогущ, то как терпим к Злу? Если Он допускает страдания, грех и ад, то как же Он вселюбящий? Если вселюбящий, то насколько справедливый?" На все эти вопросы отвечает мистическая концепция Бога как Божественной Пассивности, бессознательного Фонда Существования. Все, что невозможно и абсурдно в теориях мистиков, вызвано их адаптацией к религиозным представлениям. Они должны были объяснить бессмертие души, ... и они говорили о вечном поглощении в Бесконечное Ничто. Они должны были объяснить, как добрый и всемогущий Бог создал злое и бессильное человечество. Они сделали так, что одно стало ничем, а другое - ничем.

Раскол.

В 1377 году Папа находился в Авиньоне. Семьдесят лет назад Папа прибыл туда в качестве гостя графа Прованса, чтобы договориться с королем Франции о незаконном истреблении тамплиеров. Он прибыл в Авиньон в час папского триумфа, ибо в результате трагического крушения Гогенштауфенов престиж империи был окончательно подорван. Но в действительности эта фатальная победа оставила папу уже не арбитром между Францией и Германией, а изживенцем единственной уцелевшей державы. Притяжение успешной Франции влекло папу из Рима в Авиньон.

В Риме папа оставил свой Ватикан, свой авторитет, свои традиции. В Авиньоне, случайный гость, наспех поселившийся в доминиканском монастыре, он был немногим лучше политического агента Филиппа-ле-Бея. Однако он не спешил возвращаться. Клеман был южным французом, гасконцем, который был дома в Провансе, но был жестоко изгнан среди раздоров, энтузиазма и предательств чужой Италии. Год за годом он все еще находился в Авиньоне, где и умер в 1315 году. Его преемник, Иоанн XXI. или XXII, был еще одним гасконцем; а Бенедикт XII. (1334-1342) и Климент VI. (1342-1352) также были французами. Они построили в Авиньоне могучий дворец, огромный, с огромными квадратными башнями и стенами толщиной в четыре метра, изрезанными редкими маленькими остроконечными окнами, поднимающими свою колоссальную мощь высоко в воздух. Огромный золотисто-коричневый дворец был не столько дворцом, сколько тюрьмой, не столько монастырем, сколько замком. По сути, это была крепость баронов феодальной эпохи, ибо Папа почти забыл, что он Папа Римский; он был графом Венайсина и Авиньона.

Он был богат, он был великим владыкой, он роскошно жил в этих хмурых воротах. Его комнаты были полны денежными маклерами, взвешивающими и пересчитывающими свои груды золота; и не нашлось Христа, чтобы выгнать их из Храма. Франция, Англия, Германия, Италия тщетно стонали под натиском беспринципных финансистов, которые обеспечивали авиньонскому двору мягкую жизнь, изысканные манеры, внимание к искусствам. В прекрасном доме, на стенах которого Симоне Мемми изобразил сонм своих милых и меланхолических ангелов, люди забыли трубный звон имени Гильдебранда; и когда офицеры Климента VI осмелились возразить ему по поводу восточного великолепия его дворца, осудив расходы, превышающие расходы любого из его предшественников, - "Никто из моих предшественников не умел быть Папой", - ответил граф Венаисен. Папский идеал изменился.

Однако было бы неправильно считать авиньонских пап восточными сатрапами, мечтающими о роскошной жизни среди чарующих грез. Они были, прежде всего, французами и очень французами; активными, острыми, гуманными, с гением процветания, с природной быстротой организации. У них было практическое благочестие, на котором они хорошо зарабатывали, не без честной траты сил. Их миссии были основаны в Египте, Индии, Китае, Нубии, Абиссинии, Барбаре и Марокко. И хотя они так стремились обращать язычников, в их сердцах не было злобы к необращенным. Иногда они были жестоки, поскольку их эпоха была жестокой, но часто они были удивительно гуманны. Иоанн XXII издавал буллу за буллой в защиту несчастных евреев, истребленных христианской жадностью и извращенной жалостью христианского суеверия. "Как евреи они евреи, как люди они люди", - говорил

Папа. "Отвращайтесь от их доктрин, уважайте их жизни и их богатства". И Климент VI, когда Франция и Германия мучили и изгоняли отвратительную нацию, широко распахнул ворота Авиньона и на коленях викария Христа сделал кратковременное убежище для бродячего еврея.

За Климентом последовал Иннокентий VI, еще один француз, столь же довольный Авиньоном. Когда он умер, прошло почти шестьдесят лет с тех пор, как ни один Папа не ступал по святым камням Рима. Но его преемник, Урбан V, при всей своей галльской крови, восстал против положения святого Петра как капеллана короля Франции. Он видел, что церковные земли в Италии постоянно ускользают из-под контроля папы, а папские викарии утверждаются в качестве наследственных хозяев своих вотчин, и город за городом безнаказанно объявляют себя уже не вассалом святого Петра, а свободной республикой.

В Германии доктрины Марсильо и Оккама надолго подорвали престиж папы. Ведь они объявили епископа Рима простым епископом, подчиняющимся закону, собору, подлежащим низложению от рук верующих; его громы были объявлены незаконными и безвредными, поскольку ни один священник, а только Генеральный собор мог отлучить или даже интердиктнуть народ или короля. В Германии Реформация началась, как и должна была продолжиться, на почве теории и догмы; в Англии она уже была политическим бунтом, декларацией национальной независимости. В 1365 году Англия отказалась платить дань в 1000 марок, которую Иоанн обещал Папе Римскому как своему законному сюзерену. В тот момент Англия торжествовала. Десять лет назад битва при Пуатье закрепила ее власть над Францией. Французский король умер в плену в Савойском замке в Лондоне, и Европа еще не знала, что новым королем Франции стал Карл Мудрый.

В этот момент Франция, в действительности находившаяся на вершине колеса судьбы, оказалась в самом низу. Народы и люди забывают, как быстро вращается это колесо; и Папа, видя, что Франция - его единственный защитник против всего мира, а Франция - добыча Англии, не чувствовал себя больше в безопасности в Авиньоне. В 1361 году компания вольных разбойников разбила папские войска у самых ворот папского города; папа выкупил их выкупом и удвоил укрепления. Но он осознал свою незащищенность. Было очевидно, что подлинные интересы церкви требуют возвращения папы в Рим.

Урбан предпринял мужественную, героическую попытку. Он потащил за моря в Рим свой неохотный двор роскошных французских кардиналов. Но в этом черном и диком притоне разбойников папа слишком хорошо помнил Авиньон. Он вернулся домой на Рождество 1379 года, но только для того, чтобы умереть в прекрасном знакомом дворце; во Франции верующие называли его смерть судом Господним над тем, кто оглядывается от плуга.

Более светлая эпоха открылась для его преемника, Григория XI. Гений короля Карла и его братьев, герцогов Анжуйского и Бургундского, восстановил состояние Франции; и Анжу, во всяком случае, понимал, какую выгоду может извлечь Французский дом из партнерства с Папой в Авиньоне. Ведь Папа, конечно же, был французом и желал содействовать триумфу своей страны, а этому триумфу он мог наилучшим образом способствовать, оставаясь в Авиньоне, чтобы поддерживать и вдохновлять политику своего короля. Все узы, действительно, объединялись, чтобы задержать Григория в Провансе. Он не был аскетом, равнодушным к славе или комфорту; он был привязчивым, естественным человеком, любящим свою простоту, любящим свою семью, любящим землю, где он родился. В Авиньоне он жил среди своих друзей, родственников, своего отца графа де Бофора, матери, четырех сестер. Рассказы его кардиналов лишь усиливали его собственный ужас перед далекой Италией, на языке которой он не мог говорить. Он был болен, и ему были страшны

миазмы Рима; он нуждался в удобствах того двора, память о роскоши которого должна была надолго сохраниться во Франции. "Вам следовало бы приехать в Европу несколько лет назад, до раскола", - пишет анонимный автор мэтру Жану де Мёну.

"Недолго горевал Грегуар.

Je te dis que toute la gloire

Du plus hault seigneur terrien

Vers son estat n'estoit plus rien.

Là ne falloit ne pompe ne mise

Que herault sceult à devise,

Richesse du tout surmontant

Tout prince que lors fut vivant."^[5]

Однако именно Григорий Одиннадцатый должен был восстановить папство в Риме.

Вернуться туда было уже не так легко, как во времена Урбана. Этот папа не удалялся в Рим до тех пор, пока энергия Гиля Альборноса не привела к покорности итальянских князей. Но теперь Альборнос был мертв, а в Италии как никогда царили волнения и раздоры, ибо французские губернаторы, которых Урбан оставил после себя, вселили в папские государства ужас перед французским папой. Умер и Петрарка, чье перо не меньше, чем меч Альборноса, стало мощным инструментом для возвращения Урбана. Времена изменились, и Италия, так долго оплакивавшая папскую тиару, упавшую с ее чела, больше не желала ее принимать. После семидесяти лет изгнания папство превратилось в иностранную державу, и многим итальянским князьям реставрация Григория казалась не более чем французским вторжением. Из всех папских государств только Орвието, Анкона, Чезано и Йези остались верны ему. Флоренция, в прошлом столь верная Церкви, теперь объединилась против нее с гибеллинскими виконтами Милана; а сама эрцгерцогиня сжимала почтовой рукой свое новое малиновое знамя, на котором золотыми буквами было написано одно слово *Libertas*.

Итальянцы, казалось, были способны избавиться от Папы так же, как они были способны избавиться от императора. Лишь несколько голосов все еще оплакивали изгнание святого Петра. Григорий прекрасно понимал, что возвращение в Рим означает раздоры и ожесточение, и что он должен вновь вступить в свои владения, неся в руке не мир, а меч. Такая перспектива внушала ему отвращение и усталость; в то время как все принципы привычки, привязанности, патриотизма, преданности и корыстных интересов сговорились держать его в Авиньоне. Все это лежало на одной чаше весов; но на другой лежала совесть папы и голос, который эту совесть внушал. Это был голос молодой итальянской монахини. Европа, отвлеченная войнами, растерянная, неуправляемая, услышала наконец один голос, возвещавший волю Божию и признававший ее совесть в святой Екатерине Сиенской.

Письма святой Екатерины часто приходили в Авиньон, а вместе с ними и другие письма от французских губернаторов, в которых говорилось о растущей трудности сохранения того немногого, что осталось от достояния святого Петра. Григорий заметно встревожился. Совесть побуждала его вернуться в Рим. В июле герцог Анжуйский^[6] прибыл в Авиньон, чтобы отговорить Папу от предприятия, столь пагубного, по его мнению, для будущего Франции. Из всех королевских принцев Анжуйский был единственным, кто особенно занимался итальянской политикой. Он был красивым, импозантным мужчиной, с широтой взглядов и

силой амбиций, благодаря которым у него было много последователей. Этот сын Людовика Святого не мог не влиять на Папу. Он все настойчивее просил его покинуть Авиньон, но убеждающий голос Екатерины не умолкал. Папа был болен и испуган, он был робким человеком; его сестры и родители прижимались к нему, умоляя остаться; его кардиналы противились ему; его король приказывал: и все же 13 сентября он покинул Авиньон. Дурные предзнаменования еще больше удручали его дух; его лошадь споткнулась под ним при старте, а страшные бури задержали его на море. Но 17 января 1377 года папа вновь вступил в Рим.

Семьдесят лет, в течение которых Авиньон был прекрасен, разрушили Рим. Паломники больше не привозили ей обычаи чужих стран; двор Ватикана больше не давал толчка торговле; авторитет папы перестал делать Рим центром Европы; опустевший город осознал свою внутреннюю нищету. Тридцать лет назад Риенци провозгласил его пещерой разбойников, а не обителью достойных людей. Церкви лежали в руинах,^[7] многие из них были полностью лишены крыш; в соборе Святого Петра и Латеране паства обгладывала траву на мостовой вплоть до ступеней алтаря. Ряд за рядом разрушенные жилища уступали место диким полям и пустошам - шрамы запустения на обезлюдившей территории Аврелиана. Если средневековый Рим лежал в руинах, то Рим античный был еще безжалостно разрушен, а храмы и театры язычников использовались в качестве каменоломен или известковых печей их дикими и обнищавшими преемниками. Вместе с процветанием мир и порядок покинули Рим. Свирепые кланы Колонна и Орсини терроризировали голодающих и страдающих от лихорадки жителей, и не было закона, который бы не подчинялся их тирании. Убийства были часты, вендетта - в почете, а Вечный город превратился в руины безнаказанного кровопролития.

В таком месте приличия, тишина и даже безопасность были чужды. Кардиналы, невольные мученики, день и ночь оплакивали Авиньон. Сам Папа стал разочарованным, неласковым и озлобленным. Но он был полон решимости не покидать эту одиозную Италию, пока не вернет себе вотчину Святого Петра. Альборноз был мертв, это правда; но в кардинале Двенадцати апостолов Папа нашел не менее воинственный, решительный и жестокий дух, чтобы повести свои войска против восставших городов и восстановить в Италии исчезнувший престиж Рима.

Роберт Женеvский, кардинал Двенадцати апостолов, был, как и сам Папа, французом из хорошей семьи и с аристократическими предрассудками. Его отец был графом Женеvы, мать - Махо из Оверни и Булони. В его глазах восстание подданных было преступлением, которому нет оправдания; а когда, как в данном случае, к отрицанию божественного права государей добавлялось еретическое отступничество от господства Церкви, его негодование иссушало в его сердце фонтаны жалости. История всей его жизни доказывает, что кардинал не был ни жестоким, ни мстительным от природы, но его кампания в Италии была ужасной. С недоверием француза к итальянцам Роберт отказался привлекать итальянских кондотьеров; он знал, что эти роты, постоянно меняющие хозяев, нежно относятся к сиюминутному врагу, вчерашнему и завтрашнему собрату по оружию. Кардинал, ожесточившись, привлек бретонца Жана де Малестроя, который кричал: "Куда может войти солнце, туда могу войти и я!", и англичанина, сэра Джона Хоквуда, с его Белой ротой, самой страшной на тот момент. Поддерживаемый этими безжалостными помощниками, Роберт Женеvский утолил в крови яростное сопротивление Флоренции, Болоньи, Чезены, Фаэнцы и других мятежных городов. Резня за резней, бесчисленные грабежи и мародерство отмечали его продвижение, но голос церковника ни разу не прозвучал с мольбой о пощаде. Он не восхищался упрямым мужеством осажденных; они были мятежниками, и их нельзя было жалеть. "Я омою руки в их

крови!" - кричал он в Болонье, а в Чезене было убито 5 000 человек. Все это сделало имя молодого кардинала отвратительным в Италии. Но за одну кампанию они обеспечили покорность итальянцев.

Лавры Роберта Женевского еще не успели зазеленеть, когда 27 марта 1378 года Григорий Одиннадцатый умер в Ананьи. Папа уже собирался вернуться в Авиньон, но необходимость длительного пребывания в диком Риме и проведение там конклава навалились на нетерпеливых кардиналов всей тяжестью несчастья.

Это был первый конклав, который проводился в Риме за пятьдесят семь лет, и римское население на улицах требовало римского папу. Но среди шестнадцати кардиналов конклава одиннадцать были французами. Они могли бы легко получить необходимое большинство в две трети голосов, если бы были единоклюсы между собой; но ненависть Севера и Юга не просто разделяла французов и итальянцев; она разделяла французов между собой. Григорий и Климент были лимузенцами, и большинство французских кардиналов решили продолжить эту традицию. Однако оставшаяся часть - галликанцы, как они себя называли, - предпочитала даже итальянца лимузенцу; их представитель, Роберт Женевский, обратился с предложением к Трансальпийцам. В результате был избран человек, не принадлежавший ни к одной партии, человек, который даже не был кардиналом. Бартоломмео Приньяно, архиепископ Бари, был итальянцем; но он был чем-то большим, чем просто итальянец; он был неаполитанцем, подданным королевы Джованны, и поэтому предположительно был в фаворе у французов. Он жил в Авиньоне, был знаком с французскими обычаями и французской политикой. Была надежда, что он сможет скрепить союз. Едва его избрание было завершено, как в конклав поспешно, под шум кричащей толпы снаружи, ворвались нетерпеливые римляне, требуя римского папу. Кардиналы не посмели признаться в своем выборе неаполитанца и в ужасе солгали, навязав народу кардинала собора Святого Петра, урожденного римлянина. Этот обман, а также ограничения, наложенные на конклав насилем толпы, через несколько месяцев были предъявлены против действительности избрания Приньяно.

Но поначалу ни у кого не вызывало беспокойства это нарушение. В течение шести месяцев архиепископ Бари носил неоспоримую тиару, а Урбан VI спокойно сменил Григория. Урбан был ревностным сторонником реформ, страстно настроенным против симонии, чистым в жизни, энергичным, решительным; но добродетель редко проявлялась в столь нелюдимом Аватаре. Это был неаполитанский крестьянин: невысокий, приземистый, грубый и дикий. Он швырял грубые слова и жестокие речи, как грязь, в лица своих элегантных французских кардиналов. "Дурак!" "Тупица!" "Симониакальный фарисей!" - такими твердыми гвоздями он утыкал всегда неприятное слово "реформа"; и однажды, если бы Роберт Женевский не поймал святого отца за рукав, он ударил бы кардинала в собравшейся консистории.

Роберту Женевскому было тридцать шесть лет; он был высок, властен, с красивым лицом и прекрасными манерами. Его аристократическая урбанистичность скрывала натуру, которая не гнушалась ни поступками, ни смелостью. Он стал кумиром кардиналов, хотя на самом деле именно он, эрц-галликанец, был отдаленной причиной избрания Урбана. Его репутация свирепого бойца добавляла престижа к его приятной куртуазности: именно он должен был стать Папой! Он не стал бы держать коллегия в течение всего знойного лета в Риме, где ненавистный Урбан заявил, что будет жить и умереть. Нужно было что-то делать, и немедленно, поскольку Урбан угрожал создать большинство итальянских кардиналов. Один за другим кардиналы покидали Рим, чтобы поправить свое здоровье. Сначала их пристанищем был Ананьи, затем они отправились в Фонди. В Риме был открытый секрет, почему там такой хороший воздух. Урбан узнал об их собрании, и 18 сентября он создал двадцать восемь

итальянских кардиналов. Два дня спустя в церкви в Фонди состоялась большая церемония. Французские кардиналы объявили всему миру, что наконец-то законный папа был избран на смену Григорию. Это был, конечно же, француз; им был Роберт Женевский; это был Климент VII, первый антипапа великого раскола.

Церковь была страшно разделена этой новостью - Климент, избранный всеми французами, не был отвергнут итальянскими кардиналами, которые, играя в выжидательную игру своей нации, сохраняли нейтралитет. Однако это было соревнование не личностей, а национальностей. "Значение избрания Урбана заключалось в том, что оно возвращало папство в Рим и освобождало его от влияния Франции"^[8] Катарина Сиенская ясно осознавала это значение и писала о Клименте, которому предстояло разрушить ее священную миссию, как о "дьяволе в человеческом обличье". На севере Италии кампания Климента в предыдущем году убедила разоренные города в истинности этого мнения; но юг не был тверд за Урбана, и Неаполь открыто объявил себя защитником его соперника. Смятение царило не только в Италии. Церковь повсюду была потрясена до основания. Во многих епископствах было по два епископа;^[9] в умах верующих зародилось ужасное сомнение, ведь из двух пап один должен быть антихристом, его последователи - еретиками и обречены на вечное проклятие. Не будет лишним сказать, что авторитет Церкви так и не оправился от этого долгого и страшного сомнения. Умы благочестивых людей обратились от Церкви к Богу; мистицизм и ересь утешали неуверенных; лжепророки стали обычным явлением на земле.

Смятение в Церкви сопровождалось смятением в государстве. Англия, из-за войны с Францией, горячо поддерживала Урбана. Империя также была за Урбана; и Бретань, и все, чья рука была направлена против французов. "Франция желает не только папства, но и всеобщей монархии на земном шаре", - писал Урбан императору.^[10] Но среди мелких государств у Франции оставались сторонники; Шотландия, Савойя, Неаполь, Леон и Кастилия последовали за ней и заявили о поддержке Климента. Во Франции царила великая радость. Людовик Анжуйский, возможно, первый из европейских принцев, приверженец Антипапы, был утешен уходом Григория; а когда королю принесли новость, он воскликнул: "Наконец-то я папа!" Но радость была радостью принцев, а не народа. Народ оплакивал смятение, обрушившееся на Церковь, а Парижский университет сохранял меланхоличный нейтралитет.

5. Париж: Bib. Nat. [FrançaisFrançais](#), 811; № 7203; "L'Apparicion de Jehan de Meun".

6. 17 июля 1376 года.

7. Пастор, "Geschichte der Päpste", i. 63, после Грегоровиуса.

8. Крейтон, "История папства", т. I. с. 64.

9. Особенно в Германии - Майенс, Бреслау, Констанц, Мец, Луара, Бреслау, Любек и т. д. См. Pastor., *op. cit.*, book ii. p. 108, *et seq.*

10. 6 сентября 1382 года. См. Pastor., p. 108.

Валентин Висконти.

I.

Валентина Висконти, более великая, чем Елена, как причина сражений, родилась в аббатстве Павии в 1366 году. Ее дед, Галеаццо Висконти, покинул Милан довольно внезапно, заболев подагрой и "испугавшись суровости" такого искусного в использовании порошков для престолонаследия, как Бернабо, его брат, соправитель Ломбардии. Он построил для себя надежный и великолепный замок в Павии. Пока он был еще недостроен, Валентин родился в гостеприимной старой Чертозе.^[11]

Галеаццо Висконти взял с собой из Милана жену, Бланш Савойскую, маленькую дочь Иоланту и женатого сына Джангалеаццо с женой Изабеллой. Эти последние и стали родителями Валентины. Когда она родилась, ее матери было шестнадцать, а отцу - пятнадцать лет.^[12] При ее рождении, как нам рассказывают, было невероятное ликование, ибо гордость Галеаццо Висконти была удовлетворена рождением внука, который был не менее внучкой короля Франции.

Матерью Валентина была та самая маленькая французская принцесса, которая шесть лет назад была продана в Ломбардию, чтобы помочь собрать золотые миллионы для выкупа ее отца. Иоанн Добрый получил за свою дочь пятьсот тысяч золотых флоринов, своего рода обратную брачную долю, цену королевского союза. Но Галеаццо заплатил не только за бесплодную честь: Изабель принесла своему мужу графство и титул Вертуса в Шампани. И хотя девочка с плачем уехала в Италию, слезы ее вскоре высохли. Она покинула опустошенную и разоренную страну; она приехала в страну роскошной тирании, богатства и великолепия. Жизнь была легкой в Милане и Павии, где Галеаццо был занят своим новым университетом, где Джангалеаццо - робкое, интеллектуальное, упорядоченное существо - проводил день за днем в своем кабинете, заполненном огромными пергаментными книгами, управляя штатом секретарей, которые переписывали в них его счета, его записки и дубликаты его корреспонденции. Священники и монахи из старой Чертозы, профессора права и образования из нового колледжа, поэты - английский поэт, мастер Джеффри Чосер, и сам принц поэтов, мессер Франческо Петрарка, - ученые мужи вроде Филиппа де Мезьера, гости из таких далеких стран, как Англия, Франция или Кипр, - все они были гостями дворца. Постепенно в величественном доме зазвучали детские голоса. Валентин родился в 1366 году. Один брат рос крепким и игривым рядом с ней, другой умер в младенчестве. Когда родился третий, в 1373 году, Изабель умерла, а через несколько месяцев после этого умер и ее ребенок.

В огромном замке Павии теперь было очень тихо. Иоланта, вдова герцога Кларенса, в 1372 году вышла замуж за маркиза Монферрата. Остались только старый Висконти с женой и молодой ученый граф Вертус с двумя маленькими детьми. Еще тише стало, когда в 1378 году умер Галеаццо Висконти. Он был ужасным стариком: жестоким, беспринципным, ученым. Именно он добился от императора Карла IV в 1361 году привилегии на основании Павийского университета и защитил его эдиктом, грозившим суровыми карами миланцам, осмелившимся учиться в другой школе. Он же бросил живыми в огненную печь двух священников, пришедших к нему с нежелательной вестью; он же вместе со своим братом Бернабо отравил третьего брата, сонаследника и соправителя в Ломбардии. Они разделили его долю: Галеаццо достались Пьяченца, Павия, запад до Новары и до Комо на севере, а Бернабо - богатая провинция на востоке. Оба одинаково правили в Милане. Оба должны были быть одинаково могущественны. Но Галеаццо оставил всю свою долю единственному

графу Верту, и у него тоже был только один сын, в то время как синьорию Бернабо укрепляли и разделяли одиннадцать буйных и жестоких молодых сыновей.

Отец Валентина помнил о судьбе своего дяди. Он держался очень тихо, окружил себя священниками и стражниками, не ел ни одного блюда, пока его не попробует десяток управляющих, и скрывал свои амбиции. Это ему удавалось настолько хорошо, что робкий граф Вертус стал в доме Бернабо простым словом и предметом насмешек. Хотя молодой человек позаботился о том, чтобы получить от императора инвеституру, дававшую ему *абсолютную власть*,^[13] хотя своей разумной защитой народа он сделал себя желанным избавителем несчастных миланцев, все же Бернабо и его дети не могли воспринимать своего родственника всерьез. И чтобы усыпить их подозрения, в 1380 году молодой граф Вертус явился с визитом в шумный замок Порто Джовио, где Бернабо жил с теми из своих девяти и двадцати детей, которые еще оставались в Милане. Это был большой буйный дом, полный голосов, полный великолепных юношей в доспехах (Паламед, Ланцилотто, Саграморо), полный красивых женщин и прекрасных девушек с чудесными именами (Ахилетта, Верде, Дамигелла), не менее сияющих из-за своей легкой приобщенности к злу. Одну из этих опасных девиц, Катерину, граф Вертус взял в свои вторые жены. В следующем году, в 1381-м, 4 октября, умер его мальчик, Асторре.

Теперь Валентин был его единственным наследником, поскольку в течение первых восьми лет их брака у Катерины Висконти не было детей. Валентине было пятнадцать лет, возраст для того, чтобы быть одетой и выйти замуж. Однако отец держал ее дома, обучая многому - слишком многому, говорили люди, считавшие ее мудрой, как Медея. Она умела придумывать букеты, читать не только итальянские, но и латинские, французские и немецкие книги. При каком бы дворе она впоследствии ни вышла замуж, она была бы не только дочерью герцога Миланского, но и его дипломатическим агентом. Не знаю, умела ли она говорить по-английски, но в те годы войн англичане часто бывали в Милане, и Валентина, когда была маленькой девочкой, видела (ярким, внезапным видением) своего английского дядю Кларенса, который так странно умер в Альбе и был похоронен в Павии. Она была ученой девицей, у нее было не менее одиннадцати книг, больше, чем у ее деда, короля Иоанна, когда-либо было в его королевской библиотеке в Париже. Она умела не только читать, но и писать - четким, превосходным почерком, подпись под которым до сих пор хранится в парижских архивах. Фруассар в более поздние времена отмечал, что она часто писала письма своему отцу: "Мадам Валентина писала ему все, что знала".

Я не знаю, была ли Валентина красива. В одной из строк "Пастурале" о ней говорится так

"Maret, qui le miex dasoit,"

и упоминает о любезности "la touse mignotte" - изящной дамы. Это производит впечатление не более позитивное, чем элегантность и изящество. Мы можем заполнить рамку парой портретов, которые до сих пор хранятся в Национальной библиотеке: небольшие гризайльные иллюминации, украшающие рукописное стихотворение^[14] в защиту Валентины. Ни в одном из портретов нет ничего особенного - ни акцента на яркую индивидуальность, ни сходства. На них изображена одна и та же молодая и стройная женщина, довольно высокая, с длинной шеей и тонкими руками, с бюстом одновременно полным и хрупким. Голова небольшая, волосы разделены от уха до уха по середине головы, задние локоны завязаны в греческий узел, передние разделены посередине и заплетены в подвесные косы над ухом. Под этой суровой прической мы видим серьезное спокойное лицо - длинные узкие глаза, высокий лоб, полный рот с красиво поджатыми губами; лицо слишком близко соответствует средневековому идеалу, чтобы произвести на нас сильное впечатление как сходство.

Валентина одета в низкое облегающее платье, опоясывающее бедра, с длинными узкими рукавами, спускающимися до костяшек тонких и изящных рук, поверх которого надет очень просторный тренированный сюртук, тоже низкий, ниспадающий богатыми складками до ног и застегивающийся спереди до бедер, где он сшит вместе, но расходится на руках огромными широкими проймами рукавов длиной в ярд, открывая нижнее платье. Если молодая герцогиня и не была в точности красива, то уж точно была прекрасно одета. Каталог ее парадных платьев заставляет задуматься: алые, серебряные, золотые ткани, богатая вышивка, ткани павлиньего и тутового цвета, ткани из сетчатого жемчуга. А жемчуга, алмазов, сапфиров и балахонов у нее было столько, сколько у любой принцессы в сказке. Она носила их на чепцах, вокруг кушаков, обхватывая юное горло, и рассыпала по парче и вышивке своих платьев. При всем этом в шестнадцать лет, при утонченной миловидности природной ломбардской грации, не обязательно быть красивой.

II.

В 1382 году в Милан приехали гости, восхищенные великолепием этих Висконти, много беседовавшие с отцом Валентины и распространявшие по всему миру рассказы о мудрости и великолепии своей дочери. Должно быть, они также внушили этой девушке мысль о силе, красоте и богатстве Франции. И, должно быть, они не меньше подстегнули молчаливое и бдительное честолюбие ее отца; в конце мая 1382 года по дорогам Ломбардии собралось четыре тысячи человек, чтобы стать гостями Милана. Все они были на прекрасных колесницах, убранных шелком и драгоценными металлами; все они были облачены в начищенные доспехи; легкие айгреты свисали с их шлемов. "Они казались армией Ксеркса, - писал монах Сен-Дени, - их носильные животные медленно шли под грузом золота и сокровищ. Те, кто видел их, астрологи и пророки, читали в будущем записи об их сказочной славе". На самом деле они были целым сонмом героев. В их рядах шли такие рыцари, как граф Савойский и граф Поленца. Во главе их ехал высокий, квадратноплечий мужчина со светлыми локонами, начинающими редеть, и красивым лицом. Он был великолепен в своем плаще, затканном золотом и лилиями. Это был Людовик Анжуйский, король Сицилии, отправлявшийся в Неаполь, чтобы завоевать свое новое королевство.

Королевство в Италии! Это было самое прекрасное видение эпохи. Королевство Адрия - несбыточная мечта; королевство Неаполь - фантом, двести лет ускользающий от жаждущей власти Франции. В тонком уме Джангалеаццо Висконти уже формировалось третье, более великое королевство - королевство, мертвое и похороненное почти пятьсот лет, - королевство Италия!

Но чтобы завоевать Италию, необходимо было обеспечить безопасность в Милане. Пока его гости с триумфом ехали навстречу голоду и бедствиям, граф Вертус разрабатывал свой план. Когда король Сицилии, завернутый в остатки домотканого полотна, усыпанного желтыми лилиями, будет лежать мертвым в своем непокоренном королевстве, поверженный в могилу в Бари, Джангалеаццо Висконти станет верховным правителем Ломбардии.

Он так хорошо все спланировал, что одна-единственная смерть обеспечила эту перемену. 6 мая 1385 года Джангалеаццо, направляясь в святилище Богородицы в Варезе, проезжал мимо ворот Милана. Его дядя и двоюродные братья вышли ему навстречу, улыбаясь огромной охране, которая всегда сопровождала робкого отшельника из Павии. Но теперь Джангалеаццо сбросил маску. Через час Милан был его, кузены - его пленниками, а дядя со своей *dilettissima amante* - в замке Треццо. Джангалеаццо, не менее искусный в ядах, чем его отец, отравил его там и похоронил в Милане в усыпальнице из великолепного мрамора. Но он не проявил беспричинной жестокости. Его двоюродные братья спаслись, правда, без

средств к существованию, но невосприимчивые. Убийство тирана Бернабо, достойно исполненное хорошо приготовленным блюдом из овощей, не сопровождалось лишними мучениями. Честолюбие, а не месть и не мания крови его рода, были главной страстью нового лонгобардского лорда. Если кто-то сомневался в его действиях, он мог предъявить инвестицию Венцеля, дающую ему абсолютную власть и окончательный приговор. Дети Бернабо были одурманены и не восстали; большинство сыновей отправились воевать в рядах сэра Джона Хоквуда, а жители Милана приветствовали графа Вертуса как избавителя. Он облагал их высокими налогами, но без беспорядков, а его полиция была настолько превосходна, что он, улыбаясь, говорил: "Я единственный грабитель в своих провинциях". Теперь Джангалеаццо был хозяином огромного владения, безмерно богат, ему было тридцать лет. Он намеревался пойти далеко. В 1386 году он отправился к папе Урбану, требуя титула *короля Италии*.

Урбан отказал, и в дальнейшем гибеллинский граф Вертус обращался со своими просьбами то к императору, то к антипапе в Авиньоне, который не просил ничего лучшего, чем сделать себя партией в Италии. Но прежде всего Джангалеаццо начал завоевывать свое королевство. Верона, Падуа, Пиза, Сиена, Перуджа, Ассизи, Болонья, Сполето пали как подкошенные перед его набирающей силой. Флоренция начала трепетать. Иностранные государства заговорили об этом новом завоевателе, о его силе, богатстве, единственной юной дочери. Авиньонский папа Климент, среди прочих, понял, что с Анжу на юге и Висконти на севере в Италии может образоваться великая галльская партия. Климент был одновременно и создателем, и покровителем королей Франции. Зимой 1386-87 годов, когда миланские посланники еще были в седле и договаривались о браке между Валентином и братом императора, в Павию неожиданно прибыл губернатор Верту. Он привез послание от короля Франции, молодого Карла VI. Король требовал руки Валентины для своего единственного брата Людовика.

Это был важный шаг. Двое первых детей короля Франции умерли, едва родившись, и Людовик все еще оставался наследником короны. Валентина, спустя шесть лет после второго брака своего отца, все еще оставалась его единственным ребенком. Во Франции ходили слухи, что граф Вертус обратился к своей дочери со словами: "Когда я снова увижу тебя, прекрасная дочь, я верю, что ты станешь королевой Франции".

III.

Это предложение, ставшее неожиданностью для Европы и почти возмущением для императора, не было неожиданностью для миланского владыки. За несколько месяцев до этого Джангалеаццо уже вынашивал свои планы. В Париже в Национальном архиве (К. 554, No. 7) хранится резюме проекта брака между Людовиком и Валентиной, датированное 26 августа 1386 года.

Интересно отметить, что в этом раннем проекте нет и мысли о возможных французских притязаниях на Милан. Валентину одаривают Асти и его доходами, за которые ее муж никогда не должен был быть вынужден платить дань; она также должна была принести своему мужу 450 000 золотых флоринов и прийти к нему "радостной и украшенной" (*bien joyellée et aornée de joyaulx*). И только после смерти отца она должна была получить в наследство графство Вертус в Шампани.

Это было очень много, но этого было недостаточно. Во Франции существовала сильная партия, настолько враждебная владыке Милана, что богатства, и только богатства, было недостаточно, чтобы одолеть их оппозицию. Висконти желал прежде всего королевского

союза. Он видел, что Гвельф - национальная партия в Италии - сильна и не представлена. Он будет главой гвельфов до тех пор, пока не добьется чего-то лучшего, и лучшим титулом для него был французский союз. Кроме того, самосохранение, не менее чем амбиции, делало этот брак желательным. Изабелла Баварская, внучка убитого Бернабо Висконти, была королевой Франции. Как мог Джангалеаццо страдать от того, что его изгнанные кузены обладают столь огромным преимуществом перед ним? Возможно, он чувствовал себя неуверенно в своем узурпированном суверенитете, пока Франция была объединена кровью и интересами только с Лишенными наследства. Если Валентина выйдет замуж за Людовика, Милан будет в безопасности от Франции. Поэтому на Рождество 1386 года Джангалеаццо предложил мужу Валентины графство Вертус как при его жизни, так и после его смерти, и включил в брачный контракт удивительный пункт о наследовании Валентиной Милана.

Даже без этого Валентина была очень богатой наследницей; она привезла во Францию приданое своей матери - графство Вертус в Шампани. Кроме того, она увезла в королевство 450 000 золотых флоринов, груз золотых украшений и драгоценностей, мебель на сумму 70 000 флоринов, золотые и серебряные тарелки, а также графство Асти в Ломбардии с ежегодным доходом почти в 30 000 золотых флоринов.^[15]

Графство Асти включало в себя целую провинцию, состоящую из городов, деревень и замков. Тридцать синьорий находились в его вотчине; сорок восемь вилл приносили дань графу Асти; Бри и Кераско, два больших города в Пьемонте, принадлежали непосредственно ему. В политике тех времен мало что может быть более поразительным, чем удивительное легкомыслие, с которым король Франции дарит ломбардскому авантюристу графство в самом сердце и центре своего собственного королевства, или уверенность, с которой итальянский завоеватель передает ключ от своего положения богатому соседу. Положение французов в Асти имело самые серьезные политические последствия. Оно на мгновение обеспечило им Савону, Геную, Пизу и столетие войн за Милан. Ибо эта надежная опора в Ломбардии придавала реальность их представлениям об итальянском королевстве и делала отторжение Италии от империи не только желательным, но и возможным. С другой стороны, это познакомило Италию с французами. Отныне итальянские князья при любом споре между собой могли обратиться за защитой не только к королю Франции, но и к своему французскому соседу, могущественному графу Асти.

Но поначалу лангобардам это не понравилось. "I Lombardi", - говорит Корио, - "furono di mala voglia". На самом деле они боялись наследования Милана Валентиной и ее мужем-французом. Это слишком сложный и запутанный вопрос, чтобы рассматривать его здесь. Скажу лишь, что итальянцы считали, что Джангалеаццо каким-то образом закрепил Милан за своей дочерью на случай, если у него не будет сыновей, или (как это произошло на самом деле) на случай, если все его сыновья умрут бездетными. Но вопрос о притязаниях французов на Милан заслуживает отдельной истории.

IV.

В апреле 1387 года Валентин Миланский по доверенности и условно обвенчался с Людовиком, герцогом Туреньским. Невесте был двадцать один год, жениху - всего шестнадцать; но, как заметил Ювенал де Урсен, "Assez caut, subtil et sage de son aage". Но только 3 июня 1389 года владыка Милана отправил свою замужнюю дочь в ее родной дом во Франции.

Во Франции против брака выступила влиятельная фракция. Король был не более чем мальчиком; он полностью - или, в последнее время, *почти* полностью - подчинялся своему

дяде, герцогу Бургундскому. Когда осенью 1380 года мудрый король Карл скончался, он оставил опеку над двумя своими детьми этому младшему брату, который во всех его битвах и приключениях был его правой рукой. Но регентство королевства король оставил старшему из своих братьев, герцогу Анжуйскому. Во всех смыслах братья были соперниками и антагонистами; интересы Анжу лежали на юге, интересы Бургундии - на севере. Анжу был культурным человеком, созданным природой для того, чтобы возглавлять общество дворян; Бургундский же капитан был защитником народных прав. Ни в чем они не были едины. Когда Анжу покинул королевство, чтобы завоевать Неаполь, и когда во Францию пришло известие, что он больше никогда не вернется, главенство Бургундии казалось надежным. Но Анжу оставил после себя преемника - не своего сына, сицилийского короля-ребенка. Нет, настоящим продолжателем его целей и политики стал его племянник, принц Людовик, младший из двух сыновей умершего короля.

Как мало гармонии между этим мальчиком и его дядей из Бургундии! В десять лет ребенок сражается при Розбеке как герой; но старый капитан, его воспитатель, хранит все свои улыбки для другого племянника, послушного и любезного короля. Он чувствует в Луи дух опасности, дыхание неповиновения. И действительно, один за другим древние советники и слуги Анжу укрываются в доме принца. Бургундия чувствует, что Людовик - Анжуйский ретивив, и его нужно держать в узде. И завещание Карла V дает на это достаточно оснований: ведь этот король, прозванный Мудрым, чувствуя, что опасность Франции кроется в величии ее принцев, покорил свое отцовское сердце и постановил, что его младший сын должен иметь не более 12 000 ливров пенсии в год. Но этому не суждено было сбыться. Время шло, и регентство подошло к концу, Людовик подтолкнул своего спокойного брата к чувству независимости. И молодой король, менее римлянин, чем его отец, и, возможно, довольный тем, что чувствует в королевстве еще одну силу, кроме бургундской, начал обогащать своего единственного брата, даруя ему графства Валуа и Бомон, земли в Котентене, Кане, Шампани и Бри: затем герцогство Турень; обещание наследства старой герцогини Орлеанской; наконец, этот богатый брак с Валентином Висконти.

Бургундия сопротивлялась изо всех сил. Мало того, что этот брак сделал бы Людовика слишком сильным, так еще и из всех невест Валентина была невестой, которая меньше всего пришлась ему по вкусу. Ведь Бургундия выдала двух своих детей замуж в Баварский дом, а баварскую принцессу - бойкую Изабель - отдала в жены молодому королю. Все эти баварцы были внуками Бернабо, убитого отцом Валентина. Кроме того, в 1382 году вышла замуж племянница Бургундии, Беатрикс д'Арманьяк, "гайе Арманьяжуаз". Этот Карло Висконти, лорд Пармы, наследник Бернабо, был лишен Джангалеаццо всего своего имущества, и Беатриче, больше не смеясь, вернулась есть хлеб изгнания в доме своего брата. Таким образом, и королева, и Бургундия, и Арманьяк, и Берри (второй брат умершего короля) были обязаны по всем инстинктам естественного гнева и благородной мести смотреть на Джангалеаццо как на похитителя их родственников - матери, детей, племянницы или мужа, и в их глазах богатства Милана были ценой крови. Никто из них не надеялся сместить узурпатора и восстановить законный род. И вот в течение двух лет они ухитрялись откладывать свадьбу.^[16]

Тем временем влияние Бургундии ослабевало, а влияние принца Людовика усиливалось вместе с королем. Осенью 1388 года катастрофическое "Путешествие в Аллеманию" глубоко дискредитировало Бургундию, его автора. В своем шатре в Коренцихе, вдали от королевы и двора, братья вели долгие беседы. Людовик не напрасно умолял свою невесту. Летом 1389 года Филипп де Флорины был послан в Ломбардию, чтобы привезти ее домой.

Валентина увезла с собой эскорт рыцарей, груз золота и драгоценных камней, владение Асти и обещанный Милан. В ее шкатулках было триста тысяч жемчужин, помимо жемчуга на ее парадных платьях. Ее тарелки оценивались более чем в сто тысяч марок парижских. Ее драгоценности, украшения и гобелены оценивались почти в семьсот тысяч золотых флоринов.^[17] Джангалеаццо не нашел ничего слишком дорогого или слишком сияющего для своей единственной дочери. Когда он наконец отпустил ее, то выехал с ней за ворота Павии, не сказав ни слова на прощание, ни разу не взглянув в ее любимое лицо, чтобы не разрыдаться. В самый печальный час своей трагической жизни Валентина со слезами на глазах вспоминала это молчаливое расставание.

Это было 17 августа 1389 года, согласно датам монаха Сен-Дени, когда Валентина прискакала в Мелун, чтобы встретить своего жениха. Король был там, как и весь двор - полный родни Валентины. Висконтисы заключали свои союзы с королями Франции еще в те мифические времена, когда Эней, предок обоих домов, основал город Англию. Валентин нашел множество более поздних связей. Король и ее муж приходились ей двоюродными братьями, как и молодой король Сицилии; герцоги Бургундский и Беррийский были ее дядями. Кроме того, как я уже говорил, она приходилась первой кузиной по отцу молодой жене короля, Изабелле Баварской. Она также была кузиной мадам де Монтобан, двоюродной сестрой по браку мадам д'Арманьяк. Но эти три родственницы смотрели на нее с ужасом, и все ее великолепие казалось им нечестивой добычей, полученной из нечистых рук ее отца, победоносного убийцы своих родственников.

Ревность и подозрительность королевы, должно быть, были самым ранним приветствием Валентина в Мелуне. Королева Изабелла была кумиром двора. Лучезарно красивая, восемнадцатилетняя, она не была удовлетворена преданностью своего мужа. Карл VI был мягким, добросердечным, крепким юношей, в два с половиной года уже изрядно облысевшим, с ясными глазами и щеками, великодушным, тугодумом, не приспособленным к государству и достоинству. Он был мил и приятен нравом; "от него, как от благоухающего цветка, исходила гениальность его совершенного характера", - пишет анонимный монах Сен-Дени. Но рядом с ним, более блестящий и красноречивый, чем он, ехал первый рыцарь рыцарства, единственный брат короля, Людовик, герцог Туреньский. Этому юноше было восемнадцать лет, он был чрезвычайно красив, так остроумен и так мудр, что в Парижском университете не было ни одного доктора, который мог бы возразить против его *bonne memoire et belle loquelle*. Часто по ночам в парижском отеле Сен-Поль он вместе с молодым маршалом Бусико просиживал до самого утра, придумывая и рассуждая о природе души или сочиняя рондели, песни и баллады. Другие дни и ночи проходили в менее невинных забавах; ведь прекрасный герцог Туреньский был столь неотразимым любовником, что народная фантазия наделила его волшебной палочкой и заколдованным кольцом, сделав абсолютным повелителем всех женщин. Тем не менее - хотя для рыцаря благороднее оказывать помощь, чем порабощать прекрасных дам, - герцог считался (по словам одной женщины) "прибежищем и пристанищем рыцарства". И очарование его молодости и красоты, его риторики и смеха, его мягких манер и блестящего рыцарства до сих пор доносится с пыльных страниц Кристины де Пизан и Ювенала дез Урсина. Эти двое любили его. Но и враждебный Монстреле, и критически настроенный монах Сен-Дени, и лишенный энтузиазма Фруассар - даже они уверяют нас в его чарующем присутствии.

По мнению Буркариуса, король был красивее своего молодого брата; но мы должны допустить естественную враждебность бургундцев к Людовику и естественное предпочтение силы и доблести, свежего цвета кожи, милого нрава, хорошего настроения и всех энергичных северных качеств перед более тонкими прелестями их врага. Стойкий Флеминг

считает короля лучшим мужчиной при дворе и красивее всех остальных, гораздо красивее его жены, "прекрасной и просительной", правда, но "грубой и брюнеткой": фатальный недостаток в глазах Флеминга! Ее неоспоримое превосходство над мужчинами он приписывает не лицу, а живым манерам. Она была "нежной и красивой":

"Touse n'y avoit tant jonette

Plaine de sy grant gaiété

Ny de sy grant joliveté

Sy amoureuse, ne sy lie,

Que cette Bergère jolie. "[jolie](#)".^[(18)].

Что касается Людовика, то у бургундца нет ни слова в пользу этого меланхоличного вольнолюбца, этого *Тристифера* (так его называют пастухи), который грешит, не получая удовольствия от греха; который проводит свои дни в погоне за любовью, но сохраняет железное сердце; чьи радости не найти в реальном мире, но фантастические радости искусства, противные филистеру:

"Tristifer, tristièce portant.

... Et tout fut-il jolis,

Trop sembloit-il mirancolis;

Qui le coer a plus dur que fer.

. \.

Bien nouvelette chanson

S'en va tout chantant à hault son,

Qu'il avoit, par un soir bruyant

Et bel, rimoié en riant".

Таким образом, бургундец... не подозревает, что этот портрет его врага - единственный, который пробуждает любопытство и стимулирует фантазию. And, by way of adding a blacker touch than all, he tells us that this singing Tristifer is the paramour of the gay Queen Belligère.

Я уже говорил, что Луи считался обладателем неземного кольца, волшебной палочки желаний. Говорили, что для безупречного рыцаря он использовал их в странных целях. Он очаровал своей палочкой, околдовал кругом своего кольца молодую жену своего брата, прекрасную королеву Изабель. И он стал женихом Валентины Висконти. Королева Изабелла была в Мелуне, чтобы приветствовать свою новую родственницу. Можно представить, какими критическими взглядами она окинула ее. Валентина, хотя и не была красавицей, в своей вуали из драгоценных камней являла собой новое и яркое видение. Она была также мудра; она могла обсуждать с мужем стихи, которые он сочинял, стихи лорда Солсбери и мэтра Эсташа Дешама, романы Венцеля Люксембургского или мэтра Жана д'Арраса, всю придворную литературу. Она могла поспорить с ним, этим тонким ломбардцем, в тех непростых и причудливых диссертациях, которые он любил. Королева Изабелла не могла смириться с тем, что эта незнакомка, благодаря своему великолепию и новизне, стала центром притяжения. Праздник бракосочетания едва успел закончиться, как Изабелла

уговорила мужа устроить для себя еще больший праздник. Она была замужем уже четыре года, ее знал в лицо каждый клерк на улице Сен-Дени, но король, повинуясь ее приказу, провозгласил королевский въезд королевы в Париж.

V.

Париж, в который Валентина попала как чужестранка, был прекрасным городом. Улицы и мостовые были в значительной степени перестроены ее дядей, Карлом Мудрым. Между новой Бастилией и рекой он возвел огромный королевский дворец - Отель Сен-Поль. Недалеко от него находились дворец Турнель, большая гостиница сицилийского короля, отель Клиссон и отель де Беань, где иногда жил муж Валентины. Чуть поодаль (на улице Турбиго) до сих пор возвышается замок герцога Бургундского с устаревшей угрозой. На левом берегу Сены еще одна группа дворцов окружала Нотр-Дам. На краю города стоял Лувр. Перестроенный Карлом Мудрым, он был наделен библиотекой из девятисот десяти томов (в основном иллюминированные миссалы, легенды, чудеса и трактаты по астрологии). Там день и ночь горела серебряная лампа, служащая студентам, для которых библиотека была всегда открыта.

Париж был прекрасным городом, но по случаю королевского въезда он казался раем. Улица Сен-Дени была сверху донизу задрапирована зеленым и малиновым шелком, усыпанным звездами. Под воротами пели ангелы в звездном небе, а под сладкие звуки инструментов маленькие дети играли в чудо. Вдоль улиц возвышались башни и помосты, на которых разыгрывались легенды о городе Трое и другие приятные зрелища. Были и фонтаны, текущие молоком или кларетом. Возле них стояли девы в богатых венках из цветов и из золотых кубков давали пить прохожим, при этом мелодично напевая; вверх и вниз по этому волшебному городу ходили жены и дочери горожан в длинных одеждах из золота и пурпура. Сами горожане были одеты в зеленое, а королевские чиновники - в розовое. Но все эти великолепия меркли и исчезали при виде королевской процессии. В центре, в открытой коляске, сидела королева, прекрасный, улыбающийся идол праздника; она была одета в платье из шелка, расшитое французскими лилиями золотой работы. За ней, в разукрашенных машинах, ехали великие придворные дамы. Только герцогиня Туреньская не имела упряжи; Валентина ехала на прекрасной полуторке, изумительно убранной; она ехала по одну сторону от упряжки королевы среди королевских герцогов. Жители Парижа, говорит Фруассар, с таким же нетерпением ждали появления новой герцогини, как и королевы, которую, правда, они часто видели. Ведь мадам Валентина была очень богата, она была дочерью великого завоевателя и только что приехала из Ломбардии, загадочной страны, где происходили удивительные вещи. Какое впечатление произвела Валентина на жителей Парижа, жаждавших увидеть иностранную герцогиню?

Какое из парадных платьев было на ней? Алое, расшитое жемчугом и бриллиантами, с шапочкой из жемчуга и алого для ее сумрачных волос? Или мантию из золотой парчи с рукавами и головным убором из жемчуга? Или сверкающая корона из балясин и сапфиров, а также платье из алой ткани, усыпанное драгоценными камнями и расшитое бледно-голубыми цветами бурачника? В любом из них этот великолепный итальянский незнакомец должен был показаться парижским мещанам видением южной роскоши, таинственного запредельного очарования. По крайней мере, можно быть уверенным, что никогда после этого они не смотрели на нее как на простую смертную женщину. Как раз в это время все читали "Мелюзину" мэтра Жана д'Арраса. Валентина Миланская с ее сказочным великолепием, тонкой мудростью, ломбардскими традициями - Валентина со змеей

Висконти на эскизе - должна была казаться этим парижанам еще одной таинственной женщиной-змеей, еще одной Мелузиной. Ведь итальянский характер, никогда не фанатичный, но столь склонный к душевным страстям; редко звериный, но столь виновный в противоестественных пороках, - Италия всегда была загадкой, ненавистой загадкой для практичных французов; и из всех итальянцев лангобарды, пограничный народ, больше всего не похожи на своих галльских соседей. Столетие спустя, когда французы хлынули в Италию, ни пылающая гора Везувия, ни чудесный венецианский город, плавающий в морях, ни античные и славные руины Рима так не поразили иностранных солдат, как ученые и утонченные дамы Ломбардии. Поздние летописцы, побывавшие в Италии, с удивлением рассказывают басни об экстатических девственницах и одаренных женщинах, более мудрых, чем их пол; они видели Анну, женщину сорока лет, которая никогда не ест, не пьет и не спит и носит на своем теле мистические раны Христа, прорываясь и кровоточа заново в каждую пятницу. В Милане демауэль Тривульче, "в юном возрасте", писала письма на латыни и была красноречива в ораторском искусстве; "она была также поэтична" (добавляет автор "Хроник") "и умела прекрасно общаться с духовными лицами и докторами". А еще она была добродетельна, так что ее святая жизнь казалась предметом восхищения. В Венеции мэтр Николь Жиль познакомился с некой девой Кассандрой, дочерью Анджело Фидели, девицей, сведущей в семи гуманитарных искусствах и теологии, которые она излагала в публичных лекциях. В Кьерсе, недалеко от Асти, "молодая герцогиня", дочь мэтра Жана Солье, приняла короля с публичной и самой красноречивой речью. Как ни были образованны, утонченны и добродетельны эти ломбардские дамы, как ни были восторженны и духовны многие их соотечественники, все же эта странная Италия, где женщины учили мужчин, где Иисус Христос во Флоренции был официальным главой республики, внушала французам тайный страх и ужас. Как люди в заколдованной стране, они боялись того, что может скрываться за внешним видом вещей. Прежде всего, французы никак не могли избавиться от навязчивого подозрения в существовании яда и колдовства, тайного и страшного оружия, которое эти откровенные и страстные галлы связывали с тонкостью и мудростью покоренного ими народа. "И все же, - говорит Комминс, - я должен сказать несколько слов в честь итальянского народа, потому что за все время плавания мы ни разу не обнаружили, чтобы они пытались причинить нам вред с помощью яда, и все же, если бы они решили, мы вряд ли смогли бы этого избежать".

Такое отношение к Италии - подозрительное и неохотное восхищение - характерно для французов 1494 года. За вычетом восхищения, оно столь же характерно для французов сегодняшнего дня; и в 1387 году было то же недоверие, но более острое, более тревожное, и то же удивление, но усиленное. Валентин Итальянец казался этим бдительным, честным, практичным парижанам чудом необычности и мудрости; но для них эти качества предполагали, прежде всего, роковую способность к злу.

И, по правде говоря, в Италии было такое зло, которое еще сто лет не проникнет во Францию. Итальянцы были нацией тайных отравителей; и французские буржуа смутно догадывались, что эта великолепная молодая дама знакома с миром, который сильно отличается от их бесхитростного и буйного Парижа. В Италии не было нужды в буйстве. Отец Валентина отравил дядю, который, в свою очередь, отравил собственного брата. А Джангалеаццо, которого, как рассказывает Корио, едва не отравил Антонио делла Скала, избавился от этого врага тем же способом. Флорентийцы^[19] (но это свидетельство врага) говорят, что он платил своему официальному отравителю сто флоринов ежемесячно. Поговаривали, что это традиции новой герцогини.

Таким образом, в конце концов, королева Изабелла сыграла лишь вторую роль в спектакле своего вступления. Вскоре, однако, она забыла о своей ревности к итальянцу - ревности, из-за которой в тот праздник ей было плохо в ее покоях, пока Валентин танцевал с Туреном и королем на королевском балу внизу. Но Валентин не был соперником красивой, яркой маленькой королевы: она была настойчивой, честолубивой и преданной женщиной, никогда не тщеславной и не робкой. С самого начала она одарила своего юного мужа той страстной преданностью старшей женщины, которая не требует ответной реакции от сияющего юного существа, которое она обожает. Она не обиделась на Луиса за любовь Изабел, если, конечно, эта любовь была его. Случилось еще более странное: Валентина объединилась со своей соперницей, чтобы подтолкнуть судьбу Турени. Эти две женщины постоянно были вместе, постоянно плели интриги и планировали благополучие неверного мужа одной из них, которого нерушимая традиция считала преступным любовником другой. Противоестественный союз, но он служил укреплению Турени.

Ведь и Валентин, и Изабелла были на слуху у короля. Карл VI, немного медлительный, немного скучный, пренебрегаемый при дворе, преданный женой ради своего более блестящего брата, - это мягкое, добродушное, неважное создание было непреодолимо влечено к своей невестке. Из всей ее королевской родни во Франции король был единственным, кто с самого начала приветствовал Валентину. "Моя дорогая сестра, моя любимая сестра", - эти слова не сходили с его уст. Валентина, как и он, была отвергнута; как и он, она страдала. Она тоже была терпелива и нежна, но она была сильна, она была благоразумна. Король Франции был грузным юношей, слишком мальчишеским для своих лет, любил шутки и переодевания, ненавидел церемонии и лишь очень смутно чувствовал обиды, которые его терзали; он искал у милой и спокойной итальянки не только защиты, но и сострадания.

В 1390 году, в Монпелье, король не мог смириться со своим отсутствием рядом с ней. "Я слишком далеко от королевы и мадам Валентины", - сказал он брату. "Давай поспешим в Париж". Без сопровождения и на спор они проделали весь путь, четыре ночи и почти пять дней в седле..... Немного позже лекари сказали, что такие бурные упражнения расстроили слабый рассудок короля.

VI.

В 1391 году молодой герцог Туреньский получил в наследство герцогиню Орлеанскую. Теперь он был столь же богат, сколь и честолубив. Если бы старый король, его отец, увидел его возвышение и честолубие, он бы восстал из могилы и вернулся к спасению Франции. Но пыль в глаза и в уши, и это было не так.

В течение некоторого времени король страдал от жаркой лихорадки. Он был, по словам монаха Сен-Дени, странным, измученным и растерянным. Когда летом 1392 года французы вторглись в Бретань, герцоги, его дяди, уговаривали его остаться дома. Но Шарля было не переубедить. Он отправился с ними в долгое, утомительное путешествие.

5 августа, недалеко от города Манс, после нескольких часов езды в доспехах под палящим солнцем, королевская чета проехала деревню прокаженных. Нищий, прокаженный, одетый в лохмотья, изгой мира, самое низкое человеческое существо, вышел и обратился к молодому королю Франции: "Не ходите дальше, благородный король, они предадут вас!" Король был поражен, и хотя королевские гвардейцы вмешались, они не смогли сразу же стряхнуть с себя мерзкого пророка. Вцепившись в уздечку короля, прокаженный снова закричал: "Не ходите

дальше, благородный король, они предают вас!"... Они предают вас! Людовик и Изабелла, его самые близкие и любимые, что еще они сделали? Король ничего не ответил.

Примерно через час после этого, внезапно, король набросился на своего брата с копьем наперевес, как охотники на оленя..... Более удаленные из королевской свиты подумали, что король увидел в лесу зайца или зайчиху..... Затем, когда правда стала очевидной, произошла ужасная сцена. Крики, раны, люди, падающие с лошадей, и фанатичный безумец, который, тем не менее, оставался священным и непреодолимым присутствием! Король Франции был яростно и убийственно безумен.

Четыре человека были убиты, другие спаслись, имитируя смерть. Орлеан, к счастью, ничуть не пострадал. Четыре дня продолжалось безумие короля, с приступами бреда и падениями в изнеможение, подобное смерти. Самой жестокой частью его болезни было явное страдание его духа. "Неужели никто не вырвет из моего сердца кинжал, который всадил туда мой прекрасный брат Орлеанский?" - взывал бедный безумный юноша; и бормотал про себя: "Я должен убить его! Я *должен* его убить!" Бесплезно было объяснять людям, что в больной ненависти расстроенного разума нет причины. Не находили они достаточных мотивов и в слухах о неверности Изабел Луи. Они искали более мрачное, более тонкое объяснение, и их подозрения были подогреты в политических целях врагами Орлеана - фракцией его дяди, герцога Бургундского.

Когда король оправился от безумия, его разум оставался слабым и неполноценным. Пришлось на время передать управление делами дядям. Это сделало самого сильного из них, Филиппа, герцога Бургундского, еще более сильным, чем когда-либо; фактически, хотя и не по форме, он был регентом. Против его правления постоянно раздавался голос протеста - голос молодого честолюбивого брата короля.

Людовику Орлеанскому был уже двадцать один год; благодаря браку и дарам короля он стал необычайно богат, а благодаря слабости короля - необычайно силен. Он был ближе всех к трону и желал регентства. Но народ подозревал Орлеана; он слишком многого хотел добиться от смерти или недееспособности брата. Народ, страстно жалея нежного монарха, которого он обожал, стал ненавидеть и бояться королеву и Орлеана. В более поздние времена они не стеснялись заявлять о своих опасениях, но вначале они не осмеливались прямо обвинять королеву, не хотели прямо обвинять молодого, красивого Людовика, свою гордость с детства, красноречивого, набожного, несклонного к гневу. Вместе с Ювеналом они находили его "прекрасным принцем и благородным"; и, подобно Кристине, они считали его "в этих молодых людях и во всех других вещах прекрасным... потому что он любит все хорошее... и не испытывает ни жалости, ни жестокости к Людовику". Но он был молод; его увлекли (Ювенал находит для них выражение) *"те, кто был близок к нему..... У него были странные юношеские глупости, о которых я не буду рассказывать..... Были около него люди молодые, которые побуждали его делать многое, что лучше было бы не делать"*. Это туманное и загадочное оправдание - завеса страшного обвинения. В народе стали говорить, что герцог Орлеанский - колдун.

Король безумен, брат короля - волшебник! По Франции прокатилась волна ужаса. "Многие дворяне и бедняки, - пишет монах Сен-Дени, - стали меняться и болеть тем же странным недугом, который напал на короля". Фанатичный ужас перед сверхъестественным злом распространялся и углублялся.

В этот критический период ситуация складывалась для Орлеана неудачно. 29 января 1393 года в отеле Сен-Поль состоялось свадебное торжество одной из немецких фрейлин королевы Изабеллы. Невеста была вдовой, причем трижды вдовой, а значит, предметом для

гротескного разврата эпохи. Ночью в большой зал среди танцующих внезапно ворвалась компания из шести сатиров, одетых в тугие льняные жилеты, на спинах которых были прикреплены чешуйки буксира. Эти отвратительные весельчаки прыгали и танцевали вокруг невесты, прыгая и жестикулируя, в каком-то дьявольском безумии. Пятеро из них были скованы одной цепью, а шестой вырвался на свободу. Шестым был король. Охваченный каким-то неудачным безумным порывом, Орлеан взял у своего носителя горящий факел и поднес его к лицу одного из маскарадных костюмов, чтобы узнать, кто он. Огненная чешуйка от факела упала среди поленицы и смолы. Вверх и вниз по залу, танцуя все более дикую и страшную сарабанду, понеслись пылающие сатиры. Двое сгорели дотла, двое умерли от ожогов в муках, один спасся, прыгнув в ванну с водой. Короля спасла герцогиня Беррийская, укутав его в свою мантию. Но опасность и страшное зрелище расстроили его пошатнувшийся рассудок. Король снова сошел с ума.

Народ был в ярости против Орлеана. Если бы Карл был сожжен, за это пришлось бы отвечать жизнью его брата; ведь народ любил короля. Бургундская партия - народная партия - без колебаний обвинила несчастного молодого герцога в коварном заговоре с целью убийства его брата. Напрасно Людовик возвел великолепную мраморную капеллу в церкви Целестинцев, чтобы искупить свою невольную вину. Люди роптали, что герцог Орлеанский слишком часто ходит в Селестинскую церковь. Говорили, что он ходит туда каждый день. Столько преданности было немыслимо в столь дикой печени.

Благотворительные души, подобные демуазель Кристине, напрасно заявляли: "Невозможно, чтобы его тело и его души были лучше". Благородные души встречаются редко. Народная масса без колебаний утверждала, что Людовик посетил Целестинцев, чтобы сговориться с неким монахом - старым советником его отца, сиром Филиппом де Мезьер. Этот человек был признан мудрым, опытным, способным и ученым в соответствии с эпохой. Сорок лет "Cestui vieil solitaire" был советником принцев. Тридцать лет он был душой и жизнью политики Кипра, Родоса, христианского Востока. Затем, опозоренный неблагодарным королем Пьером II де Лузиньяном, он укрылся во Франции, принес на службу Карлу V свой энтузиазм, свою политическую мудрость, свое подробное и обширное знакомство с дворами Италии и Востока. В 1379 году он поступил в монастырь Целестинцев в Париже; не слишком уединенный, он оставался доверенным советником Карла V, а тот, в свою очередь, - его сына Людовика Орлеанского. Но хотя добрый сир был монахом, толпа сомневалась в его религиозности, поскольку ходили слухи, что он говорит, будто в колдовстве нет истины. Пусть говорит! Сир Филипп де Мезьер тем более не был благоразумным спутником герцога Орлеанского. Сир слишком долго жил в Ломбардии: "стране", как описывает ее Ювенал, "где занимаются магией и произносят заклинания".

Примерно в то же время во Франции поползли злобные слухи об отце Валентина. Люди говорили, что сеньор Милана спрашивал у французского посла новости о короле. "Он в полном здравии", - ответил француз. Тогда Висконти побледнел и зашатался. "Он дьявол!" - сказал он с великим восхищением; или, согласно другой версии, "Diabolicum recitas et quod est impossibile - вы говорите мне дьявольские вещи, и те, которые невозможны! *Король не может быть здоров!*"

Итак, в Италии было общеизвестно, что герцог Миланский, как и любой другой преуспевающий принц или синьор, был тайным отравителем. Но во Франции ходили слухи о более страшном и еще более ненавистном обвинении. Люди стали шептаться, что герцог Миланский - волшебник.

VII.

Король снова сошел с ума; он впал в первый из бесчисленных рецидивов. Отныне в течение тридцати лет любое слишком острое чувство повергало его в агонию и безумие. В такие моменты он очень страдал. Случалось (рассказывает монах Сен-Дени), что, когда он сидел в зале совета, принимал послов и рассуждал здраво и ясно, внезапная дрожь проходила через него, и реальный мир уходил в небытие. И снова лес рядом с Мансом, предупреждение прокаженного, встает перед его измученным взором. Он взывал о помощи к своим врагам, но, бедный король, создавал, что эти враги - призраки. В такие моменты он плакал, причитал и рыдал, пока весь двор не заходил в рыдания, слушая его. "Только не безумие! Смерть, любая боль, что угодно, только не безумие!" И, соединив руки, он жадно вглядывался в лицо за лицом своих сородичей. "Молю вас, ради Христа, если кто-то из вас причастен к этому волшебству, дайте мне умереть и покончить с ним". Но никакие молитвы не помогли, и когда фантастический мир безумия постепенно затмил уходящую правду, последняя мольба короля показала неизменную сладость его измученной натуры. "Уберите все ножи, - кричал он. "Я скорее умру, чем причиню кому-либо боль". Ни время, ни страдания не стирали в его мягком характере отпечаток того ужасного момента, когда он проснулся и обнаружил, что его невинные руки отныне и навсегда запятнаны кровью невинного и преданного человека.

Пока король в отчаянии протестовал против надвигающегося безумия, весь двор плакал вместе с ним. Но, как только затмение свершилось, двор забыл о короле. Часть королевского дворца Святого Павла была превращена в безопасное убежище. Там король жил, иногда по многу недель немытый, изъеденный грязью и паразитами, не допуская к себе никого из прислуги. Тогда он был просто диким зверем, терзаемым собачьим голодом, свирепым, подозрительным, а иногда и диким от страха. Тогда он метался из конца в конец своих апартаментов, спасаясь от воображаемых преследователей, пока не падал без сил в бесчувственной летаргии.

Но чаще, особенно в первые годы болезни, он не опускался так низко. Тогда он был бесцельным, смешливым, мальчишеским имбецилом. Он больше не был королем даже в своем воображении; он забыл себя, как забывали его другие. Если он видел на стенах свои гербы или гербы королевы, он вымазывал их, смеясь и пританцовывая в бурлескной, непристойной манере. "Это не мои гербы. Я не король Карл. Меня зовут Георг, - кричал он, - а на моих руках - лев, пронзенный копьем!" Бедный король был сам прикован к этому неосязаемому копы, которое его прекрасный брат Орлеанский навсегда всадил в его сердце. Но в безумии его ревность претерпела тонкие изменения. Иногда он не мог вынести ни вида, ни упоминания о королеве и Орлеане, но чаще он совершенно забывал о них. Однажды они привели к нему Изабель. Он покачал головой и поклялся, что не знает эту даму.

Во всем мире было только одно существо, чье присутствие проливали бальзам и утешение на его несчастное помешательство. Это была его невестка, мадам Валентин. Она была единственным человеком, которого он полностью признавал. Отсутствуя и присутствуя, он взывал к ней: "О, моя дорогая сестра! О, моя любимая сестра!" И если Валентина оставляла его хоть на один день без визита, бедный король часами бродил взад-вперед в бесцельных сожалениях и жалобах.

Валентина была добра и жалостлива. Хотя в это время она была больна (ее второй сын родился в августе 1393 года), она не побоялась принести свое нежное великолепие в грязь и опасность присутствия безумного короля. Часами она сидела с ним, играя в карты: те самые раскрашенные сарацинские наибы, которых Ковелуццо заметил в Витербо (первые известные в Европе) в 1379 году. Возможно, Валентин привез их из Италии; они были

единственным развлечением изможденного короля, и часами нарисованные изображения Смерти, Любви, Фортуны, Безумия и Ангела тихо выпадали из рук этих двух несчастных людей, составлявших друг другу меланхоличную компанию в разобранных покаях зарешеченного и переделанного дворца.

Валентина была больна, она была женщиной, но не боялась этого высокого, широкоплечего молодого человека двадцати пяти лет, подверженного буйным маниям, который в одном страшном пароксизме зарубил четырех человек в доспехах. Его сопровождающие не осмеливались подойти слишком близко. Но Валентина, казалось, жила как зачарованная, она даже не дрогнула. Эта ее неестественная храбрость, это очарование, эта власть, которой она пользовалась над их королем... все это было ужасно объяснимо для жителей Парижа.

Кто была эта дама? Валентин Миланский. "Итак, - говорит Ювенал, - ее отцом был герцог Миланский^[20], который был лангобардом, а в его стране занимаются магией и произносят заклинания". "Простые люди, - говорит преподобный, - объявили, что король околдован. Они обвиняли герцога Миланского и в подтверждение этого нелепого утверждения говорили, что герцогиня Орлеанская была единственной, кого король признавал и кем дорожил в своей болезни. Они не стеснялись утверждать, что она была ведьмой, хотя то, что столь великодушная дама должна была совершить столь великое преступление, - факт, который никогда не был доказан". "Королевские врачи, ариолы и заклинатели, - говорит Фруассар, - утверждали, что король был отравлен или околдован колдовским ремеслом; они говорили, что знают это по духам, которые им это показали. Некоторые из этих прорицателей, ариолов и заклинателей были сожжены в Париже и Авиньоне. Они так много говорили и утверждали, что герцогиня Валентина Орлеанская, дочь герцога Миланского, околдовала короля".

В те времена обвинение в колдовстве было страшным и зловещим. Околдовать короля было самым проклятым преступлением, ведь колдовство само по себе было изменой Богу. Это было ничуть не меньше, чем взять с небес огромные вопросы жизни и смерти, отдать их в руки профанов и смертных и нарушить небесный порядок мироздания. Бог был осмеян. Эта сторона колдовства вызывала ужас у теологов, но не она приводила в беспомощный ужас содрогающееся население. Мы знаем, как жители полинезийских островов умирают сегодня от смертельной тоски, если верят, что их враг молится против них. Жители Парижа в Средние века умирали так же легко. "По всему королевству, - пишет монах Сен-Дени, - многие дворяне и бедняки страдают от того же странного недуга, что и король". Зараза страха парализовала источники жизни. "Ведь они могут околдовать вас, - говорил в 1407 году мэтр Жан Пети, очень ученый доктор теологии, - и они могут околдовать короля и заставить его умереть очень тонким способом, совершенно незаметно, с помощью заклинания". "Достаточно одного слова, - говорили два монаха Августина, пострадавшие за колдовство в 1397 году, - одного слова, одного прикосновения; это не природная болезнь". Для тех, кто страдал и видел, как страдают их близкие и родные от этого неизлечимого, неумолимого колдовства, не было слишком жестокой смерти для чародея.

Герцог Миланский был очень сильным магом. С помощью заклинаний и колдовства он, слабейший из своего рода, стал самым проницательным и могущественным из всех принцев Запада; с помощью заклинаний и колдовства он хотел сделать свою дочь королевой Франции. "Il n'y avait qu'une bouche à clore", - сказал Жан Пети. Валентина, как считали люди, помогала своему отцу, ведь герцогиня Орлеанская была ведьмой.

Власть князя воздуха была в высшем свете. Валентине не только покровительствовал Сатана, не только служили Гермас и Астрамин - два ярких демона Монтжоя, подчинявшиеся Орлеанскому дому, - ее также укрывало сияние трона. Любая власть, любая защита

принадлежали ей. Ад и земля повиновались ей, а небеса улыбались грехам принцев. И все же с жестоким героизмом жалости народ Парижа поднялся против нее, высыпал на улицы, протягивая фанатичные руки, чтобы разорвать на куски не всемогущего демона в неистовом ореоле пламени, а бледную заброшенную иностранку вдали от дома. Они решили спасти короля, и в конце концов опасность, грозившая герцогине, стала столь велика, что маршал Сансерр и многие другие вельможи посоветовали ее мужу выслать ее из Парижа. Так с большой помпой, ничуть не смущаясь, но со всем великолепием королевского хода, Валентина покинула город. Она отправилась в прекрасный замок своего мужа близ Понтуаза, а затем в Нейфшатель на Луаре. Она поехала одна, поскольку Орлеан был занят государственными делами в Париже. У раздражения Франции против миланцев была тонкая политическая причина. В сложных глубинах человеческого сердца реальный ужас перед сверхъестественным злом, страсть крестоносца к отмщению за честь Бога могут уживаться с самыми гнусными расчетами на получение мирской выгоды. Не только из любви к Богу евреи и мавры Испании, протестанты Фландрии, монастыри Англии обогащали своих гонителей. Не только за тридцать сребренников Иуда отдал еретика в светскую руку. И тем легче было осудить миланского герцога, что он был не только волшебником, но и политическим соперником Франции за богатый сюзеренитет Генуи.

VIII.

Французы рассчитывали на Джангалеаццо Висконти скорее как на капитана, чем как на соперника. Висконти смотрел на французов как на орудия своего честолюбия, а не как на серьезных соперников. В действительности же каждый из них стремился к одному и тому же; каждый хотел стать верховным правителем Италии.

Висконти легко овладел направлением политики своего зятя. Это неудивительно. Восемнадцатилетний юноша, бедный, содержащийся, систематически пренебрегаемый, Орлеан до женитьбы мало что знал о власти, ничего о верховенстве. Номинально он был герцогом Туренским, но его владениями управлял король. За несколько месяцев до женитьбы он не имел даже собственного дома, а жил со своей свитой в углу дворца своего брата. В феврале 1389 года он впервые появился на королевском совете. Валентин принес ему богатство, внимание и амбиции, ведь, владея Асти и находясь под руководством своего тестя, молодой герцог начал мечтать о сражениях и синьориях в Италии.

Висконти охотно усыновил мужа своей дочери вместо умного и доблестного сына, который должен был у него родиться. Его собственный сын был младенцем у груди. А Орлеан принес ему не только ясный молодой ум, свежую и пылкую волю и мужество, которого никогда не было у великого Висконти, но и влияние Франции. Таким образом, великий гибеллинец увидел в пределах своей досягаемости поддержку гвельфов. Примирить все партии в своих интересах - такова была цель этого непревзойденного государственного деятеля, столь же волшебным умевшего как заключать мир, так и разжигать рознь. Гибеллины и гвельфы, император и король Франции, папа и антипапа, да, даже Орлеан и Бургундия, должны были объединить свои усилия, чтобы сражаться в его битвах.

Первым его шагом был шепот о честолюбии на ухо зятю. И Людовик забыл о любовных утехх и балладах, о поединках и пирах, и обратился к другим мыслям. Асти был его; Асти должен был стать центром его операций, и быстро и бесшумно французская армия собралась в Асти.

В 1389 году, в самый год женитьбы Орлеана, был заключен мир с Англией, а значит, досуг при дворе и в лагере; значит, отряды всадников и вооруженных людей заполнили все

деревни, наживаясь на разоренных крестьянах и бродяжничая в ожидании новой войны. Нет ничего проще, чем набрать роту! В 1389 году Орлеан отправил в свое новое графство Франсуа, сеньора де Шассенажа, в качестве губернатора с двадцатью оруженосцами и двумя камергерами, каждый из которых имел по двадцать оруженосцев и тридцать лучников. К ним добавились еще пятьдесят пять оруженосцев и столько же лучников, которые составили ядро быстро растущей армии. К концу июня к службе присоединились еще больше оруженосцев и оруженосцев. Энжерран де Куси, лейтенант герцога и генерал-капитан *партий Италии*, в июле отправился держать свой штат в Асти.^[21]

С этого момента длинные страницы рукописной бухгалтерской книги Шассенажа заполнены списками капитанов, оруженосцев и лучников. Лучники под Браге, лучники под Вьезвилем, концентрация преданных орлеанистов, некогда анжуйцев, в Италии. Итальянские имена также начинают появляться во французском урожае: Мессир Оте Таск, командующий партиями Италии, мессир Джехан Висконти, эскавайр, мессир Алоизет де Плезанс, также Лукен Руск, Франческен Мартин, разжалованный в Павей, Ганнибал Ломмелин из Генуи со своим отрядом, другие из самых дальних уголков Флоренции и Венеции. Затем великое имя, командир многих других, имя, означающее бизнес: *Мессир Фасин Кан и его компания*.

Красные башни Асти, все еще стоящие тут и там, букет винно-красных стеблей, стройно расчерчивающих бледное и сияющее ломбардское небо, - красные башни Асти, бесчисленные тогда, стали родными и знакомыми для многих французских господ. Никакой тоскливой ссылки здесь нет - большие дома, тоже красные от вина ("non hanno acqua ma vino per impetrargli", - смеются жители Альбы), прекрасные церкви, богатая равнина, испещренная широким Танаро и опоясанная холмами. Ночью появляются Альпы, невидимые днем; на закате они выглядят даже как розово-красная небесная стена, божественно отделяющая страну лангобардов от невидимой земли Франции.

И все же французы здесь живут как дома. Много вина, красного и белого, красивые женщины, много денег. Орлеан платит по пятнадцать франков в месяц каждому оруженосцу (а оруженосец, надо помнить, больше, чем человек, это, по крайней мере, сам солдат, его паж и варлет), по восемь франков в месяц каждому лучнику; двести франков в месяц Шассенажу и камергерам; четыреста пятьдесят - Энгуррану де Куси. Все это служит, по меньшей мере, для того, чтобы принести богатство и обычай Пюильезу, хозяину шахты Астийского креста, который поставляет вино. Но с какой еще целью Орлеан растрачивает свои новоприобретенные сокровища? "Танец дураков", изваянный на стене на рыночной площади какой-то ироничной группой, не так давно умершей, смотрит вниз с молчаливыми колокольчиками и беззвучно смеющимися губами, которые не отвечают.

В августе Орлеан отправляет одного из своих людей (Блару) с тайным посольством к своему тестю в Милан, другого (Краона) - к антипапе Клименту.^[22] Они едва успели уехать, как он посылает другого (Гарансьера) в Павию. В феврале следующего года (1390) при дворе много говорят о путешествии в Италию - путешествием тогда вежливо называли вторжение, - чтобы утвердить папу Климента на его римской кафедре.

И вот, мало-помалу, великий план раскрывается - смелый, простой, как и подобает мозгу Висконти. Орлеан и Бургундия сами отправляются в Павию и прибывают туда в марте 1391 года. Блестяще Висконти убедил Бургундию, что экспансия Орлеана в Италии позволит ему расширить свои владения дома! Великие дела также, как мы знаем из отрывка в Уолсингеме,^[23] смутно вырисовываются перед Бургундией. Что касается Орлеана, то его пыл не знает границ; он оплачивает все расходы на путешествие, 60 000 франков, пышно расточая их, чтобы поразить своего нового союзника и подданных Асти. Королевские

герцоги пробыли в Ломбардии всего неделю, а затем вернулись - их вызвали слухи о беспорядках в Арманьяке. Но неделя была достаточно долгой.

Первым делом нужно было убедить Джангалеаццо Висконти отказаться от приверженности антипапе Клименту. Миланский владыка все еще оставался урбанитом; но он позволил антипапе Клименту устроить брак его дочери и дать разрешение, которое сделало его законным; а его жена Катерина была преданной Климентиной. Висконти дает понять, что будет сражаться за Климента, если это будет ему выгодно. Тем временем король загорается: честный, практичный, религиозный, идея насильственно покончить с ересью и расколом ему очень нравится. В том году в Авиньоне было три королевских визита. Антипапа предлагает Карлу VI императорскую корону для второго Карла Великого.^[24] Фруассар слышит о намерении короля "постричься в Риме", и 23 февраля 1391 года король подписывает квитанцию на 2 000 франков, "чтобы мы помогали ему в постройке, а его отец - в путешествии, которое он намеревается совершить в Ломбардии".

Но ничего нельзя сделать без незаменимого Висконти. Каков же его план? Сначала он сдерживается, любя по своей природе выжидательную позицию. Но в 1392 году настал момент принять решение. Арманьяк в этот момент вторгся в Италию, защищая права своей сестры Беатриче и старшей ветви Висконти. Он потерпел поражение и погиб от рук миланцев, но не раньше, чем нанес победителю столь суровое поражение, что Джангалеаццо уже не видел своего триумфа. И все же, как призрак Банко на совете Макбета, бледные фигуры мертвого Арманьяка, некогда смеющейся Беатриче, отравленного Бернабо, встают между ним и его концом. Разве такие виды не вызывают к мести? А ведь у Арманьяка и Беатриче есть живой брат; у Бернабо Висконти остался целый отряд сыновей. Милан еще может вырваться из его рук. Он не в безопасности в Ломбардии, и он хотел бы стать королем Италии. Но как получить эту корону? Арманьяк уже заставил его вернуть Падую Каррарези. А Флоренция, непримиримый враг, группирует вокруг себя лигу враждебных государств. В августе 1392 года Флоренция, Падуя, Фаэнца, Равенна - чуть позже Малатеста и Форли - объединяются против Висконти. Он не будет в безопасности в Милане, пока не наденет корону и Флоренции.

Затем он отправляется к Папе Римскому и королю Франции и объявляет о своем плане. Как владыка Милана узнал о тайном проекте Адриана? Неужели Анжу, проезжая через Павию, обронил хоть слово? Может быть, один из многочисленных Анжуйцев, укрывавшихся в Орлеанском доме, знакомый с Асти и Миланом, рассказал об этом плане? Мы не знаем, но таков был план Висконти: *Неаполь для Анжу; Рим для француза Климента VII; Адрия*, то есть центр Италии от Сполето до Феррары и от Массы до Анконы, *Адрия для Орлеана, Север для Висконти*. То есть Италия для отца Валентиниана и его союзников.^[25] Как рассказывает Уолсингем, Висконти обеспечил себе двойную корону Тосканы и Ломбардии. Но в тот самый момент, когда неохотно согласившийся Папа (менее поспешный и менее эгоистичный, чем в Сперлонге) пообещал отдать церковные земли в качестве цены за свою реставрацию, Божественная рука, как должно было показаться, вмешалась, чтобы спасти Церковь. 28 августа 1394 года папа и кардиналы утвердили Орлеанскую схему. Через две недели, 16 сентября, Климент VII внезапно умер в Авиньоне.

Его преемник оказался менее способным, и от схемы Адрии пришлось отказаться. Валентине никогда не суждено было стать королевой Адрии. Однако в качестве герцогини Генуэзской она была бы ближе к дому. Тогда Орлеан и Висконти всеми тончайшими и тайными способами принялись лавировать, чтобы закрепить за собой Лигурийскую провинцию. Армии в поле, дипломаты в кабинете министров работали только на одну цель. В ноябре 1394 года Савона покорилась Орлеану. Теперь необходимо было овладеть Генуей. Молодой

герцог уже имел сильную фракцию в свою пользу. Ломеллини, Спиноле, Флиски фигурировали в списках армии Орлеана.^[28] Но в то же время они интриговали с неожиданным врагом.^[29] В августе 1395 года генуэзский дож отправил в Париж письмо, предлагая самому Карлу сюзеренитет Генуи. Во Франции существовало сильное течение народного мнения в пользу итальянской колонизации. Почему Орлеан должен получить Геную? - спрашивали люди. Почему не король? Почему не все мы? Почему не Франция? Король, как мы знаем, никогда не был очень твердым существом. Честный, но слабый, он позволял себе поддаваться ближайшему влиянию. Герцог Бургундский находился в Париже, и он, вероятно, уговорил Карла^[26] отказаться от брата и принять дар дожа. В октябре Генуя была присоединена к французской короне. В декабре король выкупил у Орлеана его права на Савону и Геную.^[27] Это был шах и мат и Орлеану, и Висконти.

Бургундия и королева торжествовали. Королева писала флорентийцам, что дела идут хорошо, что ее враг и их враг впал в немилость, и 29 декабря король присоединился к флорентийцам против своего покойного союзника. Теперь во Франции царило сильное раздражение против Висконти, который, разгневанный предательством, перечеркнувшим его планы относительно Генуи, вел двойную игру с Францией. Подписав одной рукой братский союз с королем Карлом,^[30] другой он подстрекал генуэзцев к восстанию против его ига. Но генуэзцы заподозрили его происки и раскрыли всю интригу парижскому двору. Отсюда ярость среди знати, горячее желание наказать лжедруга.^[31] Отсюда же среди населения лучшая в мире готовность считать герцога Милана колдуном, а его дочь - ведьмой, inferнальным духом, навлекающим смерть и безумие на любимого короля.

IX.

Таким образом, махинации Милана приводили французов в ярость. А оскорбления, нанесенные Валентину, вызвали не меньшее раздражение у Висконти. Он и его дочь, с их ломбардским безразличием к [суевериям](#), не могли испытывать ничего, кроме презрения к панике французов. "Et l'une des plus dolentes et courroucées qui y fust, c'estoit la Duchesse d'Orleans", - пишет Ювенал де Урсен. Дважды или трижды герцог Миланский отправлял своих послов к королю Франции, предлагая найти рыцаря, готового сразиться в поединке с любым человеком, который обвинит мадам Валентину в какой-либо измене. Отец и шурин Валентины были так разгневаны, что заговорили о миланском вторжении. Во Франции были сделаны большие ответные приготовления, и была подписана Лига с флорентийцами против Милана. Король, будучи в добром здравии, отправился в Булонь, чтобы отпраздновать свадьбу своей дочери Изабеллы, семилетнего ребенка, с Ричардом II Английским, человеком на несколько лет старше себя. Ричард был очень зол на Милан. Он предложил послать английский контингент на помощь королю, если тот вторгнется в Ломбардию. Он снова и снова предостерегал короля от чар и колдовства Ломбардии и произвел такое сильное впечатление на ослабевший ум Карла, что 29 октября, когда оба короля сидели вместе за ужином, король Франции, увидев среди герольдов одного с миланским змеем на щите, приказал лишить его оружия, пригрозил смертью и прогнать из королевского присутствия. В ответ герцог Миланский издал знаменитую инвеституру 1396 года, которая отстранила детей Валентина Орлеанского от наследования Милана. При таком уровне враждебности война казалась неизбежной, и был намечен путь для вторжения в Ломбардию. Но эта война так и не состоялась. "И это путешествие, - [говорит](#) Фруассар, - не имело никакого эффекта, поскольку было обескуражено битвой перед Никополем в Турции,

смертью и захватом лордов Франции. Кроме того, они хорошо видели, что герцог Миланский был в фаворе у Великого Турка, Ламорабаки; поэтому они не хотели его расстраивать и оставили в покое". Сразу же возникла необходимость заключить мир с Миланом,^[32] единственной державой в Европе, которая могла выступить посредником в отношениях с Турцией. Послы короля, Бургундии, Орлеана и султана постоянно приезжали и уезжали из Милана. Висконти сполна воспользовался своим положением миротворца. В марте 1397 года он добился третьей, менее враждебной инвеституры. Разговоры о магии на время затихли, и Валентин спокойно вернулся ко двору.

И все же сейчас, возможно, впервые французский народ, не без оснований, обрушил свой гнев на Валентина. Ведь ее последний историк поддерживает теорию, давно предложенную Фруассаром.^[35] Пока французы планировали вторжение в Ломбардию, пока сын того бургундца, который консультировал короля в деле Генуи, возглавлял против турок французский крестовый поход, который мог легко вернуться на родину через Ломбардию и Милан, Джангалеаццо, разъяренный и униженный, искал любые средства спасения и мести. Он, как и многие другие итальянцы, состоял в переписке с турками, и идея, успешно реализованная многими другими итальянцами,^[34] могла неестественно прийти ему в голову. Если Франция присоединится к Флорентийской лиге, то надеждам Висконти придет конец. А Бургундия, как он знал, была на стороне Флоренции. А сын Бургундии был капитаном французской армии. Надежды было мало; но если французскую армию удастся уничтожить в Турции, Милан будет в безопасности! Тогда проникательный Висконти с улыбкой подумал бы о своей дочери во Франции. Валентин, который писал ему обо всем, также рассказывал ему, несомненно (как сообщает нам автор "Maistre Jehan de Meun"^[33]), о тщеславных молодых аристократах, разоренных свободной жизнью и веселыми гуляньями, которые отправлялись в это ужасное путешествие, не думая ни о чем более серьезном, чем об элегантном зрелище своего отъезда:

"Mais que le partir soit joly

Vous ne regardez point la fin!"

Молодые галанты, не приспособленные к лишениям, которые, достигнув Палестины, будут слишком слабы, чтобы нанести три удара великолепными шпагами, слишком тяжелыми для их рук.

"Les Sarrazins s'arment légier;

Они храбры и свирепы".

Но паноптикум этих великолепных юношей - этих *gens de paraige* - предназначался скорее для украшения, чем для битвы. Валентина, доверенное лицо своего отца, который в долгие дни изгнания с облегчением обращался к ее единственному родственнику, ее верному защитнику, рассказала бы ему о слабости, скрывавшей славу этого военного похода. Она напишет ему план кампании, выбранный маршрут, способы нападения и защиты. Она сообщит ему не только о качестве, но и о численности армии. И Джангалеаццо понимал, что эти подробности, переданные туркам, обеспечат катастрофу французов, и отвлекут на себя собирающуюся бурю, грозившую обрушиться на Милан.

Миланский герцог не был щепетилен, он был "moult bien" в дружбе с турком. Турок получил необыкновенное представление о диспозиции французской армии. Нет нужды останавливаться на ужасных бедствиях той незабываемой битвы: двенадцать - двадцать тысяч погибших; редкие беглецы, бежавшие домой, герцоги и бароны в одежде нищих;

более тяжелая участь тех, кто был захвачен турками, продан в рабство или истреблен в отместку за верующих, убитых от рук христиан; томительное ожидание немногих - очень немногих, самых богатых и благородных, отложенных для выкупа. Один из них, Жак де Эйли, был послан султаном во Францию, чтобы сообщить королю о случившемся и привезти весть о намерениях выкупа. Ему было велено проехать через Милан^[36], чтобы передать Джангалеаццо Висконти приветствие султана. В рождественскую ночь он прибыл в Париж; двор пировал и танцевал. В тюрьме Шатле, голодные и холодные, сидели люди, которые провели свое Рождество в темнице за то, что распространили ложные известия, как говорили, о большом поражении в Турции. Но с рассказом д'Эйли все изменилось: заключенные были освобождены, двор залился слезами. Во всех церквях звонили колокола по погибшим. Все думали о том, как выкупить цветок Франции из дикого плена. 20 января 1397 года в Милан было отправлено французское посольство. За несколько дней до этого Жак де Эйли, нагруженный умиловительными дарами, вернулся к султану. Ни о чем другом, кроме как о посредничестве и примирении, речи не шло. И Валентина - так долго остававшаяся невинным козлом отпущения своей партии - была возвращена к благосклонности в тот самый час, когда все могли заподозрить ее в невольном порождении несчастья.

Х.

Война с Миланом была предотвращена, но слухи о брате короля все еще продолжали ходить во Франции.

24 марта 1403 года священник Ив Гилемм, демауазель Мари де Бланси, слесарь Перрен Эмери и клерк Гийом Флоре были публично сожжены за колдовство. И все равно король был безумен. Неужели те, кто околдовал его, главу государства, должны были сохранить свою неприкосновенность? *Существовало* такое преступление, как колдовство, и люди по закону страдали за него. Король был околдован: кто же был колдуном?

На этот непрекращающийся вопрос Бургундия всегда помогала найти ответ. Кто больше всех нажился на болезни короля?

Герцог Орлеанский стал очень влиятельным. В январе 1393 года ордонанс обещал ему регентство в случае смерти короля.^[37] Его престиж, его богатство, его фракция росли с каждым годом. Этот молодой человек, который в 1385 году имел не более 12 000 ливров в год, был герцогом Орлеанским (1391), графом Валуа и графом Бомоном (1386), графом Асти и графом Верту (1387), графом Суассона (1391), графом Блуа (1391), графом Дрё, графом Ангулема (1394). В 1394 году он едва не стал королем Адрии. В 1398 году он был графом Перигора. Он был сеньором Савоны (1394), сеньором Куси (1391); владел землями и замками в Хайно, в Пьерфоне и в Ферте-Мильоне (1392). Герцогство Люксембургское (1402), герцогство Аквитанское (1407) лежали непосредственно перед ним.

Принцы Европы обращались к герцогу Орлеанскому как к независимому государю. Герцог Гельдерс заключил с ним отдельный союз (1401). Король римлян предложил ему за сына наследницу Богемии, Венгрии и Польши (1397). Генрих Ланкастерский, изгнанник в Париже (1399), оказывал ему больше любезностей, чем королю Франции. А в 1405 году венецианцы отправили двух тайных послов в Орлеан, которые в ответ послали некоего Пьера де Скровиньи с частными депешами к синьору Венеции. С 1401 года венецианцы ни разу не отправляли посланий королю. Бургундия начала опасаться, что Орлеан склонит нового Антипапу в Авиньоне к низложению Карла VI в свою пользу.

Я думаю, что нет никаких доказательств такого намерения, и все же подозрения Бургундии, возможно, были верны. В 1400 году немцы свергли своего пьяницу Венцеля, в 1398 году англичане свергли своего недееспособного Ричарда. Почему бы Франции не свергнуть короля, постоянно впадающего в безумие? В 1399 году у короля было шесть приступов. Возможно, Орлеан был не менее честолюбив, чем его заклятый друг и брат Генрих Ланкастерский, который совсем недавно завоевал для себя трон Англии.

Орлеан и Бургундия поочередно узурпировали управление делами. Король, королева и двор тщетно пытались утихомирить свое соперничество. 14 июня 1401 года королева Франции (король был безумен), король Сицилии, герцоги Беррийский и Бурбонский заключили Лигу "для умиротворения герцогов Орлеанских и Бургундских".^[38] Тщетно. Сам король был бессилён и мог только просить своих подданных - как в 1405 году он просил бейли де Ко - держаться в стороне и не принимать никакого участия в раздорах между герцогами Орлеанским и Бургундским.^[39] Эта беспристрастность была лишь кажущейся. Растущего влияния Бургундии опасались Берри и королева не меньше, чем сам Орлеан. И зимой 1405 года эти три человека объединились в "Союз наступательный и решительный, чтобы сохранить власть"^[40] Таким образом, если на стороне Бургундии был народ, то авторитет королевы, влияние Валентина (всемогущего при короле) были на стороне Орлеана. В 1404 году Филипп Бургундский умер, и его фракция набрала новую силу с приходом к власти его сына, человека менее умеренного и менее аристократичного, чем его отец. Кровь его матери-фламандки текла в жилах молодого человека, беспокойного, буйного, демагогичного, как мещанин Гента. У молодого герцога Бургундского не было женщины, которая работала бы на него; ходили даже слухи, что портрет его собственной жены висел в той запертой комнате, где Орлеан хранил фотографии своих любовниц. Но Жан-сан-Пор не нуждался в женских защитниках. Он был молод, он был богат. В 1404 году отец завещал ему Бургундию, в следующем году умерла мать и оставила ему Фландрию. Маленький некрасивый человек, бдительный, грубый, жестокий, служащий государственным интересам ради достижения собственных целей, Жан-сан-Пёр Бургундский стал героем народа. "Brun et barbu et bien aimé", - пишет Буркариус.

Тем временем народ стонал под тиранией Орлеана. *Jugum intollerabile plebis*. И Орлеан, скептический и озлобленный, не испытывал ни уважения, ни жалости к невежественному народу, который поносил его, угрожал его добродетельной жене, издевался над смертью его маленького ребенка жестокими и оскорбительными клеветами. Люди были для него одиозны или, в лучшем случае, безразличны; чаша, которую можно осушить, плод, который можно сжать и выбросить кожуру. В 1403 году он обложил их налогом в триста тысяч крон. На эти деньги он построил для себя два знаменитых замка, Пьерфон и Ферте-Мильон, прекрасные, как небесные башни на картине Ван Эйка.

В 1407 году, не успокоившись, он ввел новый налог. Полученные таким образом деньги обогатили государство гораздо меньше, чем он сам, и великие особы обвиняли его и королеву в том, что они не оставили ни одного флорина в пустой казне. Когда Орлеан предложил ввести новый налог, Жан-сан-Пор выступил против него в королевском совете: "Я прошу сжалиться над бедным народом. Это тирания - усугублять их невыносимое иго". Жан-сан-Пор заявил, что, по крайней мере, в его владениях налог не должен взиматься, а лучше он сам конфискует всю сумму. Пораженный такой щедростью, молодой герцог Бретани вызвался отложить приданое своей жены до тех пор, пока казна снова не наполнится.

Но налог все равно взимался. Это был военный сбор, и он был действительно необходим. Каждый мужчина и каждая женщина во Франции облагались налогом в соответствии со стоимостью своего имущества. Таким образом была собрана огромная сумма - двадцать семь миллионов. Она была помещена в башню Лувра. Однажды ночью, когда в городе было тихо, Орлеан с отрядом вооруженных людей вошел в эту башню и унес по меньшей мере две трети сокровищ.

Когда люди слышали об этом - люди, которые, как уверяет монах, продавали солому со своих кроватей, чтобы заплатить сбор, - они публично молились во всех городах и деревнях: "Иисус Христос на небесах, пошли кого-нибудь, кто избавит нас от Орлеана!"

Орлеан улыбался не менее горько, чем когда слышал, как народ обвинял его в колдовстве и дьяволопоклонничестве. Он объявил, что тот, кто не платит налоги, должен быть брошен в тюрьму; чтобы предотвратить убийство, ни один человек не должен носить с собой другой нож, кроме того, которым он пользуется для еды; четвертая часть провизии для королевского дома должна поставляться ежедневно, без оплаты, жителями Парижа. Эти продукты, как хорошо знали люди, не шли на то, чтобы накормить или одеть их любимого короля. Он, в своем дворце, был так же беден, так же страдал, как и они сами. Дофин был не богаче: "в нищете и нужде", - говорит Монах, - "если такие слова можно употребить по отношению к столь великой персоне". Ненасытная Орлеана, жадная маленькая королева, хватала и хранила все. "Иисус Христос на небесах, - молился народ, - пошли кого-нибудь, кто избавит нас от герцога Орлеанского".

Орлеану следовало прислушаться. В воздухе витали предостережения тиранам. Ричард и Венцель потерпели поражение. Герцог Миланский умер от чумы; за шесть месяцев его огромное королевство превратилось в руины. Тирания так часто является личной случайностью - владением, а не наследством. Стоило ли так поступать? Король сам пополнил список этих памятников. В августе 1404 года он женил своего старшего сына на дочери Бургундии, а свою дочь - на сыне Бургундии.

В 1405 году, в день Вознесения, народ обрел голос. Монах Августин, Жак Легран, проповедовал тогда при дворе. Присутствовали королева, Валентин и Орлеан, но не король. "О королева! О герцог!" - сказал монах, - "Вы - проклятие и насмешка вашего народа. Вы не верите мне? Выйдите на улицы и послушайте их!"

"*Tua curia, Domina Venus solium occupans*, твой двор, о королева! Где леди Венера заполняет трон, твой двор днем и ночью является сценой разврата и пьянства. Беспутные танцы не делают чести богине. Частое купание истощает ваши тела. Бахрома на ваших рукавах и длинные рукава на ваших одеждах; и все же вы одеты вздохами и слезами беднейших из ваших людей. Сердца ваши испорчены, а умы все недвижимы: *Domina Venus solium occupat*".

При дворе поднялась волна негодования. О проповеди монаха доложили королю, но, к всеобщему удивлению, Карл ответил, что рад ей. В Белое воскресенье Леграну было велено проповедовать снова, причем в королевском присутствии. Монах повторил свою проповедь, но с большим упором на некоего благородного герцога, "некогда доброго и близкого, а ныне ненавидимого за притеснения и пороки". Король оставил свое кресло и сел лицом к лицу с монахом, внимательно слушая его, и кто может сказать, какие жестокие подозрения, какие решения для расследования и реформ зародились в его смутном и измененном сознании. Когда проповедь закончилась, король несколько минут разговаривал с Леграном. Он искренне поблагодарил его.

Слова монаха Августина произвели на Карла глубокое впечатление. Борясь с постоянными рецидивами, он прилагал мужественные усилия, чтобы сделать все возможное для своего расстроенного королевства. Когда Орлеан попросил у него управление Нормандией, он впервые получил отказ. На другой день бедный король призвал к себе дофина. "Как давно, мой мальчик, твоя мать не целовала тебя?"

"Три месяца", - ответил мальчик.

Король был сильно поражен. Его дети были явно ущемлены, ими пренебрегали, о них не заботились. Он подозвал к себе кормилицу мальчика и дал ей золотой кубок. "Присмотри за моим сыном, когда я буду болеть. Если Бог даст мне жизнь, я вознагражу тебя позже".

Это было в июле 1405 года. Бургундский отсутствовал в своих владениях. Король написал ему письмо и умолял вернуться в Париж.

Орлеан и королева находились в Сен-Жермене. Они не обращали внимания ни на какие предупреждения. 13 июля разразилась страшная буря: ливень, шквалистый ветер. Королева и Орлеанский король ехали верхом по лесу, когда их настигла буря. Герцог укрылся в коляске королевы, но испуганные лошади едва не утопили их в Сене. Народ объявил, что это кара небесная над тиранами, и сам Орлеан был поражен. Он послал глашатая в Париж и объявил, что тот, кто из его кредиторов придет в ближайшее воскресенье в отель де Беань, получит сполна свой долг. В воскресенье залы и прихожие герцогского дворца были переполнены жаждущими мещанами. Многие, усталые и встревоженные, приехали из провинций. Управляющие герцога смеялись им в лицо и закрывали двери. Это стало последним штрихом к отчаянию народа.

Все это время Жан-сан-Пёр ехал в Париж. Он прибыл во главе шести тысяч вооруженных людей. Король снова сошел с ума и не мог поддержать его, но королева и Орлеан опасались восстания в пользу Бургундии. Они решили тайно бежать в Люксембург вместе с королевскими детьми. Валентин был с ними; они добрались до Пуйи, когда бургундские войска внезапно окружили коляску дофина, находившуюся в нескольких часах пути. Мальчик был в восторге; он обнял своего тестя, и его с триумфом понесли обратно в Париж. Изабелла с Валентином и Орлеаном бежала в замок Мелен. Гражданская война казалась неминуемой; но когда обе армии оказались в поле, был заключен мир, и 15 октября королева и Орлеан вновь вошли в Париж.

Орлеан ничему не научился. Он был как никогда высокомерен, как никогда уверен в своей тирании. В начале следующего года его юный сын Карл был женат на дочери короля Изабелле, овдовевшей королеве Англии, шестнадцатилетней девушке. В первые месяцы 1407 года король подарил своему брату богатое герцогство Аквитания. Орлеан снова стал подумывать о губернаторстве в Нормандии. Он был богаче и сильнее короля.

И все же, если бы Валентин, если бы Орлеан действительно читал будущее так, как думали люди, или если бы он даже заботился о том, чтобы читать настоящее, он вполне мог бы остановиться. В ту эпоху судьба тиранов не была благополучной. Король Англии был прокаженным. Король Франции был безумен. Маленький герцог Миланский тоже был сумасшедшим, страдающим неистовой итальянской гемоманией. Король Шотландии был пленником в руках своих врагов. Два папы были предметом презрения и смеха, над ними потешались все народы, и они были песней для народа в течение всего дня.

Уже в 1380 году Миль де Дорманс, канцлер Франции, заявил: "Правительство не имеет силы, кроме как в повиновении народа, ибо короли правят только с помощью избирательного права своих подданных: *Nam et si centies negent, reges regnant suffragio populorum*".

Суд небес и свобода человека, казалось, были в равной степени заговорены против правления тиранов.

XI.

Несмотря на свои обманы в Генуе и на свое господство во Франции, Орлеан все еще лелеял замыслы в отношении Ломбардии; и, возможно, главная причина того, что его итальянские предприятия менее заметны в XV, чем в XVII веке, объясняется не столько его поглощенностью делами дома, сколько тем, что в Бенедикте XIII он нашел союзника бесконечно менее тонкого и менее блестящего, чем тот, которого он знал в Клименте VII. Бенедикт был не более чем пленником в руках Орлеана;^[41] Климент был соучастником.

Более великий, чем Климент, человек подвел его немного позже. Осенью 1402 года, в самом разгаре и зените победы, Джангалеаццо Висконти умер. Вскоре несколько его капитанов сражались за его королевство. Эта огромная территория, целостность которой существовала только в мозгу одного человека, быстро распалась на части: город за городом сбрасывали невольное иго союза, и то, что уже почти начало становиться национальной Италией, через несколько недель вернулось к прежним условиям раздробленной независимости. Два его сына правили в урезанной Ломбардии, не имея, как казалось, ни малейшего представления об амбициях своего отца. В тот же год, когда умер великий Висконти, Карл VI отправил в Геную маленького, беспокойного, квишотичного человека с большими способностями, который в какой-то степени заполнил пустое место умершего Джангалеаццо. Но если маршал Бучико обладал во многом амбициями и дерзостью покойного герцога Миланского, он не имел ни медленного мудрого ума, ни глубокой и тонкой двуличности, которой мог позавидовать Макиавелли, ни способности к комбинациям, ни холодной стойкости перед великой идеей, предвещавшей гений другого североитальянца, графа Кавура. Более того, в то время как та доля, которую Висконти намеревался предоставить французам в Италии, была предназначена им для своего Орлеанского зятя, Бусико работал на короля. Таким образом, во второй раз в своей жизни француз нашел своего главного соперника во Франции.

Из двух законных сыновей великого герцога Миланского один был красивым молодым Нероном, помешанным на крови, неумелым, подверженным страстям и жестокости; другой - пронцательным ребенком, робким, беспринципным, который впоследствии должен был развить в себе следы гения своего отца. Поначалу их власть над наследством была столь незначительной, что Орлеан решил вторгнуться в Ломбардию - для защиты или для вытеснения своих племянников, кто скажет? В октябре 1403 года он отправился в Ломбардию в сопровождении 13 рыцарей-баннеретов, 43 рыцарей, 212 оруженосцев, 28 лучников, 20 арбалетчиков и других солдат.^[43] По пути на юг он проезжал мимо Босера и имел беседу со своим подопечным, антипапой Бенедиктом. Он взял к себе на службу знаменитого капитана-авантюриста Бернардона де Серра. Он подружился с другим могущественным капитаном - старинным врагом, графом Арманьяком.^[42] Обширным и серьезным казался его проект вторжения, но на самом пороге Альп, внезапно, в январе 1404 года, он отказался от процветающего предприятия, повернул направо и направился домой в Париж.

Что означает эта внезапная смена курса, необъяснимая и, возможно, необъяснимая? Какова была цель вторжения лангобардов? Что послужило причиной, так неожиданно подавившей его? Орлеан считал, что у него есть определенные права на Пизу, завещанную великим Висконти своему внебрачному сыну Габриэлло-Мариин. Габриэлло Висконти плохо себя чувствовал в Пизе. Чуть позже, в 1404 году, как мы знаем, он предложил свой непокорный город сначала Франции, а затем Флоренции. Можно - и это даже необходимая гипотеза - предположить, что в 1403 году Габриэлло договорился с Орлеаном, и что права на Пизу, которыми Орлеан похвалялся как своими собственными через Валентину Висконти, были подкреплены некоторой уступкой фактического владыки, ее сводного брата. Но Орлеан был не единственным французом, способным на авантюры и практику в Италии. К тому времени, когда его армия достигла границы, он обнаружил, что его перехитрил более выгодный претендент, находившийся ближе.

Джехан ле Мейнгр, маршал Бусико, губернатор Генуи, вступил в интригу с Габриэлло и приобрел для короля город Пизу. Через несколько месяцев, 15 апреля 1404 года,^[44] был составлен акт, объявлявший Пизу отныне вотчиной Франции.

При первых же словах об этом Орлеан отказался от задуманной кампании и с яростью в сердце отправился обратно в Париж. Вероятно, за вмешательством Бусико он разглядел вдохновение Бургундии, своего врага; Бургундия, которая, как показали события, имела свои собственные, не подозреваемые планы в отношении Пизанского государства. В гневе он вернулся в Орлеан, с возмущением ворвался в Париж, его люди шли по пятам, а король был в здравом уме и покорности, как и подобало ему. От него, 24 мая, Орлеан извлек документ, который мы прилагаем,^[45] документ, который отвергает действия Бусико, и передает все права Франции в Пизе Орлеану, который отныне не встретит ни препятствий, ни помех в своих проектах.

Решение было принято в Совете, где король был в здравом уме, а помогали ему Берри, Бурбон, Танкарвиль и другие. Читатель обратит внимание на отсутствие Бургундии. Он также вспомнит, что Берри в 1405 году присоединится к Орлеану в оборонительной лиге против Жан-сан-Пера. Не исключено, что Бургундия ничего не знала о затеянном за его спиной деле.

Но было уже слишком поздно, чтобы Орлеан мог воспользоваться доброй волей короля. Флорентийцы находились в Пизе, и вторжение против столь могущественного врага не могло быть предпринято.

На мгновение Орлеан был вынужден сделать паузу в своей итальянской политике - только паузу, а не отказ от нее, поскольку в 1406 году^[48] он все еще восстанавливал власть в Пизе, а в год своей смерти принимал активное участие в делах Ломбардии.^[47] Эта пауза была заполнена катастрофическим, фатальным, но вполне естественным для человека, задыхающегося от чувства горького негодования и бунта. Бургундия мешала Орлеану за границей. Очень хорошо; Орлеан будет мешать Бургундии дома. Уже были сделаны первые шаги. В 1401 году Орлеан выдал свою кузину Марию Харкорт замуж за герцога Гельдреса, врага и соседа Бургундии, с которым его соперник теперь заключил союз и лигу. В 1402 году Орлеан приобрел у короля римлян герцогство Люксембург. В 1405 году^[46] он собрал в Мелуне все силы своей фракции, послав даже в Асти за губернатором и его людьми. В 1405 году он также вступил в союз с Берри и королевой против Жан-сан-Пера. С одной стороны, двор, с другой - Гельдрес, самый безрассудный капитан своего времени; с армией по пятам и (через графство Суассон, по берегам Уазы и Марны) беспрепятственным проходом через собственные владения в новое герцогство Люксембург: Орлеан был смертельным врагом

Бургундии. Взглянув на карту, читатель увидит, как Люксембург, подобно клину или заклепке, должен расколоть или скрепить между собой нидерландские владения и провинции Франш-Конте и Бургундию. В руках Орлеана Люксембург был клином, а бургундские владения представляли собой уже не компактную и грозную территорию, а два княжества со столицей Брюссель и столицей Дижон. Если бы Орлеан ввел армию в Люксембург, если бы Гельдрес пришел к нему на помощь с вооруженной силой, подавление Бургундского герцогства оказалось бы в сфере практической политики.

Отныне между этими двумя князьями борьба за власть должна была принять новый характер и стать самой борьбой за существование. И пока народ, униженный, весь в слезах, молил Небо: "Господи, пошли нам человека, который избавит нас от Орлеана", герой народа, Жан-сан-Пер Беловодье, побуждаемый всеми побуждениями корысти, всеми инстинктами самосохранения и уверенностью в народной неприкосновенности, должен был навсегда прервать гибельное продвижение тирана.

XII.

Однажды вечером в среду - это был день святого Климента, 23 ноября 1407 года - Орлеан ужинал с королевой. Изабелла была больна и удручена. Десять дней назад ее новорожденный ребенок умер при рождении, и она скорбела об этом ребенке и любила его так, как никогда не любила других своих детей. Изабель жила вдали от мужа, в своем новом отеле Монтэрю, недалеко от Порта Барбет. Именно сюда каждый день приходил Орлеан, и здесь они "вместе радостно ужинали", - говорит монах Сен-Дени. Орлеан проболел всю осень в своем замке Ботэ и только недавно вернулся в Париж. Валентина с четырьмя детьми и принцессой Изабел все еще находилась в стране.

Когда эти два человека, оба больные, оба усталые, на время забыли о своих проблемах в обществе друг друга, в дверь вошел паж с притворным посланием: король убедительно просил брата приехать и увидеться с ним во дворце Сен-Поль. Орлеан сразу же встал и покинул королеву. Как сообщает Монстреле, в тот день в Париже у него было не менее шестисот человек. Однако Орлеан не взял с собой никого из них. Он вскочил на своего мула и поскакал прочь с двумя оруженосцами на лошадях под руку. За ним бежали два или три лакея с факелами. Ни один джентльмен не мог быть более простым, чем брат короля в своем простом костюме из черного дамаста, ехавший в сопровождении не более пяти сопровождающих, быстро и весело по морозной улице. Стояла самая холодная зима из всех, что когда-либо были известны, и, закутавшись в плащи, маленькая компания бодро скакала вперед, не глядя ни вправо, ни влево. Орлеан тихонько напевал про себя и играл одной из своих перчаток. Он не боялся врагов. В прошлое воскресенье он принял таинство вместе с Бургундом, а вчера они обедали вместе.

Было восемь часов. На улице Вьель-дю-Тампль, в то время отдаленном и тихом районе, было темно и тихо. Орлеан и два его оруженосца ехали так быстро, что бегущие с факелами остались далеко позади. Наконец они подъехали к более широкому месту на улице, где находился колодец. Когда три всадника проезжали мимо отеля "Образ Нотр-Дам", из тени дома внезапно выскочили семнадцать или восемнадцать человек. Один из них топором отрубил уздечку Орлеана. Брат короля издал вопль удивления и боли. "Я герцог Орлеанский!" "Мы ищем именно его".

Еще через мгновение герцог был сбит со своего мула на замерзшую брусчатку. Семнадцать топоров были направлены на него; удар за ударом сыпались на него; голова его была раздроблена, мозги вытекли на улицу. Все его слуги разбежались, оставив его там, кроме

одного из его оруженосцев, который был его пажом (немца, говорит Монстреле; Флеминга, говорит Монах), который, более постоянный, чем соотечественники Орлеана, бросился на тело своего господина, был пронзен и зарублен там. Когда оба были убиты, убийцы перетащили тело Орлеана через улицу, прислонили его к куче грязи, которая там застыла, и, зажегши факел из соломы, стали смотреть, действительно ли он мертв. Женщина, жена сапожника, выглядывавшая из окна мансарды, увидела все это и подняла крик "Убийство, убийство!". "Мир, блудница", - закричали вооруженные люди на улице и начали пускать стрелы в открытую створку. В этот момент из дома напротив вышел человек с надвинутым на лицо алым капюшоном и ударил дубинкой по мертвому телу. "Погасите свет. Он мертв. Отпустите нас". Восемнадцать убийц ускакали в великом веселье, сея за собой калътропы; но прежде чем уехать, они подожгли дом, где в течение последних двух недель их прятал Жан-сан-Пор. Пламя горящего отеля "Имидж" пробилось сквозь ночную тьму, разбудив город и пролив странный свет на убитое тело Орлеана, которое все еще лежало в сидячей позе, а его израненная голова свисала набок. Как раз в это время племянник маршала де Рьелькса, чей большой отель стоял напротив, молодой человек, один из оруженосцев Орлеана, подъехал к дому своего дяди и увидел, что его хозяин сидит мертвый, левая рука оторвана, правая висит на волоске. Чуть поодаль, на камнях улицы, лежал паж, умирая в своей верной молодости, и все еще бормотал на своем немецком языке: "Ах, мой господин!" Рядом с ним на земле лежала белая рука, отрезанная от запястья. Рядом лежала упавшая перчатка. Молодой оруженосец поднял тревогу, и тела убитых внесли в отель де Рьелькс.

В Орлеанском доме поднялся плач и траур, в доме короля - горе и ужас. Вскоре о преступлении стало известно, хотя до сих пор было лишь предположение, что некий Рауль д'Актонвиль, уволенный управляющий, выместил этим ужасным способом свою злобу на хозяине. На следующий день королевские принцы, все в черном, с огромной толпой парижан принесли убитого герцога в церковь Сен-Гийом, расположенную неподалеку. Тот, кто всегда любил добро, несмотря на все свои злодеяния, лежал теперь среди бдительных монахов, которые пели псалмы и совершали бдения день и ночь за его душу; там он лежал, пока его не отнесли хоронить в его собственную часовню Целестинцев, которая сегодня называется Блан-Манто. Народ шел за ним с факелами, помня лишь его добродушие и любезность, его капризную щедрость, его мягкую язвительность, его риторику и красноречие, то, как он любил учиться, и то, что он часто жил в качестве монаха в течение нескольких дней среди целестинцев. Весь Париж плакал, плакали и те, кто молил Иисуса Христа на небесах избавить их от Орлеана; даже Бургундия шла в похоронной процессии, вся в черном, и тоже плакала. Но когда похороны закончились, Жан-сан-Пор отвел Берри и короля Сицилии в сторону: "Я сделал это. Я убил его. Это было вдохновение демона".

XIII.

Были две женщины, не присутствовавшие на погребении, которым смерть Орлеана была ближе, чем всем скорбящим. Когда Изабель услышала, что Орлеан убит, она в ужасе ушла из жизни. Больная, она понесла себя в санях в собор Святого Павла, укрывшись там в объятиях своего безумного мужа, и как только она стала в состоянии передвигаться, бедная, легкая, красивая, маленькая королева уехала из Парижа, подалее от Бургундии, подалее от этого искалеченного и убитого тела, лежащего в часовне Целестинцев. Испуганная, безучастная, она не могла думать ни о чем, кроме своей мнимой опасности.

Госпожа и жена отнеслись к этому совсем по-другому. Сначала Валентина, охваченная горем, не могла ничего предпринять. Она вырывала волосы и кромсала одежду; она так рыдала, что несколько недель после этого ее голос был хриплым. Но когда первый пароксизм прошел, ее сильный итальянский характер сосредоточился на одной твердой

идее - справедливости, мести за убитого мужа. Валентина не думала о собственной безопасности. Она отправила двух своих старших сыновей и девочку в Блуа, а затем, взяв под руки принцессу Изабель и маленького Джона, своего младшего ребенка, герцогиня Орлеанская отправилась из Шато-Тьерри в Париж.

Путешествие в ту страшную зиму было медленным. Только 10 декабря Валентина въехала в столицу. Она, ее дети, слуги - все были одеты очень просто и грубо, и, конечно же, в черное. Навстречу им вышли король Сицилии и герцог Берри. Когда они достигли дворца, Валентина бросилась на колени перед королем, требуя справедливости. Бедный Карл (*azzez subtil pour lors*) поднял ее и поцеловал, а они оба плакали вместе. Он пообещал строгое правосудие в отношении Бургундии. И снова, десять дней спустя, он заявил: "Что сделано с моим единственным братом, то сделано и со мной". Валентина и ее дети, довольные местью, удалились в свой большой отель в Марэ.

Король снова заболел, как только Валентина покинула его. "Говорят... но я ничего не утверждаю", - говорит Монах. Однако ведьма Валентина продолжала жить среди людей, убивших ее мужа. Одна вещь, которую мы узнаем о Валентине в этот момент, показывает нам, насколько глубокой, насколько самоотверженной была ее любовь к Орлеану. Она разыскала его бастарда - маленького Джона, впоследствии графа Дюнуа, сына Мариэтты де Канни, и воспитала его вместе со своими детьми. Казалось, она даже любила его больше, чем других. Переведя взгляд с поэтичного Шарля, нежного Филиппа, ребенка Джона на его решительное и нетерпеливое личико, она воскликнула: "Никто из ваших братьев не способен отомстить за отца больше, чем вы. Природа обманула меня с тобой!"

Отомстить за отца! Это стало главной заботой Валентина. Но обещанная месть не заставила себя ждать. 8 марта доктор богословия, избранный адвокат Бургундии, некий мэтр Жан Пети, оправдывал перед королем убийство Орлеана. "*Убийство тирана разрешено*".

Бургундцы обвиняли свою жертву не только в тирании. В огромном обвинении Жана Пети (которое каждый изучающий прошлое читал у Монстреле) перечисляются и покушения на убийство, и тайные отравления, и колдовство, и некромантия, и чары, и заклинания. "Колдовство - государственная измена Богу, а цареубийство - государственная измена королю. Есть еще и тирания", - говорит мэтр Жан Пети. Разумеется, именно по этой третьей причине - измене народу - убийство Орлеана было оправдано в Париже.

Ведь народ никогда не скрывал своей поддержки Жан-сан-Пера. Те, кто плакал на похоронах Орлеана, теперь готовы были снова плакать по Бургундии. Король, чей разум снова был затуманен, хотя он и не был фактически безумен, сам 9 апреля 1408 года подписал грамоту о помиловании Жана-сан-Пера. "Нашему очень дорогому и любимому кузену Бургундскому, *который ради общественного блага, из веры и преданности нам, заставил покинуть этот мир нашего упомянутого брата Орлеанского*". Это было последнее оскорбление его памяти. Валентина не смирилась с этим; она выступила с обвинением. Хотя она сама была серьезно замешана в той ткани злодейства, которую убийцы сплели вокруг памяти ее мужа, Валентина не жалела о собственной безопасности. Весь июль и август она продолжала вести агитацию против Бургундии. Взяв с собой детей, она обратилась к королю и на коленях взывала к справедливости. Двадцать лет изгнания для Бургундии! Два ее защитника, Серизи и Кузине, красноречиво выступали в ее защиту, опровергая гнусные обвинения в яде и колдовстве с прямотой, логикой, тонким и современным духом, достойным интеллекта мертвеца, которого они защищали. Но все было бесполезно. "Парижане, - говорит Монстреле, - так любили этого герцога Бургундского, потому что верили, что если он возьмет на себя управление государством, то отменит во всем королевстве все соляные налоги,

поборы, пошлины и субсидии, которые были во вред народу". Хотя почти все королевские принцы открыто выступали на стороне Валентина, король не *решился* отомстить за брата. Двор был бессилен против народа.

Ранней осенью Валентина покинула Париж. Жизнь для нее была закончена. "Rien ne m'est plus. Plus ne m'est rien", - гласил ее меланхолический девиз. Гнев, тяжелая утрата и безысходная печаль превратили ее в тень. Она увезла маленькую Дюну с детьми в замок Блуа. Их было четверо: Шарль, поэт, который должен был стать отцом короля Людовика XII, маленький Джон, дед Франциска I, Филипп, граф Вертус, и Маргарита, в более поздние годы ставшая бабушкой Анны Бретанской. Этих детей, трое из которых должны были стать дедушкой и бабушкой или прадедушкой Анри II, Валентина неустанно наставляла. Все ее современники свидетельствуют о ее неустанной заботе о них. "Они чудесно хороши и хорошо обучены для своих лет", - говорит Монстреле: "Moult notablement conduits et indoctrinés". Но был один урок, более дорогой, чем все остальные, который Валентина постоянно преподносила своим сыновьям. "Отомстите за своего отца", - постоянно повторяла она.

Эти дети, такие разные по характеру и судьбе, были тем дороже для матери, что она чувствовала, что ей недолго осталось их любить. Валентина умирала от разрыва сердца, "от гнева и скорби", пишет Ювенал; "от гнева и бессильной мести", говорит Монстреле. Ее глаза совсем потускнели от бесполезных слез, и все же она возмущалась тем, что горе истощило ее жизнь; ведь она не хотела оставлять своих маленьких детей и невыполненную задачу. "Жалко было, - говорит Ювенал, - перед смертью слушать ее сожаления и жалобы: так жалела она о своих детях и бастарде по имени Иоанн, которого не могла упустить из виду, говоря, что никто из ее детей не годится для отмщения за отца"... "После трагической кончины мужа, - говорит преподобный, - эта герцогиня проводила свои дни в слезах, и многие говорят, что горечь ее сердца вызвала то нездоровое томление, от которого она умерла".

Это было в ноябре. В день святого Климента, в эту душераздирающую годовщину убийства ее мужа, Жан-сан-Пёр въехал в Париж. Это был триумф. Когда он проезжал мимо, люди и их маленькие дети кричали: "Noel, noel au bon Duc".

Прошла почти неделя, прежде чем новость дошла до Блуа. Услышав ее, Валентина почувствовала, что все кончено. Месть была невозможна. 4 декабря несчастная женщина умерла, при последнем вздохе умоляя своих маленьких детей никогда не забывать об убийстве отца. Но эти дети были всего лишь детьми, к тому же сиротами. Смерть Валентины, казалось, обеспечила триумф ее врага. Жан-сан-Пёр не пытался скрыть своего ликования: "Car icelle Duchesse continuoit moult asprement et diligemment sa poursuite". Но уже возмездие на своем точильном камне точило роковой боевой топор Монтеро.

11. В это же время в Милане жила еще одна маленькая Валентина Висконти, дочь Бернабо, в последние годы овдовевшая королева Кипра, сама по себе интересная и жалкая фигура.

12. Корио на разных страницах помещает дату рождения Джангалеаццо как 1352 и 1343 годы. Первая дата, 1352 год, согласуется с рассказом Галеотто дель Каретто и актом майората в Корио.

13. Tu, spectabilisque Azo, natus tuus ... auctoritate, bayliâ, nec non Regiæ Potestatis plenitudine, tam ordinariâ quam absolutâ, &c., Feb., 1380. Luenig. De Ducatu Mediolanense, в "Codex Italiæ Diplomaticus", No. xxvii. См. также инвеституру Асти, 1383 г., Джангалеаццо (vos et heredes vestri) в Национальном архиве, К. 53, досье 22.

14. "L'Apparicion de Maistre Jehan de Meun", Fr. ii., 7203. MSS. Bib. Nat.

15. Такова была оценка Джангалеаццо. Фактические доходы оказались несколько меньше, и между ним и его зятем было заключено соглашение à l'amiable (Arch. Nat., К. 554, dossier 6).

16. См. Comte Albert de Circourt, "Le Duc d'Orléans, frère du roi Charles VI.: ses entreprises au dehors du royaume." Paris: Victor Palmé, 1887.

17. Флорин, венецианский дукат и французский франк были взаимозаменяемыми монетами стоимостью около девяти и восьми пенсов на наши деньги. Они эквивалентны нашему полусуверену, французская корона - нашей полугинее; бургундский дворянин, как мне кажется, единственная монета, достигшая стоимости современной гиней. См. таблицы за 1384-1394 гг. в книге De Wailly.

18. Пастораль. Бургундская сатира в форме пасторали, написанная неким Буркариусом в первой половине XV века и опубликованная в последние годы в сборнике бельгийских хроник барона Кервина де Леттенхове.

19. Ламанский: "Secrets de l'Etat de Venise", pp. 157-159. Также "Archivio di Firenze", Signori Legazione Commissioni, &c. Filza 28, folio 7 t.

20. Джангалеаццо в 1395 году получил титул и инвеституру Миланского герцогства от Венцеля, короля римлян, за 100 000 флоринов.

21. Арх. Nat. (K K. 315 f^{os}. 9-52): "Notes à compter faiz à certaines gens d'armes et archiers retenus par Monsieur le Duc à son service avant la venue de M. de Coucy ès parties d'Ytalie."

22. De Circourt, *op. cit.*, p. 48.

23. Уолсингем, "Англиканская история", т. ii. с. 201.

24. Clairambault. sceaux, vol. cxiii. p. 8821. См. De Circourt, *op. cit.*

25. Обо всем этом вопросе об Адрийском королевстве, слишком обширном для этой случайной заметки, см. прекрасную статью мсье Поля Дюррье в "Revue des Questions Historiques" за июль 1880 года; также скудный том Шампольона-Фижака "Louis et Charles, Ducs d'Orléans", Paris, 1844; и особенно коробку рукописей в Парижском национальном архиве, помеченную Carton J. 495. Я могу также указать на интересный отрывок из "Англиканской истории" Уолсингема, т. ii. стр. 201, сообщенный мне графом Альбером де Циркуром: "Item Dominus Papa significat Regi per prædictum nuncio, qualiter Rex Franciæ et Antipapa pacta inierunt hinc inde: Videlicet quod idem Rex, per fortitudinum Ducum (Burgundiæ et Turoniæ, poni faciat Antipapem in Sedem Petri et Antipapa promisit Regem Imperio coronare, et Duci Burgundiæ) magnalia et investiet Ducem Turoniæ de omnibus terris ecclesiæ in partibus Italiæ, et *quendam alium* coronare Regem Tusciæ et Lombardiæ, et Ducem Andexaciæ (Andegaviæ) firmare in Regno Siciliæ." Отрывок в скобках существует только в Brit. Mus. MS.

26. "Arch. Nat.", К. 315.

27. "Арх. Nat.", J. 497, No. 15. Февраль 1392 г. Ломеллини, Флиско и другие генуэзские вельможи подписывают документ, предлагающий Геную королю Франции.

28. Paul Durrieu, "Le Royaume d'Adria". См. также важный отрывок в "Religieux de St. Denis", t. ii. p. 402.

29. "Arch. Nat.", K. 54, No. 37. 12 декабря 1396 года: "С тех пор, как наш дорогой и близкий брат герцог Орлеанский, в силу причин и обстоятельств, которые его беспокоят, отказался от сеньории города, земли и территории Геннеса. Et tant fait pour venir à son entencion.... Savoir faisons que pour contenter et deffraier nostre dit frère des très-grans fraiz missions et despenses par luy en plusieurs manières faiz et soustenuz... nous avons avec nostre dit frère traicté et accordé sur et pour ces choses et leurs dependances la somme de trois cents mile frans d'or pour une foiz."

30. 31 августа 1395 года. Lünig Codex Italiae Diplomaticus, i. col. 421.

31. "Religieux de St. Denis", ii. p. 436, *et. seq.*

32. "Delaville Le Roulx. La France en Orient", vol. i. p. 290-304.

33. *Vide* "Jean sans Peur, Duc de Bourgogne, Lieutenant et Procureur-général du Diable cès parties d'Occident," par M. Paul Durrieu, Paris, 1887.

34. Например, Карло Дзено в 1403 году, Гаттилузио в 1399 году, каждый из которых информировал турок о плане кампании христианского врага.

35. "L'Apparicion de Maistre Jehan de Meun". Bib. Nat. Fr. 811, № 7203. Это иллюминированная рукопись в защиту Валентины Орлеанской, посвященная ей.

36. "Delaville Le Roulx. La France en Orient", Paris, 1886, vol. i. p. 291.

37. "Ordonnances des rois de France", t. vii. p. 535. Герцог Орлеанский никогда не был регентом, несмотря на сведения монаха Сен-Дени, который уверяет нас, что в 1402 году король сделал своего брата генерал-лейтенантом королевства. Во время частых рецидивов Карла VI королевством управлял Совет. До 1415 года регентства не было.

38. Арх. Nat. K. 55, № 16, 14 июня 1401 года.

39. Арх. Nat. K. 55, № 39, 21 августа 1405 г.

40. Арх. Nat. K. 55, № 36, 1 декабря 1405 г.

41. "Арх. Nat." Картон K. 55, № 10: "Lettres par les-quelles le Roi commect la garde du Pape Benoist 13 au Duc d'Orléans, au-quel il donne cent hommes de sa garde". No 14 bis: Lettres du Roy Charles VI. déclaratrices que loin de tenir le Pape Benoist XIII. prisonnier, il l'a pris sur sa sauvegarde et que pour plus grande sûreté de sa personne et de ses biens il a établi son frère le Duc d'Orléans pour en avoir garde. "garde".

42. Сообщено графом Альбером де Циркуром по имеющимся у него стенограммам.

43. См. M. Paul Durrieu, "Les Gascons en Italie", p. 214.

44. Dumont, Corps Diplomatique. II. ccxvii. и ccxxxi.

45. Avd Nat. K. 55, № 11, бис 26 июля 1404 г. À tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Guilles, Seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller, chamberlain du Roy nostre seigneur et garde de la prévosté de Paris, Salut! Savoir faisons que nous l'an de grace 1404, ce Mercredi 26 jour du mois de Juillet, vismes une lettre du Roy nostre seigneur scellée de son grant scel sur double couronne, des quelles la teneur s'ensuit:

Charles par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces lettres verront, Salut! В ответ на мольбу и просьбу, с которой к нам обратился наш дорогой и близкий брат Лойс герцог Орлеанский, в том числе по причине нашей дорогой и близкой сестры, ее жены, дочери нашего дяди герцога Миланского, плюс несколько деревень, земель и сеньорий, расположенных в Италийской и Ломбардской областях, среди которых находится и должен находиться город Пиза со всеми его владениями, сеньория, принадлежащая нашему родному брату, и владения, принадлежащие этому родному герцогу Миланскому до того, как он начал жить в этом мире, принадлежат и должны принадлежать нашему более близкому брату. Он показал нам и рассказал, что город и город Пизе и все остальные частушки, принадлежащие Иселю, по определенным каналам находятся в нашем владении и на нашей территории. Они были переданы в наше распоряжение нашим высокочтимым шевалье Шамбелланом и советником Жаном ле Мейнром, дит Бусико, маршалом Франции, и правителем нашего города и сеньории Дженнес, pour quoy il nous a requis en tout le droit que nous avons et pouvons avoir de la dicte ville et cité de Pise et ès aultres cités et appartenances qui furent au dit Seigneur de Milan, nous veuillons bailler et délaisser. Et tout empeschement mis de par nous en la dicte ville et cité de Pise et ès dictes chateaulx et aultres appartenances d'icelles, veuillons faire oster et cesser, sans y plus procéder, ny faire procéder, en sa préjudice. Nous voulons toujours condescendre au justes requestes de nostre-dit frère, comme raison est. Qui avons baillie et délaissé de une certaine science par ces présentes tout le droit et seigneurie par nous acquis de nouvel et que nous avons et pouvons avoir en dicte ville et cité de Pise et ès aultres chasteaulx et appartenances d'iceulx. Et voulons et ordonnons par ces présentes que l'empeschement mis par et en nostre nom en la dicte ville, cité et Seigneurie de Pise et ès chateaulx et aultres appartenances d'icelles, soit osté. Si donnons en mandement par ces présentes et envoyons très-expressément au dit gouverneur de nostre dicte cité de Jeunes et à tous nos aultres justiciers et conseillers ou à leurs lieutenants et à chasseur d'eulx, si que di luy appendra, que de nostre bailli et délaissements dessus ditz fient, sueffrent et laissent jouer et user paisiblement nostre diet frère. En mectant au délivrement de luy ou à ses ditz gens officiers commis et députés de par lui tous les ditz droit et seigneurie par nous acquis de nouvel ès ditz ville cité et chasteaul dessus ditz. Et en ostant tout l'empeschement qui en iceulx a esté mis de nostre part. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres nostre scel. Дано в Париже 24 мая, в день четырехлетнего юбилея милосердия и 24-го числа нашей свадьбы. Aussi signées par le Roy en son rayon. Сеньоры герцоги де Берри и де Бурбон, коннетабль, граф де Танкарвиль, великий мэтр д'Остель и другие.

Et nous a ce présent transcript in tesmoing de ce que usismes le scel de la dicte prévosté de Paris l'an et jour dessus promis et dietz. Манессье.

46. Странный документ в картоне K. 55 Arch. Nat. под датой 27 июля 1406 г., в виде письма короля в Совете (при этом присутствовали Танкарвиль "и другие"), уведомляет, что в этот день король принял совместно герцогов Бургундского и Орлеанского, которые принесли ему свое объединенное почтение за Пизу. В 1407 году синьоры Флоренции, захватив Пизу (французскую вотчину), послали к королю, Орлеану и Бургундии оправдание своего поведения. Орлеан схватил флорентийских послов и бросил их в тюрьму - это был бесцеремонный поступок, который он, вероятно, считал оправданным своим положением сюзерена захваченного города. Таким образом Орлеан, вероятно, хотел подчеркнуть тот факт, что *именно он*, а не король или Бургундия, является повелителем Пизы, хотя все они претендовали на сюзеренитет. Существует длинная переписка на эту тему (Архивы Флоренции, filza xviii. della Signoria. Cancelleria 27).

47. Именно в 1407 году итальянские проекты Орлеана появляются в энергичном возрождении. 6 октября он провозгласил себя протектором своих племянников, Джованни Марии, герцога Миланского, и Филиппо Марии, графа Павии, "братьев дамы Валентины, супруги герцога" (Arch. Nat. K. 56, No. 16). Он назначил губернатора Асти их опекуном и, похоже, подумывал о вооруженной интервенции. Было ли это поведение чисто бескорыстным? Думал ли Орлеан в октябре в Ботэ-сюр-Марн о великом французском протекторате в Ломбардии, душой и центром которого он должен был стать? Месяц спустя трагическое молчание внезапно прервало любые ответы на эти вопросы.

48. См. "Арх. Nat." К К. 267 fo. 97. Также глава о Бернардоне де Серре в ценном труде М. Поля Дюрье "Гасконцы в Италии".

Притязания Орлеанского дома на Милан.

Давайте подведем итог.

Когда 16 сентября 1380 года скончался Карл V Французский, он оставил после себя двух юных сыновей. Одному было двенадцать лет, он был высоким, крепким, здоровым, приветливым; другому - девятилетнему мальчику, менее красивому, чем его брат, более стройному, смуглому, ловкому, острому и увлекающемуся.

Карл V. оставил своему младшему сыну не более чем пенсию частного дворянина; старший был королем Франции. Умиравший монарх, человек, у которого было много братьев, видел опасности, которые возникают, когда королевские принцы слишком богаты. Но он умер раньше срока, и из двух его наследников король был кроток, скупен и великодушен, а дворянин - блестящ, хваток и честлюбив. Результат был просчитан. Двадцать лет спустя младший сын стал королем только по имени; он был богат, могущественен, ужасен и ненавистен; в то время как его брат, обнищавший и заброшенный, голодал на троне, будучи самым любимым человеком во Франции. Обстоятельства сделали возвышение младшего сына необычайно легким. На двадцать четвертом году жизни король Карл VI жестоко помешался, и с тех пор до его смерти длились долгие регентства (предмет яростных споров между его дядей и братом), прерывавшиеся периодами мягкого и доброжелательного правления. Его младший брат, Людовик, герцог Орлеанский, стал, как первый принц крови, более могущественным, чем король. Он был слишком могущественным; его высокомерие и вымогательства навлекли на него множество врагов. 23 ноября 1407 года он был жестоко убит, когда ехал ночью по улицам Парижа. Он стал настолько ужасен, что даже брат, который любил его, не стал мстить за него, а восхвалил убийцу, "который ради общественного блага и из веры и преданности нам изгнал из этого мира нашего брата Орлеанского". Никто не оплакивал убитого полностью и без остатка, кроме его преданной вдовы и осиротевших детей.

Через год и неделю умерла герцогиня. Три ее сына, одна дочь и Дюнуа, родной сын Орлеана, которого усыновила его вдова, остались без отца и матери в королевстве, полном врагов, где торжествовали убийцы их отца. Они вступили в мир, как на поле битвы; но, хотя они были так молоды, они вступили вооруженными и конными. От отца они унаследовали герцогства Орлеанское, Люксембургское и Аквитанское, графства Валуа, Бомон, Суассон, Блуа, Дрё,

Перигор и Ангулем, а также сеньории Куси и Савона. Через свою мать они приобрели графство Вертус в Шампани, графство Асти в Ломбардии и некоторые претензии на герцогскую корону Милана.

I.

В 1387 году их отец, Людовик Французский, еще не герцог Орлеанский, сочетался браком с единственной дочерью герцога Миланского, Валентиной Висконти, которую через два года взял в жены. По отношению к монархам своего времени отец Валентины находился в таком же положении, как впоследствии великий Наполеон в первые годы своей империи по отношению к королям Германии. Он был богат, слишком могуществен, чтобы ему можно было безопасно противостоять, он был завоевателем, конец которого еще нельзя было предсказать; следовательно, он был человеком, которого можно было примирить и умиротворить. Однако в душе они презирали его как парвеню и авантюриста, сожалели и осуждали нравственные недостатки, омрачавшие красоту его процветания.

Джангалеаццо, первый герцог Милана, был единственным сыном Галеаццо Висконти, который вместе с Бернабо, своим братом, управлял Миланом и большей частью Ломбардии. Они убили собственного брата и разделили его наследство между собой - Бернабо, старший, держал свое государство в Милане, Галеаццо - в Павии.

У Бернабо было не менее девяти и двадцати детей. У Галеаццо было только двое, но и они были честолюбивы. Он женил свою дочь на сыне короля Англии, а сына - на дочери короля Франции. Это произошло в 1360 году. Жених и невеста были еще в детском возрасте. Через шесть лет родился их старший ребенок. Это была девочка, Валентина. Три брата, последовавшие за ней, умерли в несовершеннолетнем возрасте, но Валентина расцвела, выросла до женского возраста и внесла в Орлеанский дом разлад в запутанный вопрос о миланском престолонаследии.

Во время ее рождения и детства ее отец был лишь одним из нескольких правителей Милана. Висконти правили скорее как клан, чем как организованная династия. Они были потомками некоего капитана Эрипрандо, который в 1037 году защищал Милан от императора Конрада. Несмотря на такое начало, Висконти были гибеллинами, и все их последующие судьбы зависели от императора. В 1277 году они прогнали гвельфов из Милана и стали хозяевами государства. Они стали господами или *доминионами* Милана, владыками императорской вотчины, но без претензий на императорскую инвеституру. Император признавал их только как своих капитанов, виконтов или имперских наместников.

В 1372 году император Карл IV, встревоженный притязаниями клана Висконти, лишил их должности. Богатые тираны, не боявшиеся далекого императора за Альпами, не прислушались к этому наказанию. Император умер, и на престол вступил его сын - беспутный Венцель, которому предстояло сделать для Милана так много. Почти первым его поступком было назначение юного отца Валентина императорским наместником миланцев.

Это ощущение власти разожгло амбиции юноши, оставшегося без отца, которому теперь предстояло противостоять фракции своего дяди [Бернабо-Бернабо](#) и его многочисленных детей. Неряшливые и нерегулярные формы правления благоприятствуют буйным амбициям. Одним смелым маневром Джангалеаццо захватил в плен своего дядю, расправился с его двоюродными братьями и утвердился в качестве повелителя Милана.

Милана оказалось недостаточно. Огнем и мечом он расчистил себе путь, и его территория простиралась до Апеннинских хребтов. Флоренция, с другой стороны, дрожала за свою независимость. Ломбардское королевство снова ожило, и, хотя Папа Римский отказал неукротимому завоевателю в титуле короля Италии, в 1395 году император Венцель пожаловал ему Миланское герцогство.

Тем временем, в 1389 году, Валентина Висконти отправилась к своему мужу во Францию. Когда она покинула Милан, она уже не была единственным ребенком своего отца. За несколько месяцев до этого ее мачеха, Катерина Висконти, родила сына. Чуть позже родился второй сын. Теперь величайший завоеватель своего века мог разделить свои владения между двумя внебрачными сыновьями, бастардом по имени Габриэлло, и единственной дочерью Валентиной, ребенком его первой жены, принцессы Изабеллы Французской. Первый вопрос, который встает перед нами, заключается в следующем: Какое положение Джангалеаццо Висконти сделал для своей дочери Валентины Орлеанской?

На протяжении многих веков велись долгие споры о притязаниях Орлеана на Милан. Много споров и мало доказательств запутали этот вопрос; здесь мы рассмотрим только доказательства. В Национальном архиве Парижа^[50] хранится оригинал брачного контракта Валентина Висконти. Копия этого документа содержится в коричневом кожаном фолианте с печатью змеи Висконти, хранящемся в Британском музее.^[49] Это документ, выданный Антипапой, Климентом Авиньонским, 27 января 1387 года в пользу Людовика Орлеанского и Бертрана де Гаша, губернатора Вертуса, представляющего отца Валентина. К брачному договору прилагаются диспенсация (Людовик и Валентин были двоюродными братьями), документ о передаче в приданое невесты Асти и его владений, а также декларация о ее праве наследовать своему отцу в Милане, если его прямая мужская линия угаснет. Пункт, который нас в первую очередь интересует, звучит следующим образом: *"Item est actum et in pactum solempni stipulatione vallatum et expresse deductum quod in casu quo præfatus dominus Johannes Galeas vicecomes, comes Virtutum, dominus Mediolanensis, decedat sine filiis masculis de suo proprio corpore ex legitimo matrimonio procreatis, dicta domina Valentina, nata sua, succedat et succedere debeat in solidum in toto dominio suo presente et futuro quocumque, absque eo quod per viam testamenti, codicillorum, seu alicujus alterius ultimæ voluntatis, aut donatione inter vivos, ipsa aliquid faciat seu facere possit in contrarium quovis modo."*

Муж Валентин в течение многих лет был инструментом, с помощью которого проницательные Висконти надеялись обеспечить себе господство в Италии. В 1393 и 1394 годах у Висконти не было более дорогого плана, чем сделать Климента, Антипапу в Авиньоне, герцогом Орлеанским, королем Адрии. С Климентом в Риме, Анжу в Неаполе, Орлеаном, правящим центром от Сполето до Феррары, Висконти видел уничтожение Венеции и Тосканских республик - объединенную Италию к северу от Рима. Несомненно, он хотел, чтобы королевство Адрия и королевство Ломбардия превратились в единую монархию: но будет ли этот результат достигнут последующим уничтожением Орлеана или его усыновлением в качестве наследника Милана - вопрос, который, вероятно, зависел от того, будут ли живы или умрут сыновья Джангалеаццо. Однако Орлеан, хоть и столь юный, оказался не таким уж простым инструментом. Он не хотел, чтобы Адрия и Ломбардия объединились в ущерб ему самому, и молча обдумывал другую схему - обеспечить покорность Ломбардии, ограничив ее на юге Адрией, а на севере - другим французским княжеством, которое должно было образоваться в результате слияния Асти и Генуи. Поэтому Орлеан решил начать с завоевания Генуи; в течение трех лет он проявлял такие способности, что Джангалеаццо начал подозревать этого графа Асти и сеньора Савоны, которого генуэзцы умоляли стать правителем Лигурийской республики. Затем разразился скандал, связанный с

приобретением Генуи Карлом VI в ущерб своему брату. С 1395 по 1397 год наступает момент разделения интересов Орлеана и Висконти; но, как мы увидим, последним действием Висконти было обеспечение притязаний Орлеана на Милан, и герцог Орлеанский в своем завещании^[51] прямо завещает своему старшему сыну "*la comté d'Ast et autres terres que j'ay et puis avoir au pays de Lombardy et d'outre les monts.*" Насколько Орлеан и Висконти могли решить, нет никаких сомнений в притязаниях Орлеана на Милан. Но сложнее решить, по какому праву Джангалеаццо Висконти распоряжался миланскими вотчинами императора; ведь хотя, когда Висконти подписывал брачный договор своей дочери, он был просто незаконным деспотом Милана, восемь лет спустя император сделал его герцогом и получал дань из его рук. Земли, которые Висконти получил по наследству, обманом и путем завоевания, которыми он управлял с помощью силы и национального обычая, теперь бесспорно принадлежали ему по феодальному праву. Но для того, чтобы обрести безопасность этой законности, миланский герцог, во всяком случае, теоретически, пожертвовал определенной частью своей независимости.

Первая инвеститура была дарована ему 5 сентября 1395 года. С этой даты он владел Миланским герцогством как императорским вотчиной. Но в качестве какого рода вотчины? И какой класс вотчин позволяет женщине быть наследницей своего отца?

На эти вопросы, кажущиеся простыми, на самом деле трудно ответить, потому что феодальное право было довольно сильно модифицировано провинциальными обычаями. Именно обычай решал, может ли наследственный фьеф быть унаследован женщиной при отсутствии мужчины. Так, во Франции провинции Бургундия и Нормандия были строго мужскими вотчинами; но Лотарингия, Гиенна и Артуа переходили к дочерям при отсутствии сыновей; герцогство Бретань, королевства Кипр, Наварра и Неаполь (папская вотчина) придут на ум каждому; В то время как в самой Германии, в оплоте феодализма, герцогство Мекленбургское перешло к дочерям после угасания мужской ветви; многие вотчины в Швабии, Зутфене, Померании и Саксонии последовали этому примеру.

На севере Италии различие между законностью и незаконностью стало настолько ничтожным, что сыновья, рожденные в браке или вне брака, обычно появлялись в достаточном количестве, чтобы отвести любые женские притязания; а императорская инвеститура - за исключением тех случаев, когда она несла с собой императорский викариат - была скорее розой в петлице тирана, чем необходимой легализацией тирании, более сильной, чем закон. Тем не менее, маркизат Монферрат вошел в дом Палеологов благодаря женской преемственности; а в 1387 году Валентина Висконти без всяких сомнений передала мужу страну Асти (не меньшую, чем Милан, императорскую вотчину), причем только с папской инвеститурой. Столетие спустя Катерина Сфорца правила в Пезаро. Обычай в Италии, хотя и сомнительный, разнообразный, полный нарушений и путаницы, в целом был таким же, как и в Мекленбурге, Померании, Швабии, Венгрии, Бретани, Наварре и других местах: при прекращении мужского рода женщина могла наследовать. Если ее наследование было предусмотрено условиями инвеституры; или, в других случаях, если она не была преднамеренно исключена.^[52]

В инвеституре 1395 года, сделавшей Джангалеаццо герцогом Милана, нет упоминания о Валентине, но нет и прямого упоминания о сыновьях Джангалеаццо. Миланское герцогство даровано ему, *sui heredes et successoribus*. В Италии, где пандекты все еще служили образцом гражданского права, под этим термином могли подразумеваться все дети владельца; и в случае утраты мужской линии дочь имела право предъявить свои права. Я не знаю, насколько много подразумевалось в Германии в этот период под использованием этого термина; но, вероятно, и там он был по меньшей мере двусмысленным, поскольку при

императорах Гогенштауфенах римское право сильно продвинулось по Германии, и поскольку позже было сочтено необходимым сформулировать специальную оговорку, что использование выражения *sui heredes* не должно считаться достаточным для того, чтобы разрешить женщинам претендовать на наследование мужского вотчины.

Неясность была устранена в следующем году. Тогда возникла вероятность войны между Францией и Миланом, сильно отдалившимися друг от друга из-за присутствия французов в Генуе, а также из-за слухов о колдовстве, порочивших репутацию и ставивших под угрозу безопасность мадам Валентины во Франции. В этот момент Джангалеаццо, вероятно, встревоженный условиями брачного контракта своей дочери, добился второй императорской инвеституры,^[54] четко ограничив наследование наследниками мужского пола. Но это был еще не конец. В 1396 году в Париж пришло известие о битве при Никополе, что потребовало немедленного *сближения* с Миланом; ведь Джангалеаццо Висконти, которого боялись и ненавидели из-за его дружбы с турками, был в этот момент единственным необходимым человеком, способным стать посредником между французами и Востоком. Ему были оказаны большие знаки внимания, и он принял французские авансы. Мир и дружба между двумя странами были восстановлены, и 30 марта 1397 года он получил от Венцеля третью и последнюю инвеституру^[53], которая восстанавливала условия наследования на прежнем уровне и даровала Миланское герцогство Джангалеаццо Висконти, *потомкам и наследникам sui*.

Эта двусмысленность фразы, возможно, была создана специально. Тот факт, что фьеф был *pm corr 189.17 Fahnlehn Fahnlehen*, напрямую зависящим от императора, и что (насколько я могу судить) мадам Валентине не было предоставлено никаких особых императорских привилегий, в Германии сам по себе был бы настолько сильным доказательством в пользу исключительно мужского наследования, насколько это возможно даже при наличии второй инвеституры. Но в Италии, по обычаю страны и авторитету договора и завещания, дети Валентины были бы включены в число наследников и потомков ее отца; и, если бы весь род его сыновей истек, расплывчатые условия инвеституры позволили бы Орлеанской линии предъявить претензии, которые предотвратили бы переход столь важной части Италии к иностранному императору. Таков, по крайней мере, как мне кажется, должен был быть замысел герцога при получении этой последней инвеституры, обоюдоострого оружия в руках того, кого называли мудрейшим и проницательнейшим среди всех принцев Запада.

Таким образом, его позиция, похоже, была следующей. Чтобы обезопасить себя от любых неудобных притязаний французов, он имел ограничения феодального права; и в то же время он был в равной степени защищен от посягательств империи. У него была санкция местных обычаев, неясность условий инвеституры и, в дополнение к этому, папская привилегия, предоставлявшая Валентиниану право наследовать своим братьям или племянникам в Миланском государстве.

Право папы распоряжаться императорской вотчиной представляется, на первый взгляд, весьма сомнительным, даже если империя действительно вакантна. Когда Валентина Висконти вступила в брак со своим мужем, Климент VII лишь объявил в империи перерыв междуцарствия из-за приверженности Венцеля, короля римлян, к фракции папы Урбана в Риме. В этот период верховенство церкви над имперскими делами было настолько велико, что, несмотря на абсурдность этого утверждения и тот факт, что Климент был антипапой, никто не смог усомниться в законности французских притязаний на Асти, который не был предоставлен Орлеану никакими императорскими привилегиями вплоть до инвеституры

1413 года. Интриган-авантюрист, стремящийся укрепить новую и непопулярную династию любыми законными способами, Джангалеаццо сотрудничал с императором, папой и антипапой. Урбан, Климент и Венцель, в свою очередь, просили подтвердить пребывание Висконти в должности. Корио, по-видимому, считает, что престолонаследие Валентиниана в Милане было даровано Урбаном, который, несомненно, находился в Ломбардии в 1387 году. Но Урбан отказал Джангалеаццо в желанном титуле короля Италии, и до сих пор не найдено никаких документов, подтверждающих заманчивую гипотезу о том, что проницательный Висконти держал в своем владении указ Папы не меньше, чем указ Антипапы, предоставляющий наследство Милана его дочери.

Достаточно, однако, показать, с помощью какого хитроумного противостояния Франции Германии и Германии Франции миланский герцог стремился обеспечить независимость Италии. Если немцы, тогда еще только тень державы, решали утвердить свое господство, притязания французов были достаточно сильны, чтобы обеспечить им двух врагов вместо одного; и *наоборот*, - что, собственно, и доказал более поздний век. Надеюсь удержать каждого соседа в узде и страхе перед другим, Джангалеаццо намеревался обеспечить период спокойного роста для своего собственного Ломбардского княжества.

Таким образом, договор, закрепляющий Милан за Валентинианом путем папской трансмиссии, был заключен для Франции; вторая инвеститура была абсолютной для Германии: первая и третья были сформулированы так, что по обе стороны Альп они имели разный смысл. Помимо папских привилегий и императорских инвеститур существует, однако, и третий способ наделения собственностью: Я имею в виду способ, с помощью которого Неаполь был передан Анжу - способ завещания.

Но, воскликнет читатель, может ли феодал распоряжаться своим фьефом без письменного согласия своего феодала? Здесь, как и в вопросе наследования по женской линии, вопрос решался в основном обычаями провинции. В некоторых странах - например, в Нассау, Фридрихланде, Обер-Лаузице - феодал мог распоряжаться своим имуществом по завещанию, хотя в других странах действовал противоположный закон.

Но каким бы ни был местный закон, даже в феодальной Германии была сильна тенденция к уменьшению прав империи в пользу феодальных держав. По словам Менцеля, "император держал в руках лишь теневой скипетр... Князья росли в богатстве и власти, а император постепенно обеднел". Императорская инвеститура превратилась в простую форму, от которой можно было отказаться только в определенных случаях; а пфальцграфы, которым раньше доверяли управление императорскими аллодами, захватили их как наследственные вотчины". То, что безнаказанно делалось в Германии, с дерзостью совершалось за Альпами. А герцог Миланский, получивший свое княжество в качестве вассала, намеревался распоряжаться им как наследственный монарх. Если мы подвергнем сомнению его право на такой курс, то не только претензии Висконти, но и почти всех знатных семейств Италии, Германии и Фландрии должны быть отвергнуты или подвергнуты порицанию.

Претендуя на право распоряжаться Миланом и действуя на основании собственных полномочий, Джангалеаццо Висконти вовлекает свое завещание в ту же паутину интриг и контринтриг, которая была характерна для его прежней политики. До нас дошло не менее трех совершенно разных завещаний, а поскольку самое важное из них известно только в недатированной копии, трудно решить, какое из них было его окончательным распоряжением делами. Первое, достаточно знакомое изучающему Корио, было составлено в 1397 году и изменено в 1401 году; в нем вообще нет положений о Валентине. Второй (№ cсххiii в первом томе документов Озио), недатированный, но, вероятно, составленный в 1397

году, подтверждает ее права *на все ранее пожалованные владения*, но не дает ей ничего другого, кроме как впасть в бедность или овдоветь, в этом случае она должна была получить достаточное и княжеское воспитание в доме своего брата в Милане, с приданным на случай, если она вступит во второй брак. Это все, но этого достаточно, чтобы подтвердить договор 1387 года. Но именно последнее из найденных завещаний Джангалеаццо Висконти является наиболее важным для изучающих французские притязания на Милан. Это завещание, обнаруженное в 1872 году синьором Луиджи Озио в миланском архиве, придает совершенно новую силу притязаниям Орлеана. Однако оно существует только в копии и в отрывке, подобно отрывку из Сафо, сохраненному каким-то несознательным грамматиком, процитированном защитником Сфорцеско в письме с предупреждением, адресованном Лодовико иль Моро 10 января 1496 года.

В этот день узурпатор Лодовико (одержимый семейным убеждением, что в свое время его дед, Филиппо Мария Висконти, должен был составить завещание, в котором Милан завещался матери Лодовико) поручил своему другу и родственнику Джасону дель Майно, *элегантному и знаменитому легисту*, (если можно доверять вердикту Корио), провести с этой целью обыск в миланском архиве. Дель Майно не обнаружил ничего, касающегося мадонны Бьянки; вместо этого он нашел две весьма компрометирующие копии завещания Джангалеаццо Висконти, которые всплыли в доме мессера Джованни Доменико Ольяри, нотариуса Павии, сына Андриано Ольяри (упрямого и честного слуги герцогов Висконти), о котором мои читатели еще услышат на одной из следующих страниц.

"Что касается этих копий, - писал мессер Джазоне, - то, хотя они всего лишь копии и ни в коем случае не соответствуют условиям, я прошу вас немедленно изъять их, а также три других копии, которые, как я имею основания полагать, находятся во владении (1) братьев Чертозы Павии, (2) Манфредо да Озино и (3) синьора делла Мирандола. Вы хорошо сделаете, если сохраните их, ибо они будут представлять величайшую ценность для герцога Орлеанского, поскольку это завещание и *fidei-commissio* предусматривают, что, если сыновей Джангалеаццо умрут без наследников мужского пола, один из сыновей мадонны Валентины унаследует Милан. И хотя я скрепя сердце утверждаю, что герцог Орлеанский не имеет права получать что-либо в отношении Милана от вас или ваших славных детей, тем не менее вам будет полезно сохранить эти копии".

Лодовико понял намек. Из пяти упомянутых копий до наших дней не дошло ни одной. Только забытое письмо свидетельствует о намерениях Джангалеаццо Висконти. Внезапная смерть и быстрое забвение грубо нарушили его ловкие интриги - так много здесь для Франции, так много там для Германии - ровное равновесие, аккуратно удерживаемое твердой рукой. Осенью 1402 года чума навсегда омертвила эту хитрую руку. Убийство вскоре лишило жизни старшего сына великого герцога, а бастард Габриэлло умер на эшафоте палача во враждебной Генуе. Оба умерли бездетными, и Милан перешел к их младшему брату, Филиппо Марии. Он правил в Милане в мире и великолепии более тридцати лет. Но два брака не принесли ему сыновей; только одна дочь, и та незаконнорожденная, украшала его великолепный дворец. Когда герцог состарился, люди стали спрашивать друг друга, кто должен стать его преемником в Милане: его родная дочь, вышедшая замуж за великого капитана Франческо Сфорца? или его племянник, сын его сестры, герцог Орлеанский? или родственники его жены из Савойи? или, в конце концов, Милан должен вернуться, как отпавшая вотчина, в чужие руки германского императора.

II.

Тем временем меланхоличная судьба преследовала французских наследников Милана, детей Валентиниана и Орлеана. Здесь не место объяснять, как их юные разногласия с убийцами отца вызвали англичан во Францию; как младший, Иоанн Ангулемский, был отправлен в Англию, еще ребенком, в 1412 году в качестве заложника за долг своего брата; как три года спустя поражение при Азенкуре отправило туда Карла Орлеанского. Сыновья Валентина оставались в тюрьме всю свою юность. Когда в 1440 году сын убийцы их отца, нежный герцог Бургундский, выкупил герцога Орлеанского из рабства, Карл был мужчиной сорока шести лет,^[55] который вернулся домой, чтобы найти свои владения полуразрушенными в результате разорительных войн; его брат Филипп мертв; его сводный брат - герой - Дюнуа, восстановитель своей страны. Восстанавливать свое положение в этом изменившемся мире было поздно, но, по крайней мере, он не терял времени. В том же месяце того же года (ноябрь 1440 года) Карл женился на племяннице Бургундии, Марии Клевской. В 1445 году его брат, Иоанн Ангулемский, недавно освобожденный из Англии, женился на соседке своей сестры - Маргарите де Роан, со старшей сестрой которой он был связан в юности. Оба принца были полны решимости вернуть свое наследство, воспитать детей и восстановить древнее достоинство своего дома. Большая часть Ангулема, большая часть Орлеана и большая часть наследства Бонн д'Арманьяк все еще находились в руках англичан. Владения Орлеана во Франции сильно уменьшились. И за пределами Франции Асти также был потерян.

В 1422 году, когда Карл Орлеанский уже семь лет, а Иоанн десять лет просидел в английской тюрьме, когда Филипп Вертский был мертв, когда Франция была парализована, а Генрих VI. Английский король короновался в Париже, графство Асти, опасаясь англичан (этих готов с Ривьеры) и более близкой ревности честолюбивого Монферрата, послало к Филиппу Марии Висконти, герцогу Миланскому, и умоляло его принять Асти под свою опеку и защиту^[57] до тех пор, пока один из его племянников не будет освобожден из Англии. Герцог Миланский охотно согласился. Асти был итальянским Кале, и с итальянской точки зрения казалось нестерпимым и неестественным, чтобы это графство оставалось маленьким островком Франции в Ломбардии, *перевалочным пунктом* через горы для вторжения в Галлию. И вот теперь, после двадцати лет беспрепятственного владения, миланский герцог не обратил внимания на напоминание племянника о том, что он снова дома и готов вновь вступить в свои права на наследство. На самом деле герцог не решился вернуть Асти. В 1438 году он назначил Франческо Сфорца своим лейтенантом, и тот боялся Сфорца. Напрасно он посылал письма и реквизиции; поэтому в начале 1441 года принцы Орлеанские отправили Дюнуа в Милан.^[56]

Были и другие дела, более важные, чем возвращение Асти, по которым столь мудрый, столь опытный, столь убедительный человек, как Дюнуа, должен был посоветоваться с дядей своих сводных братьев. У герцога Миланского не было сыновей, только одна дочь, и та была незаконнорожденной. Поэтому принцы Орлеанские считали себя наследниками Милана. Но не только они ожидали этого наследства. Император указал на пункт инвеституры 1396 года, в котором говорилось, что в случае отсутствия мужчин Милан должен отойти к империи. Якопо Висконти, дальний кузен герцога, выдвинул свои собственные претензии. Сфорца, муж родной дочери герцога, вспомнил дом Эсте и другие итальянские дома, где не раз бастард, если он был мужественен и красив, наследовал отцу раньше законных наследников; а что касается того, что мадонна Бьянка была женщиной, то разве Джованна I Неаполитанская не наследовала королю Роберту, даже вопреки салическому закону? Тем временем савойские принцы вспомнили, что, когда герцог Миланский женился на савойской

принцессе, он, получив ее дары, дал обещание ее отцу и брату, что если от этого союза не будет детей, он завещает Савойе миланские титулы. О странной путанице в законах наследования в Италии говорит тот факт, что все эти принцы верили в право миланского герцога передавать по завещанию, дарственной или брачному контракту то, что на самом деле было вотчиной Священной Римской империи. Но права империи давно вышли из употребления за Альпами, где странная путаница родства, завещания, инвеституры или избрания народом регулировала наследование папских и императорских вотчин. Некоторые князья добивались успеха одним способом, некоторые - другим. В глазах современников все они выглядели оправданными альтернативами, дающими хоть какую-то тень права на то, что сильная рука хотела схватить и хотела удержать. "Большинство принцев в Италии, - писал Комминс пятьдесят лет спустя, - владеют своими землями без титула, если только он не дан им небесами, о чем мы можем только догадываться".

Находясь под подозрением соперничающих наследников, Дюнуа, как представитель Орлеана, в 1441 году пересек Альпы и прибыл в Милан, чтобы потребовать возвращения Асти, а также, как отмечает Вентура, посоветоваться с герцогом по другим вопросам. Герцог Миланский был грустным, робким, равнодушным человеком, постаревшим на пять с половиной лет и измученным почти безумной подозрительностью к опасности со стороны своих друзей. С возрастом его страхи и сомнения становились все сильнее, и он не видел никаких мотивов для своего поведения, кроме желания стать наследником Милана. Угнетенный ипохондрией, упитанный до уродства, утомленный тяжестью тела и измученный тяжестью духа, этот робкий и скептический Вольпон Ломбардский находил единственное развлечение в том, чтобы сплести в сложное недоумение ожидания своих наследников. Неподвижно сидя в своем углу в Милане, словно огромный паук, кружащийся в полумраке, он скрещивал и перекрещивал, переплетая и запутывая в своей мрачной паутине надежды Сфорца и Орлеана, Савойи и незаконнорожденных кузенов своего дома.

Никто не мог быть уверен в престолонаследии. Сфорца, объект его старческой привязанности, был также объектом его безумных подозрений. Герцог несколько раз пытался выкрутиться из обещания отдать ему родную дочь; и в ту же неделю, когда он окончательно согласился на их брак, он отправил к Лионелло д'Эсте личного гонца, предлагая ему руку мадонны Бьянки. Тем не менее, в 1441 году Сфорца женился на Бьянке, еще совсем девочке, но принесшей в приданое синьории Кремоны и Понтремоли, в дополнение к своему лейтенантству в Асти. После свадьбы он был уверен в миланском герцоге не больше, чем до этого. Неустойчивые качели капризов герцога продолжали оставаться такими же неустойчивыми, как и раньше. С одной стороны, герцог знал, что Сфорца, хотя и был сыном крестьянина, был самым выдающимся итальянцем своего времени, смелым, откровенным, энергичным, добрым сердцем и хитрым. Его огромная сила воли одновременно и привлекала, и отталкивала колеблющегося и подозрительного Висконти. Он восхищался Сфорца, а Сфорца был мужем его единственного ребенка. Более того, Сфорца тайно поддерживала Аньезе дель Майно, мать Бьянки, единственная женщина, чье влияние когда-либо затрагивало равнодушное и озабоченное сердце Филиппо Мария. С другой стороны, герцог боялся [Сфорца-Сфорца](#), а бояться - для робких натур значит ненавидеть.

Когда страх и подозрения опускали чашу весов, Висконти склонялся к савойским родственникам своей жены, которые, не имея никаких прав, кроме тех, что он решил им дать, не давали повода для опасений. Или же он поощрял притязания Якопо Висконти. Осие в примечании сообщает нам, что этот Якопо Висконти был сыном Габриэлло, бастарда Джангалеаццо, и если бы это было так, то Якопо Висконти имел бы определенные претензии.

Но Габриэлло не оставил детей, и Якопо должен был быть сыном одного из многочисленных детей Бернабо. Тем не менее он считал, что у него есть претензии. Когда все они были взвешены на весах и признаны несостоятельными, остались принцы Орлеанские.

В ранней жизни герцог Миланский был склонен к Франции; он был женихом принцессы Марии д'Анжу, которая впоследствии вышла замуж за короля Карла VII. С 1420 по 1427 год страницы Озио изобилуют посланиями и договорами. Тогда досадный вопрос об Асти стал осложнять его отношения с Францией и усиливать то роковое подозрение, которое заставляло его с внезапной ненавистью отворачиваться от своих прежних друзей. Пока его недовольство Анжу оставалось нерешенным, генуэзцы передали ему в руки врага Анжу, принца Аррагонского, взятого в морской плен. В лице своего сюзерена Висконти, союзника Анжу, генуэзцы вообразили, что нашли надежного опекуна для Аррагона. Но они не рассчитывали ни на личное обаяние Альфонсо Великодушного, ни на капризное равнодушие Висконти. Молодой, красивый, увлекающийся, бесстрашный, их рыцарский пленник покорило сердце своего робкого тюремщика и легко повернул его колеблющуюся политику от Анжу к Аррагону. Висконти внезапно бросил своих подданных, освободил Альфонсо, не посоветовавшись с генуэзцами, и поддержал его на Неаполитанском троне.

С некоторыми мыслями в сердце, несомненно, об успехе Альфонсо, Дюнуа направил свои шаги в Милан. Он также был красив, убедителен, риторичен; и если он уже не был молод, то его прекрасная голова была окружена ореолом героической победы. Но Дюнуа не хватало того энтузиазма, той непосредственности, которые в Аррагоне на мгновение согрели онемевшее и холодное сердце миланского герцога. Дюнуа был так же холоден, так же скептичен, так же мудр, так же мирски рассудителен, как и он сам. Его цветистые речи не произвели никакого впечатления на усталого герцога, который, чтобы избавиться от него, дал, несомненно, какое-то великолепное обещание на будущее; Дюнуа не стал настаивать на своем требовании Асти, а почти сразу вернулся во Францию, надеясь уладить дела благодаря дружескому вмешательству императора Фредерика; но в то время обычное *злословие* по поводу оккупации Эльзаса отдалило Францию от Германии, и Фредерик отказался вмешиваться в проекты миланского герцога.

Дюнуа не произвел впечатления на герцога, которому импонировали только молодость, бесстрашие и неустрашимая воля. Ему показалось, что он разглядел эти качества в молодом дофине, наполовину впадшем в немилость в своем поместье в Дофине. Его Висконти тоже решил втянуть в запутанную паутину миланского престолонаследия; и примерно в это время переговоры с дофином Людовика начали осложнять трудности трансальпийской политики.

Уже весной 1445 года^[58] в Миланском архиве появилась запись, переписанная синьором Луиджи Озио, в которой говорится о готовности миланского герцога поддержать дофина в его плане итальянского вторжения при условии, что Людовик согласится помогать друзьям, а не врагам Висконти. Асти должен быть доверен человеку, которому в равной степени доверяют Орлеан и Милан, а по истечении определенного срока должен быть свободно передан обратно старшему сыну Валентиниана. Несмотря на этот честный план, Висконти считает необходимым предостеречь своего молодого союзника от некоторых лиц по французскую сторону Альп, которые используют угрозы и опасения в отношении миланской короны. Очевидно, что под ними он подразумевает своих племянников Орлеанских. Он не питает к ним никакой дружбы. *Noluit restituere*, - коротко замечает Секундино Вентура.

Переговоры с Людовиком шли бодро, и в мае миланский посол прибыл в Париж, где обнаружил *grande garra e divisione* между беспокойным дофином и королем Рене Сицилийским, который, как он замечает (к нашему нескрываемому удивлению), *è quello che*

governa tucto questo reame. Тем временем Людовик, как ни был он молод, уже усвоил одну максиму, столь же верную в политике, как и в милостыне: не позволять правой руке выведывать секреты левой; и если с одной стороны он вел дела с герцогом Миланским, то с другой - практиковал с Савойей. Согласно последнему плану, Савойя и дофин, при поддержке Монферрата, Мантуи и Феррары, должны были завоевать между собой север Италии; Франция должна была взять Геную, Луккезе, Парму, Пьяченцу, Тортону - все к югу от По и к востоку от Монферрата; Савойя должна была получить Милан и сохранить Ривьеру; Алессандрия должна была быть передана Монферрату, а герцог Феррарский и маркиз Мантуанский *должны были на время* сохранить свои фактические владения; но за этой знаменательной фразой последовала еще более знаменательная: "Все будущие завоевания должны быть разделены по принципу: две доли Франции и одна доля Савойе". "[59]

Близкое знакомство с документами внушает мало уверенности в добропорядочности человеческой натуры. Из всех этих личностей только Карл Орлеанский, простое лирическое существо, сохранившее свежесть и бодрость в арестованной юности за тюремной решеткой, и Сфорца, честный, хваткий и честолюбивый солдат, вызывают уважение или симпатию. Этот старый герцог, сознающий, что через несколько месяцев его огромные владения сократятся до одной могилы, развлекает последние часы своего скептического, равнодушного существования, жонглируя ожиданиями дюжины наследников; этот принц-ребенок, без порыва или иллюзии, оставшейся от юности, успешно обманывающий пару врагов, каждый из которых считает себя его единственным союзником, - все это, к сожалению, не исключения из правил игры.

Савой, разрабатывая этот проект завоевания, уговаривал миланцев довериться ему, чтобы обеспечить им свободную республику после смерти герцога. Монферрат и Мантуя, обязавшиеся, с одной стороны, завоевать Италию вместе с дофином, с другой стороны, были столь же глубоко обязаны Венеции^[60] противостоять захватчику и сохранять мир. Каждый из них предусмотрительно рисковал при любом возможном развитии событий, чтобы ни один внезапный поворот колеса Фортуны не привел к полной катастрофе.

9 февраля 1447 года неосторожный французский оруженосец, прибывший в Рим с донесением, сообщил флорентийцам, что между дофином Франции и герцогом Милана образовалась лига.^[61] Согласно этому сообщению, Висконти предложил помощь мальчику в возвращении Генуи и вызвался, вопреки правам Орлеана, сделать его повелителем Асти. Документ в Озио (т. iii. ccslxxiii.) от 20 декабря 1446 года и ряд писем в Национальной библиотеке^[62] подтверждают это примечательное заявление, которое, наводя ужас на всю Италию, вызвало не меньшее негодование среди наследников Валентиниана. Как ни странно, именно Сфорца, в то время миланский губернатор Асти, выступил в защиту дофина. "Дайте ему Асти, и он сослужит вам отличную службу. Платите ему хорошо; и при этом устройте все так, чтобы никто, кроме вашего высочества, не был в этой стране ни петухом, ни курицей". Этот совет стал еще более неприятным для итальянцев и Орлеанского дома из-за слухов о том, что герцог Миланский намеревается принять дофина в качестве своего наследника. Не прошло и месяца, как североитальянские князья объединились в контрлигу против Франции и Милана, а Орлеан и Дюнуа отправили в Милан бейли Сенса, некоего Рейнуара дю Дренея, с требованием немедленной реституции Асти. На этот раз они не потерпели бы отказа, их не прельщали бы никакие будущие выгоды. Возмущенные и разочарованные, они поручили своему лейтенанту нажать на кнопку дома; и 4 мая Асти снова вернулся во Францию. Условия капитуляции были особыми. Графство не было непосредственно возвращено Орлеану, а передано Дю Дрезне как лейтенанту короля, до тех

пор, пока король будет сохранять добрую волю и согласие Карла Орлеанского, *directus dominus ipsius civitatis et patriæ*.

По крайней мере, в этом вопросе хитроумный герцог Миланский был перехитрим. Асти ускользнул из его рук; Франция снова держала в своих руках ключ от Ломбардии. Интерес к игре пропал. По мере того как лето перетекало из одного в другое, герцог становился все более тяжелым, безразличным и вялым. Он не был серьезно болен, но, как я уже говорил, интерес к игре угас. В августе его здоровье, и без того слабое, пошатнулось во время летней жары. Огромный, в громоздком теле, герцог сидел в темной комнате своего дворца и размышлял над незаконченным завещанием. Он не подпускал к себе ни одного врача, и его болезнь - слабая лихорадка - держалась в секрете. Но слабое сердце Филиппо Мария уже не могло одушевить тяжесть его тела. 13 августа 1447 года он умер - как говорили, не от болезни, а от полного безразличия, как тот, кто, утомленный зрелищем существования, покинул свое место и удалился туда, откуда пришел.

Над трупом, еще не успевшим остыть, соперничающие наследники в предвкушении собрались для оглашения завещания. Вдовствующая герцогиня представляла Савойю; мадонна Бьянка явилась за отсутствующего Сфорца; Райнуар дю Дрезне приехал в Милан от имени Орлеана; в то время как в отдалении Монферрат и Якопо Висконти заботились о своих собственных интересах; у венецианцев были свои надежды; миланцы, как мы знаем, намеревались открыть республику; император, невозмутимый над этими мелкими ссорами, заявил, что по феодальному праву Милан уже перешел к нему. Отсутствовал он или присутствовал, но ни один из них, кроме него, не имел в виду какое-либо обещание Филиппо Марии, когда завещание было вскрыто. Завещание было датировано 12 августа^[63] за день до смерти герцога. В нем не упоминались ни его дочь, мадонна Бьянка, ни его жена, ни племянники, ни родственники. Он оставил Альфонсо Арагонского своим универсальным наследником.

Возможно, как предполагает Гиччардини, любовь к своему народу побудила умирающего герцога оставить свой город далекому тирану; возможно, подозревая своих нынешних друзей, его воображение с удовольствием обратилось к доброму светлomu юноше, который когда-то давно был его пленником; Возможно, поражение при Асти заставило его вспомнить о том злом умысле, который он когда-то причинил французам в Неаполе; а может быть, простое желание возмутить отвратительное *общество* своих квазизаконных наследников оказалось неотразимо увлекательным для скептически настроенного старика. По крайней мере, так оно и было. Все права были нарушены;^[64] король Неаполя остался герцогом Милана. "Тем не менее приезжайте сюда как можно скорее", - писал Антонио Гвидобони Сфорце^[65] 14-го числа; "один раз на месте - и половина игры выиграна".

III.

Именно в этот момент французские притязания на Милан впервые стали вопросом практической политики. Фредерик Тихий был не тем человеком, который мог бы настаивать на правах Германской империи в Италии, правах, которые в это время постоянно игнорировались и которые не могли быть обеспечены ничем иным, как военной оккупацией. Даже гибеллины в Ломбардии выступали не за императора Фредерика, а за графа Франческо

Сфорца. И все же император Фредерик был, с точки зрения юридической и абстрактной стороны дела, единственным действительно серьезным соперником герцога Орлеанского.

Альфонсо Аррагонский не проявил ни малейшей склонности взяться за оружие в защиту своего неожиданного завещания. Хотя в самом Милане у него была значительная партия в свою пользу, в это время ни Альфонсо, ни его соперники, похоже, не рассматривали завещание покойного герцога в сколько-нибудь серьезном духе. В Милане ходили слухи, что за неделю до смерти, когда было составлено это поразительное завещание, Филиппо Мария улыбнулся и сказал: "Хорошо будет посмотреть, как оно разлетится на куски, когда я умру". Циничное желание как можно больше усугубить эту неминуемую гибель, как мне кажется, побудило герцога оставить Милан Альфонсо. И если бы его отстраненная, веселая, злобная душа действительно могла с какой-нибудь внеземной точки зрения наблюдать за событиями, которые быстро последовали за его кончиной, он нашел бы это зрелище настолько захватывающим и настолько новым, насколько ему хотелось бы. Миланцы сразу же объявили себя свободной республикой, управляемой различными князьями Свободы. После этого все подвластные города заявили, что если Милан - республика, то и каждый из них тоже, ибо они не желают нести иго города, который не благороднее остальных. После этого те из городов, которые не были достаточно сильны, чтобы устоять в одиночку, отдали себя: одни - венецианцам, другие - Савойе, третьи - Генуе, четвертые - Орлеану, пятые - Монферрату, пятые - Ферраре; и все эти державы направили в Ломбардию войска для защиты своих прав. Ситуация еще более осложнялась раздорами Браччеши и Сфорцески, гвельфов и гибеллинов. В одной только Павии, например, гвельфы заявили, что одни выступают за Венецию, другие за Орлеан, третьи за короля Франции, четвертые за дофина; браччеши заявили за Альфонсо Аррагонского; Савойя и Монферрат имели по фракции на службе, но большая часть гибеллинов была на стороне графа Франческо Сфорца, которому в конце концов город и подчинился. Это был удар по соседней свободной Миланской республике; но в жалком состоянии своих владений несчастные князья Свободы не осмелились возражать своему слишком могущественному полководцу, и граф Франческо, владея Павией, продолжал быть слугой Миланской республики.

Как только известие о смерти миланского герцога пришло во Францию, французы приготовились отстаивать права Орлеана. 3 сентября Карл VII написал из Буржа в Турин, рекомендуя Савойе права Орлеана: - "Nostre tres-cher".

"Nostre tres-cher et très-amé frère, le Duc d'Orléans, à présent Duc de Milan [утверждает король] par le décès du feu Duc son oncle, qui est naguères allé de vie à trespas, comme son plus prochain hoir, nous a bien expès faict dire et remonstré le bon droict qu'il ha au dict Duché de Milan."^[66]

И Савойя во всех своих дальнейших действиях по получению протектората Милана для себя исключает французскую претензию, против которой, по его словам, он бессилён протестовать. Эта претензия, теоретически столь сильная, имела в свою пользу также преданность - почитание, говорит Корио, - которое королевское имя Франции внушало гвельфам Ломбардии; а в этот момент революции гвельфы, демократическая партия, были исключительно сильны. Губернатор Асти, Райнуар дю Дрезне, зараженный пылом времени, не мог больше ждать прихода своего господина, но 22 сентября, снабженный 3300 золотыми дукатами Асти, во главе небольшого отряда из 1500 воинов, отправился сажать королевские лилии Орлеана на землю Милана.

Почти сразу же жители Фелиццано, Солеро, Кастеллаччо и Берголио сдались в его руки. Так много крепостей в Алессандрино последовали его примеру, что Алессандрия и вся страна вокруг были охвачены страхом. Силы Райнуара были очень малы, но вдохновлены такой

яростью, таким рвением и жестокостью боя, что более мягкие итальянцы не осмелились ему сопротивляться. Маленькие города открылись на его стук, и даже в больших городах нашлись люди, которые, боясь его мести и прельщаясь престижем Франции, приняли бы его с распростертыми объятиями. Однако многие, ненавидя чужака и его варварскую свирепость, посылали к Сфорце гонца за гонцом, прося его прибыть и доставить их. "Терпение!" - сказал граф Франческо. "В первом натиске французов больше, чем людей. Скоро они устанут, и тогда мы нападём на них". А пока, с не ослабевающей энергией, день за днем продолжались победы Райнуара, и все дальше и дальше в Ломбардию продвигались знамена короля Франции.

1 октября в Венецию прибыло посольство из несчастной Миланской республики с просьбой о помощи и совете. Это, по правде говоря, было поиском сладости в пасти льва; ведь Лоди, Кодоньо и другие города уже восстали против венецианцев, которые надеялись со временем, умело управляя ими, овладеть большей частью Ломбардии. Но растерянные князья Свободы не знали, на кого возложить свои надежды. Венеция и Флоренция были в сговоре, и каждая надеялась получить что-то от расчленения миланских территорий; Монферрат, Мантуя, Савойя, Генуя и Франция с открытым оружием в руках разгрызали труп своего соседа - а труп действительно казался трупом - и к генерал-капитану своих собственных войск эти главы республики относились с большим подозрением, чем к любому открытому врагу. Слишком многие из миланских дворян втайне поддерживали этого авантюриста. Только народ, гвельфы, поддерживал свой республиканский пыл яростной риторикой и заявлял, что предпочел бы быть слугой турка или дьявола, чем графа Франческо Сфорца.

В пользу Венеции говорило и то, что она ненавидела графа Франческо (который оставил ее службу герцогу Миланскому) так же люто, как любой гвельф в Ломбардии. А Венеция, самая аристократическая из олигархий, по сложным политическим причинам пользовалась большим расположением гвельфов. Поэтому, не без надежды в сердце, миланские делегаты ждали ответа венецианского сената. Десять назначили трех практиков, или агентов, для переговоров с послами о предполагаемом союзе между Миланом и Венецией; но этим агентам было тайно приказано ни в коем случае не брать на себя обязательств и не связывать венецианское правительство (*nichil obligando nos*); ведь конференция действительно должна была стать лишь средством получения информации об истинном положении дел в Милане.^[67] И она была бы столь же бесполезна для нас, как и для незадачливых, одураченных миланцев, если бы не то, что здесь мы получаем, как мне кажется, первое свидетельство склонности венецианцев высказываться в пользу Франции.^[68]

Насилие Рейнуара не помогло. Венеция специально заявила, что против Франции и Генуи она ничего не предпримет. И каждый день фиксировал завоевания французов. Миланские послы вернулись очень печальными, "презираемые венецианцами", - говорит Корио, - "и с ними обращались так пагубно, как только возможно". Напрасно они просили Франческо Сфорца дать бой маленькому дерзкому отряду Райнуара. Граф Франческо, который всегда был благосклонен к Франции, продолжал свою выжидательную игру, хотя Боско Маренго, тесно осажденный французами, был почти на грани возможного сопротивления, и падение Боско означало потерю Алессандрии. Наконец миланцам удалось собрать около пятнадцати сотен солдат, и они под командованием Коглиони отправили их в Алессандрию, чтобы преследовать противника. Французы оказались между двух огней - с одной стороны Коглиони, с другой - алессандрийские подкрепления; поначалу они одержали верх, но так яростен был их гнев, и так долго они предавались резне своих врагов, что не успели они отправить последних, как миланцы подкрепили их еще раз, а удачная вылазка осажденных

прервала их возвращение. Райнуар был взят в плен со многими своими людьми; города, восставшие против него, вернулись в подданство Миланской республики, а королевские войска, лишенные предводителей и распущенные в самый час победы, бежали домой, как могли, в Асти.

Это произошло 17 октября 1447 года. Двенадцать дней спустя в Асти прибыл и сам герцог Орлеанский. Там он совершил торжественный въезд 26 октября, проехав под даисом, который несли знатные люди города в белых одеждах и капюшонах, *pro majori letitia adventus ipsius domini ducis*. Карлу Орлеанскому было уже пятьдесят семь лет, приветливый и сметливый. В этом стареющем поэте, который, будучи плененным двадцатичетырехлетним юношей, вышел в мир почти пятидесятилетним мужчиной, еще сохранялось очарование и неэффективность молодости. За эти годы он не пережил ни одного серьезного дела жизни, и его опыт по-прежнему оставался опытом очаровательной, пылкой и несчастной юности. Со времен Азенкура он считал свои годы по лирике, а не по сражениям; и теперь, возможно, одним из серьезных дел для него в этой спорной Ломбардии была дружба с Антонио Астезано, профессором красноречия и поэзии в Асти, сам немалый стихотворец и автор стихотворного послания о победах Орлеанской девы, которое в 1430 году он отправил герцогу в его английскую тюрьму. Карл с его безмятежным непрактичным нравом, интересом к литературе, неопытностью в жизни, который все надеется, но ничего не делает, представляется странной фигурой в этой растерянной Ломбардии: украшенный гирляндами майский столб, стоящий на переднем крае битвы.

Поначалу приезд герцога Орлеанского показался событием неизмеримой важности. Гвельфы в каждом ломбардском городе, которые сначала думали только о Венеции, стали громче, чем во время кампании Райнуара, заявлять о своей поддержке Франции. Герцог прибыл, вооружившись обещаниями из Франции, Бургундии, Бретани, Англии. Не было границ тому великолепию, с которым он объявил о своем намерении выйти на поле боя. Но, возможно, выходить на поле боя было вовсе не обязательно. Герцог направил депутацию в Миланскую республику; , повелитель Коньяка, один из дворян Чевы, Каретти (чья семья все это время не слишком тайно сотрудничала с Монферратом), Секондино Натти, Антонио Романьяно и Франческо Розеро просили миланцев подчиниться их законному герцогу. Но миланцы слишком хорошо знали, к каким страшным последствиям может привести тирания. Еще были живы люди, чьи братья и дети были разорваны на части, конечность за конечностью, гончими Джаммари Висконти, дяди этого человека. Подозрительность, хитрость, робкий страх Филиппо Марии сменили этот гнет. "На этот раз, - говорили жители Милана, - мы сохраним себя свободной республикой".

По крайней мере, необходимо было продемонстрировать силу, чтобы побудить их изменить свое мнение; и в декабре 1447 года Карл Орлеанский отправил посольство в Венецию,^[69] прося Совет заключить с ним соглашение и снабдить его войсками. Он повторил свои заверения в помощи со стороны Франции, Англии и Бургундии; и если бы такая помощь действительно была оказана, Венеция, одушевленная ограниченным венецианским, а не национальным итальянским патриотизмом, несомненно, колебалась бы, переходить ли ему дорогу. Венеция питала к Сфорца столь лютую ненависть, что любой другой кандидат казался предпочтительнее его; и этим дурным, неподготовленным Карлом было бы легче управлять, чем человеком такого героического и честлюбивого типа. Однако в столь важном деле прежде всего следовало соблюдать осторожность; и венецианцы отложили герцога Орлеанского, заверив его в своей преданности и привязанности, предостерегая от коварства и махинаций Сфорца, и в то же время написали своим союзникам во Флоренцию с просьбой высказать свое мнение. В этот момент Сфорца был так страшен в Италии, а его

победа казалась такой неминуемой, что если бы несколько обещанных батальонов появились в Пьемонте, венецианцы с радостью приняли бы дело Орлеана. Но Сфорца, оставшийся почти без денег, без союзника, в котором он был бы уверен, кроме своей доблестной жены, счел ситуацию невыносимой. У него не было ни друга в Италии, ни друга за горами. Мир, хотя бы видимость мира, был необходим, пока он собирал свои непобежденные силы для дальнейшей борьбы. В начале января он написал Флоренции письмо, предлагая мир. Флорентийцы и венецианцы были связаны столь тесной связью, что мир с одними означал перемирие с другими; и хотя, по крайней мере, дважды Совет Десяти в торжественных выражениях предупреждал флорентийскую синьорию, что в этом деле нет никакого смысла, ибо мир противоречит истинным интересам графа Франческо, в конце концов Венеция согласилась принять этот мир за то, чего он стоил, используя час передышки для продолжения своих интриг в других кварталах.

Мир не стоил многого. 9 мая Андриано Риччи из Асти прибыл в Венецию с посланием от герцога Орлеанского.^[70] "Французские подкрепления скоро будут здесь", - сказал сентиментальный герцог; "Вы также станете моим помощником?" Венецианцы, хотя все еще осторожничали, ответили в выражениях лаконичности.

"Мы готовы оказать вам всю возможную помощь и благосклонность, и нет на земле другого принца, которого мы так горячо желали бы видеть нашим соседом в Милане. Поторопите короля Франции, ибо для того, чтобы наши усилия привели к каким-либо положительным результатам, войска должны прибыть немедленно. И полагайтесь на то, что как только ваши французские вспомогательные войска будут готовы, мы также предоставим удовлетворительный контингент для помощи в завоевании Милана. И мы тем охотнее это сделаем, что мир, который мы начали заключать с Миланской республикой, уже нарушен, и в данный момент мы находимся в состоянии открытой войны с Миланом".

Но как раз в тот момент, когда Венеция с большим удовольствием поддержала бы притязания Орлеана, она начала испытывать серьезные сомнения в основательности его притязаний. Обещанные армии Франции, Англии, Бургундии и Бретани, которые были в пути с декабря прошлого года, неужели они никогда не перейдут Альпы? До сих пор не появилось ни одного солдата. Насколько Венеция могла доверять утверждениям легкомысленного и сметливого Орлеана? В нем чувствовалась переменчивость Висконти, смешанная с риторикой его отца, и при всей своей приятной простоте Карл Орлеанский не был человеком, способным внушить доверие. Венецианцы, однако, знали, что Бургундия на самом деле в его пользу. Именно Бургундия заплатила выкуп за Орлеан, и Бургундия дважды отправляла в Венецию своих послов, умоляя Десять в пользу своего кузена. Между добрым герцогом Филиппом и мягким герцогом Карлом существовала большая дружба; казалось, что, преодолев огромную преграду наследственной вендетты, эти два человека, чьи отцы были убиты в угоду вражде, питали друг к другу привязанность, которая приобретала силу благодаря преодоленным препятствиям. Если Бургундия, самый богатый герцог Европы, поддерживала Орлеан, то, возможно, было бы неплохо помогать ему даже в отсутствие Франции, Англии и Бретани. Но было бы катастрофой поддерживать неумелого герцога в одиночку против таких огромных шансов. И все же помощь Сфорце была желательна. Для венецианцев иметь две струны на луке было первой аксиомой политики; и 20 мая 1448 года десятник отправил в Асти тайного посланника, мессера Бернардо Нери, который должен был побеседовать с герцогом,^[71] получить все возможные сведения о его армии и вспомогательных войсках, а затем, в условиях строжайшей секретности, отправиться в Савойю, чтобы судить, в каком направлении лучше всего скакать венецианскому коту.

Мессер Бернардо пробыл в Асти более двух недель, хотя его поручение было рассчитано всего на пять дней; исходя из этого, можно предположить, что поначалу он действительно рассчитывал на успех Орлеана. Но 10 июня^[72] он уехал, якобы чтобы вернуться в Венецию и получить ответ сената; на самом же деле он проехал лишь немного по венецианской дороге и сразу же свернул в Савойю, ибо в Турине он знал, что должен получить дальнейшие инструкции от сената. На переговоры с герцогом он мог потратить лишь день или два, поскольку должен был вернуться в Асти в тот день, когда из Венеции можно было с полным основанием ожидать ответа. Но его беседа с герцогом Людовиком, очевидно, была удовлетворительной, поскольку она стала первой в длинной серии переговоров.

Тем временем Орлеан в Асти обнаружил, что его дела совсем не продвигаются. Венецианцы, столь щедро предлагавшие ему помощь, отказывались от нее, пока у него за спиной не будет армии. Миланцы отказались признать его. Хуже всего, что французы, казалось, забыли его. Казалось, лучше всего вернуться во Францию и собрать свои силы. Поэтому 10 августа, после девятимесячного пребывания в Асти, Карл Орлеанский со всеми своими домочадцами снова отправился через горы домой. Герцог забрал с собой своего друга Антонио Астезано, и с тех пор он сохранил сильную привязанность к стране своей матери. Визит Карла Орлеанского в Асти был важен как введение итальянской моды, итальянской архитектуры, итальянского оружия, драгоценностей,^[73] и облачений во Францию. Благодаря этому в готическом стиле Карла VII ощущался чистый запах Италии. Но это практически не повлияло на дальнейшее развитие французских притязаний на Милан.

Орлеан едва успел пересечь Альпы, как на него уже не обращали внимания, как будто он никогда не был самым опасным претендентом на миланский престол. Его место занял Савой. Притязания Савойи были совершенно детскими и нелепыми. Он утверждал, что, выплачивая приданое своей сестры покойному герцогу Миланскому, Филиппо Мария обещал оставить свое герцогство, в случае отсутствия сыновей, герцогу Савойскому.^[74] Было очевидно, что герцог ничего подобного не делал; он оставил свой трон Арагону. Кроме того, трудно понять, как он мог распорядиться имуществом, которое по завещанию его отца и брачному договору его сестры переходило к его племянникам Орлеанским и которое по феодальному праву должно было вернуться в Священную Римскую империю. Но какими бы тeneвыми ни были его притязания, герцог Савойский был для миланцев великим человеком. Его любили и боялись; и если бы он рискнул сделать смелый ход, вместо того чтобы противодействовать собственным усилиям, путаясь в лабиринте мелких интриг, он легко мог бы стать если не герцогом Милана, то уж во всяком случае защитником Миланской республики.

Но герцог Людовик побоялся рисковать всеми своими шансами. В 1446 году он интриговал с дофином, чтобы разделить Милан с Францией; 3 мая 1448 года он заключил с миланцами тайный и торжественный договор о защите их республики, в результате чего через несколько месяцев благодарный город частным образом избрал его своим вождем. В июне 1449 года он договаривался с королем Арагона о завоевании миланских владений с помощью этого союзника и разделе их по принципу три пятых для Арагона и две пятых для Савойи;^[75] а осенью того же года он делал очень похожее предложение венецианцам. Стремясь выиграть хоть что-то, пусть даже самую малость, Савойя фактически обезопасила себя от выигрыша всего. И все же одно время казалось, что шансы в его пользу велики.

Летом и ранней осенью 1448 года и Венеция, и миланцы считали, что в Милане могла бы процветать республика под совместным покровительством Венеции и Савойи, если бы не неугасающая энергия и решимость графа Франческо [Сфорца-Сфорца](#). Избавиться от этого человека означало избавиться от войны; и дважды в августе и один раз в сентябре десятник писал некоему Лоренцо Миньо, капитану корабля "Брешия", чтобы они приняли некое

предложение, которое он сделал: "Если человек, которого он предложит, действительно убьет графа Франческо, мы будем его должниками".^[76] По усмотрению Миньо они предложили его кандидату от десяти тысяч до двадцати тысяч дукатов; или, если он будет из тех, кто не опускается до денег, он должен получить капитанство над полком, от двухсот до четырехсот копий. "Но, - продолжали они, - пусть это дело не затягивается ни на пустяк - ободрите его и вдохновите, чтобы его решение привело к хорошему результату, и притом быстро; вложите душу в его работу, и пусть она будет сделана хорошо". В переводе с английского эти фразы означают, что венецианский совет был готов заплатить большую сумму денег тому, кто возьмется отравить графа Франческо Сфорца.

Но прежде чем это предложение было реализовано, второе послание, пять месяцев спустя, заставило друга Миньо не выпускать из рук гибель. "Граф Франческо, вступивший в добрые и верные отношения с сенатом, отзывает приказ о его смерти". Так же внезапно, как и раньше, и на такое же короткое время был объявлен союз между венецианцами и миланцами.

Этот союз, как и прежде, стал лишь поводом для возобновления интриг. Аррагон и Савойя, Савойя и Венеция, Венеция и Милан тайне определяли соглашение, которое должно было исключить Франческо Сфорца. Вряд ли стоило отменять приказ о его смерти, ведь избавиться от этого авантюриста теми или иными способами было целью и смыслом всей этой политики. Миланские гвельфы послали в Венецию некоего Арриго Панигаролу, который, бросившись на колени перед Десятью, со слезами и молитвами умолял венецианцев защитить его несчастный город от графа Франческо. Совет был впечатлен, но решил повременить с ответом.

Через несколько месяцев после прибытия Панигаролы герцог Савойский отправил в Венецию посла с аналогичным поручением. Как могло случиться, что венецианцы, столь уважаемое государство, могли содержать такого изнурительного авантюриста, как граф Франческо? Савой дал понять венецианцам, что если они продолжат поставлять солдат в лагерь Сфорца, то он будет считать его поведение с их стороны *casus belli*. Насколько лучше было бы, если бы венецианцы согласились на почетный мир между Миланской республикой, Савойей и Венецией! Эта тройственная лига окончательно сокрушит Франческо Сфорца и установит изобилие и безопасность в опустошенной Ломбардии; если же нынешние раздоры продолжатся, Орлеан и Аррагон непременно переберутся через горы, чтобы искать здесь свою выгоду, и так в Италии разгорится большой пожар, который не потушить никакими потоками крови. Савойский посол был поистине красноречив, говоря о благословениях мира; ведь в это самое время его господин писал своему папе Антипе в Люцерн: "Миланцы тайно избрали меня вождем, но что мне делать с Италией для Сфорца, Германией для императора и Францией для Орлеана?" Все, что он действительно мог сделать, - это увлечь миланцев всеми способами, не прибегая к диктовке *en core ne поп, ne оу; и, с другой стороны, направить в Венецию, а также к графу Франсуа, и еще много чего, где это необходимо, чтобы практиковать некие прекрасные способы по воле согласия*".^[77] Из всех этих разнообразных заговоров наиболее удачным для Савойи был бы мир, достаточно прочный, чтобы свести на нет Франческо Сфорца, восстановить процветание Ломбардии и позволить миланцам избрать его, с очевидной спонтанностью, защитником своего государства. Первым шагом было заключение мира с Венецией, и он нашел венецианцев в благодушном настроении. Важный город Крема последовал примеру Лоди и Кодоньо и объявил себя подданным Святого Марка; и венецианцы, которые не могли удержать Крему и оставаться союзниками графа Франческо, внезапно пришли к соглашению с Панигаролой, объявили себя поборниками миланской республики и предложили герцогу Савойскому не просто дружественный нейтралитет, но и

наступательный союз.^[78] Они возобновили переговоры об убийстве графа Франческо и, "не думая, - говорит Корио, - о лиге или божественном законе", отправили ему послание, в котором сообщали, что они, вчерашние товарищи по оружию, завтра должны стать его врагами на поле боя.

Граф Франческо принял это известие с большим спокойствием, не выказав ни гнева, ни печали, ни досады, хотя положение его становилось поистине отчаянным, ибо, как злонамеренно сообщил ему венецианский легат, венецианцы вели переговоры о союзе с Савойей, с Аррагоном и с папой. Что касается Савойи, то Сфорца их опередил; он немедленно отправил в Турин гонца с условиями, столь выгодными для герцога Людовика, что этот неуравновешенный человек выкинул венецианцев из головы и заключил мир со Сфорцей: тот, получив возможность направить все свои силы против Венеции, отбросил своих прежних союзников за Адду, нанес им полное поражение при Караваджо, заключил с ними мир как победитель, имеющий успех перед собой, и в середине октября обратил оружие против Миланской республики.

Сфорца разоружил Савойю и покорила Венецию, но он еще не покончил со своими врагами. В ноябре 1447 года Карл Орлеанский всерьез возобновил свои намерения относительно миланского похода. Уже в июле Бургундия обратилась к венецианцам с письмом, в котором умоляла их отдать предпочтение Орлеану; совет ответил^[80], что хотя их *действия* в последнее время могли показаться враждебными делу Орлеана, однако ничто, кроме инстинкта самосохранения, не побудило их заключить мир с Франческо, и их *чувства* по-прежнему наиболее лояльны к дому Франции. Ничто не казалось более вероятным, чем французское вторжение; Савойя уже предупредила венецианцев о . 14 ноября герцог Орлеанский написал в город Асти^[79], что теперь он абсолютно уверен в союзе с Бретанью и Бургундией и что до Рождества его армия под командованием Жана Фоко прибудет в Ломбардию. За этим письмом, написанным в самом жизнерадостном тоне, через неделю последовало еще одно, столь же сангвиническое и радостное: *Dei gratia, omnia negotia Lombardie ad nos spectantia sunt in his presentibus optime disposita*. Жак Кёр высказался в пользу этого дела. А 4 декабря Орлеан пишет, что роты Фуа и Бурбона уже в пути, и что Иоанн Ангулемский договаривается с королем о подкреплении из королевских войск.

Но наступило Рождество, а призрачные армии ожидающего Орлеана оставались такими же призрачными, как и прежде. И все же 7 января он пишет, все так же настроенный на завоевание своего воздушного замка: "Армия будет больше, чем мы думали, ибо все французские принцы окажут нам помощь. Бургундия посылает в Ломбардию большие суммы золота и множество войск". Герцог, как всегда, полон своих замыслов и надежд. Но это последнее его письмо; не успел гонец привезти ответ из Асти, как Милан нашел себе хозяина в рядах Италии.

Голод, усталость и гражданские раздоры сломили дух миланской республики. Даже Савойя, даже Венеция были охвачены жалостью и роптали друг другу, что почти любая перемена была бы желательна, *ut hec afflicta et misera Lombardia, dudum guerrarum disturbijs lacessita, aliquando quiescere possit; tot populis, tot calamitatibus, totque oppressorum vocibus compatiendum et miserandum erat*. Все, что угодно, кроме успеха графа Франческо, было бы счастливой альтернативой такому бедствию. И в самом Милане недовольство было столь же ярко выраженным. Гвельфы по-прежнему выступали против Франческо, но гибеллины, партия знати, медленно и решительно склонялись в пользу графа. В конце концов, всем партиям надоела эта жалкая свобода, которая была лишь названием для гражданского разделения и разорения. Кто-то был за Папу, кто-то за Карла Французского, и это были гвельфы. Кто-то был за Савойю, кто-то за короля Неаполя. Но все эти князья жили далеко; у

них не было армий, готовых сразиться с венецианцами, которых теперь боялись все и каждая фракция и ненавидели хуже голода. Когда однажды Гаспаро де Вимеркато поднялся на публичный конклав и предложил отдать Милан графу Франческо Сфорца, было невероятно, как внезапно все умы города обратились к графу. Граф был зятем покойного герцога. Город был хорошо знаком с ним. Он был известен как гуманный, щедрый и сильный человек. Если бы город избрал его, он мог бы в один день развеять голод, сражения, страх перед врагами и подозрения в предательстве, которые в течение тридцати месяцев составляли несчастье Милана. Леонардо Гарибольдо, Алоиджи Тромбетта и Гаспаро да Вимеркато были сразу же посланы сообщить графу Франческо, что свободным голосом народа он избран повелителем Милана.

Среди бесчисленных заговорщиков, интриганов, дипломатов и удачливых торговцев, занимавших высокие посты в Италии того времени, Франческо Сфорца выглядит, по меньшей мере, человеком. Простой, прямой и смелый, никакие неожиданные почести и повороты судьбы не отняли у него того природного достоинства уравновешенного ума, которое является одним из лучших качеств итальянца. Здравый смысл и доброта составляли моральную силу этого капитана приключений. Он дисциплинировал свои войска, учредил военный трибунал и карал смертью за изнасилование и насилие; так что, хотя несчастному населению Ломбардии было чего опасаться от других армий, занимавших их землю, постепенно оно научилось чувствовать себя в безопасности в грубых, прибитых к земле руках графа Франческо. Среди солдат его репутация была более чем смертельной. Нам придется перепрыгнуть через дюжину поколений, прежде чем престиж младшего капрала станет аналогом такой преданности. Но графа Франческо любили и уважали даже его враги, и есть одна история, которая навсегда запомнилась мне как одна из самых очаровательных в военной истории. Это было при осаде Комо, в том самом феврале 1450 года, когда, не зная его, миланцы, так долго и так яростно сопротивлявшиеся ему, кричали: "Сфорца! Сфорца!" в экстазе голодного энтузиазма на большой пьяцце. Тем временем Сфорца и его люди занимали Монте-Барро; с помощью небольшого холма, возвышавшегося над Аддой и укрепленного пятью бастиянами, они сдерживали войска Венеции и Милана, выстроившиеся в бессильные ряды вдоль дальнейшего берега реки. Оплоты маленького холма были совсем незначительными, сооруженными за несколько дней по случаю, и бедная итальянская артиллерия пятнадцатого века не причиняла больших разрушений; однако имя Сфорца было настолько заколдовано, что обе армии, стоявшие по ту сторону Адды, так и не решились попробовать это место штурмом. Однако однажды ночью стало известно, что графа Франческо нет в форте; он отправился на гору, чтобы по-новому расположить свои войска на вершине Монте-Барро. В его отсутствие было решено атаковать холм, и на позднем февральском рассвете венецианцы и миланцы ворвались под стройные валы, вооружившись артиллерией, которая заглушила артиллерию форта, и, приставив лестницы к валам, вскоре овладели этим местом. Случилось так, что поздно ночью граф Франческо вернулся домой и, услышав шум, поднялся со сна и сразу же направился к валам, не зная, что враг застал его врасплох и что его солдаты, не подозревая о его присутствии среди них, уже подали знак сдаться. "Защищайтесь, ибо я здесь!" - раздался ясный голос графа, и в этот момент он понял, что стоит один среди своих врагов. Но сам факт его присутствия был лучшей защитой для его бастиянов, чем целый мир солдат. Нападавшие, как загнанные дети, снялись со своих позиций, бросили оружие и орудия, которые уносили, и с непокрытыми головами направились к своим лестницам. Проходя мимо графа, стоявшего в одиночестве, они направились к его руке, лежавшей на коленях, и толпились, чтобы прикоснуться к ней. "Отец и украшение итальянского оружия, мы приветствуем тебя", - закричали тихие венецианские голоса; и, сбившись в небольшие группы, они быстро, как только могли, перемахнули через стены в ров, оставив графа Франческо хозяином своих

валов. Именно ему, такому герою своего времени, три миланских делегата принесли весть о покорности города.

25 февраля 1450 года граф Франческо Сфорца въехал в Милан. Он ехал во главе своих войск и позаботился о том, чтобы его будущие подданные приветствовали армию; каждый солдат был увешан со всех сторон, с корсета, с талии, с плеча, с руки и с кисти, буханками хлеба - огромными булками и буханками, скрывавшими доспехи под ними, столько, сколько каждый человек мог унести. Прекрасно, писал Корио, было видеть, как голодные миланцы наваливались на войска, с жадностью срывая вожаделенную пищу с шеи и рук и сразу же (*con quanta ingordigia!*) набрасываясь на вкусный хлеб. "Сфорца! Сфорца!" - кричали горожане, в тысячу раз более горячо, чем прежде. Некоторые из них восклицали словами псалма *Hæc est dies, quam fecit Dominus; exultemus et lætemur in ea!* Сфорца находился в городе; его войска и хлеб надежно обеспечивали его будущее. Венецианцы могли приготовить еще один яд. Карл Орлеанский в Шони мог вернуть заем из людей и золота, который ему одолжил кузен Бургундский. Людовик Савойский писал своему отцу в Люцерн: *Le Comte François a obtenu ceste ville par intelligence, déceptions et pratiques et non mie par force de guerre*". Все эти претенденты, почувствовавшие, что птица уже в руке, должны были изо всех сил скрывать свое разочарование. Но Генуя^[81] и Флоренция приветствовали возможность мира и в ноябре 1451 года вступили в оборонительную лигу с Миланом против Дофина, короля Франции, герцога Савойского и венецианцев. Ломбардия больше не была опустошенным полем боя с сомнительной победой. Граф Франческо Сфорца фактически стал хозяином Милана.

IV.

Одно дело - владеть чем-то по праву, другое - по праву. Теория о том, что сила есть право, кажется достаточной в час завоевания, но это лишь слабая основа для будущего правления; и Франческо Сфорца, благополучно обосновавшийся в Милане, окруженный войсками, приветствуемый как герцог теми самими гражданами, которые так долго отталкивали его, не менее осознавал, что люди рассматривают его всего лишь в свете успешного узурпатора. Даже в Милане было много тех, кто сожалел об утрате законной династии; были и те, кто смотрел на короля Неаполя, приемного наследника покойного герцога; была и партия, стремившаяся провозгласить сюзеренитет императора; и еще большая партия, возлагавшая надежды на Карла Орлеанского, законного потомка великого Джангалеаццо. В глазах таких людей, как , на что мог претендовать капитан Франческо Сфорца, герцог Миланский? Он был всего лишь успешным солдатом, мужем внебрачной дочери покойного герцога, не упомянутым в качестве наследника Милана ни в одном завещании или кодициле, который силой и голодом сумел навязать себя в качестве альтернативы голодной смерти несчастным миланцам. В глазах императора Франческо Сфорца поставил под угрозу все те тени права, которые он мог когда-то иметь, приняв из незаконных рук народа императорский дар своего герцогства.

Перед феодальным законом Франческо Сфорца был всего лишь узурпатором, причем скомпрометированным узурпатором. Для Орлеана он был представителем незаконнорожденной ветви, обманувшей законных наследников в их справедливых притязаниях. Для Арагона Сфорца был человеком, прикарманившим сокровища, завещанные другому. Унизительность такого положения очевидна. Однако Сфорца с большим великодушием отказался разорять своих подданных налогами, чтобы купить императорскую инвеституру - товар, который можно купить, как знали его преемники и предшественники, и который мог бы узаконить его положение. Поначалу, торжествуя успех, он, похоже, наслаждался своими незаконными почестями, своей славой народного героя; он

утверждал, что предпочитает опираться в своих притязаниях на глас народа. 25 марта 1450 года они провозгласили его герцогом Милана.

Сфорца стал хорошим правителем. При нем Милан перестал быть добычей жалких раздоров и беспорядков, а улицы больше не оглашались криками гвельфов и гибеллинов. Солдат оказался отличным деспотом; он не был суров или эгоистичен, как можно было бы ожидать от человека, выросшего из столь малого рода и прошедшего столь грубую школу. Он управлял народом ради блага народа, делая свою выгоду лишь случайностью его выгоды; характерен тот великодушный и губительный порыв, который заставил его отказаться обложить налогом бедняков, чтобы приобрести свою инвестицию.

Однако даже в Милане было много больных, довольных тем, что процветают под управлением этого благосклонного узурпатора. Многие голоса, которые заглушил голод, вскоре зашептались: республиканцы, орлеанисты, гвельфы, гибеллины - все они одинаково завидовали и чувствовали себя не в своей тарелке под военной диктатурой Сфорца. Другая партия в городе, возглавляемая вдовствующей герцогиней, все еще поддерживала притязания Савойи, и он смог написать в Люцерн, что в целом новости из Милана были неплохими, поскольку народ уже начал недолюбливать Франческо Сфорца, и что мадам де Милан оказалась эффективной сторонницей его притязаний.

Но если в Милане было недовольство, то за стенами успех Сфорца воспринимался с безоговорочной ненавистью и жаждой мести. Савойя желала сместить его со своего поста. Франция и Орлеан, Арагон и Германия считали достаточным для настоящего времени заклеить его как узурпатора. Но ненависть венецианцев к человеку, который когда-то был их слугой, была более глубокой, и они не преминули подстроить его убийство. Уже 22 апреля 1450 года они вынесли решение о его смерти, а 26 августа план был приведен в полную готовность. Через этого джентльмена и солдата, сира Джакомо Антонио Марчелло из Кремы, Совет узнал, что Витторе деи Скорадери, оруженосец Франческо, *является contentus occidere Comitem Francescum; et sicut omnes intelligere possunt, mors illius comitis est salus et pax nostra et totius Italiae*. Этому человеку не следовало посылать ничего в письменном виде, что могло бы скомпрометировать венецианский сенат, но Марчелло было поручено предложить ему широкие условия. Дальнейшие предписания были отправлены 2 сентября, а в начале декабря мы снова слышим о кандидате, человеке *умном и благоразумном*, не венецианском подданном, который обещал прислать графу Франческо *aliqua venenosa materies*.^[82] Этому умному помощнику Совет рекомендовал использовать некие маленькие круглые гранулы, которые, будучи брошенными в огонь, источают самый сладкий и восхитительный запах; но прежде чем их отправили для эксперимента на столь прославленном человеке, их должны были тайно испытать в Венеции на человеке, приговоренном к смерти за воровство. В мае 1451 года Совет добавил к заговору еще трех человек, и к июню предложенная награда выросла до экстравагантной суммы в 5 000 дукатов, с ежегодным доходом в 1 000 дукатов в дополнение и свободой отозвать четырех изгнанников. В обмен на столь щедрую помощь ожидалось, что граф Франческо "благодаря вашему усердию будет отправлен до конца октября". Но в августе отпуск был продлен до декабря. Затем послания стали частыми; И легко догадаться, что благородный человек, который должен отправить графа, - не кто иной, как Иннокентий Котта, выходец из одного из великих миланских домов гвельфов, который, несмотря на свою голубую кровь, был самым ярким защитником народных прав, и знакомый читателям истории Корио как глава и предводитель той небольшой группы *знати audacissimi*, которая в 1459 году, не сломленная голодом и долгими страданиями, подстегнула миланский народ к сопротивлению оружию Сфорца и разграбила партию гибеллинов, чтобы получить деньги на оснащение войск для

защиты города. Успехи графа Франческо усугубили досаду и ненависть этого человека, и одним из условий, которые Котта потребовал от венецианцев, было возвращение ему *всех крепостей, земель и владений, которые я золотил в память о прошлом дуке*. Этому человеку, как и Совету, казалось, что смерть графа Франческо может быть только полезной и плодотворной (*practica non potest esse nisi utilis et fructuosa, quum ex ea nullum damnum sequi potest*), и с чувствами не столько убийцы, сколько возвышенного классического тирана - характер, всегда дорогой итальянцам, - Иннокентий Котта получил в своей бресцианской ссылке маленькие круглые и благоухающие гранулы яда.

Не менее восемнадцати раз в период с августа 1448 года по декабрь 1453 года венецианский совет подстрекал своего помощника к подвигу. Ему посылали яды и, по-видимому, вводили их. Но яд венецианцев был скорее одиозным, чем смертельным. Их яды, сублимированные из неразумной мешанины летучих веществ, не обладали регулярным химическим действием, и сохранившиеся их образцы представляют собой бессвязную путаницу ртути, летучих солей, меди, кантаридов, жженных дрожжей, солей селитры и мышьяка, из которых после бесконечного кипячения и измельчения в порошок испарились самые смертоносные качества, и которые оставили (согласно анализу профессора Бутлерова) сравнительно безвредное сочетание аммонийных хлоридов.

Прописанные успокоительные средства не оказали никакого заметного влияния на железное телосложение *диссонирующего* герцога Миланского. Он, вероятно, оставался в полном неведении относительно яда, который так часто вводили в не разбитые очки Венеции; но он не мог оставаться в неведении относительно неприязни и подозрительности, которые его окружали, и ему все больше хотелось какого-то высшего проявления законности. Войска и хлеб, которыми он убедил миланцев, были замечательными агентами, но они не могли сделать всего. У Франческо Сфорца было шесть маленьких сыновей, и в его сердце росло то непобедимое желание основать династию, которая одолела стольких завоевателей. Где-то в архивах, думал он, в каком-то ненайденном завещании или забытом кодициле обязательно должно быть упоминание о его жене, единственном ребенке покойного герцога. Поскольку владение уже было в его пользу, малейшее упоминание в завещании старого герцога послужило бы узакониванию династии Сфорца. Но ни в завещании, ни в кодициле не было ни слова о последнем отступном в пользу мадонны Бьянки. Поисковики нашли только завещание Джангалеаццо, который завещал Милан, при отсутствии прямых наследников мужского пола, сыновьям своей дочери Валентины.

Тем не менее, если Франческо Сфорца не мог узаконить свое собственное наследство, он мог хотя бы обезопасить себя от более обоснованных претензий. 19 февраля 1452 года^[83] граф Франческо написал Андриано Ольяри из Павии (Ольяри были семейством нотариусов, которым на протяжении многих поколений доверялись миланские архивы), повелевая ему немедленно прибыть в Милан и привезти с собой во дворец оригинал завещания Джангалеаццо Висконти,

"ибо [пояснил он], из-за некоторых дел

которые происходят в настоящее время, необходимо, чтобы мы увидели

завещание, составленное прославленным герцогом Квондамом

the first.... Вы должны прийти завтра, в воскресенье,

двадцатого числа сего месяца, сюда, в наше

и принести с собой упомянутый оригинал завещания.....

И мы советуем тебе, что для просмотра

завещания мы поступим с тобой так, как ты

как ты пожелаешь".

Олиари и его отец до него были слугами законных герцогов. Что-то в тоне письма Сфорца, в его неловком смешении угрозы и взятки, заставило верного нотариуса задуматься. Он не хотел отдавать столь священный залог на милость этого грубого старого солдата, который подписывался "Cichus" (Франк) и был совершенно лишен достоинства законных тиранов. Олиари написал ответ и сообщил, что, по его мнению, копия оригинала завещания будет найдена и удовлетворит любые запросы.

Так называемый герцог Миланский пришел в ярость и отправил отрывистое письмо подозрительному и непокорному адвокату, а также послал того же гонца к кастеляну Павии, сообщая, что Олиари не пришел, и прося его немедленно отправить нотариуса, *cum dicto testamento et non cum la copia*. Но ни герцог, ни констебль замка не смогли побудить Ольяри отступить от своего решения. "Я действительно не могу приехать, - ответил он Сфорце 24 февраля, - потому что у меня нет ни денег, ни лошадей". Павия находится не так далеко от Милана, но, чтобы служить государю, человек мог одолжить лошадь у соседа. В тот же день, 24-го числа, герцог в гневе ответил и Ольяри, и кастеляну, что не может понять, почему так трудно составить завещание. "И поскольку вы дорожите нашей благосклонностью, под страхом мятежа вы должны быть завтра у нас с упомянутым завещанием, ибо если вы не придете, мы заставим вас раскаться в этом". Олиари не посмел противиться столь зловещему приказу. Он тайно сделал пять копий драгоценного документа, а затем, надо полагать, отнес оригинал Сфорце, поскольку больше никаких писем от него не требовалось. Так подлинник завещания Джангалеаццо Висконти был уничтожен.

Но пока Сфорца опускался до преступления, чтобы защитить себя от соперничества Орлеана, этот претендент был менее опасен, чем прежде. Какими бы хорошими ни были его притязания, его неэффективность была ужасным противовесом. Когда^[85] на новый 1454 год, Альфонсо Великодушный написал в Венецию письмо с просьбой продолжить отношения с Орлеаном, венецианцы ответили, что Орлеан слишком далек и слишком не готов. Они так же, как и Арагон, желали избавиться от узурпатора. За месяц до того, как они попытались склонить Арагон в пользу своего кандидата, они написали в Савойю^[84] письмо, в котором просили герцога Людовика присоединиться к ним в просьбе к дофину Франции вторгнуться в Италию и подавить Франческо Сфорца. Они предлагали, чтобы дофин завоевал Тичинезе и Пьяченцу для себя, а Миланское герцогство - для герцога Орлеанского. Если же герцог не захочет идти на такие расходы и опасности ради кузена, венецианцы дали понять, что на миланском троне их устроит любой французский принц.

V.

У Орлеанского дома не было более опасного врага, чем королевский дом Франции. Ситуация сильно изменилась с тех пор, как сразу после освобождения Орлеана Карл VII поддержал свои притязания на Милан. Сведение к ничтожности великих феодальных домов в целом, и в особенности Орлеана, было теперь политикой французской короны; а в тот момент политика уже непостижимого дофина, похоже, заключалась в завоевании королевства, которое должно было включать Дофине, Тичине, Асти, Пьячентинский угол Эмилии и всю Лигурию.

Для неугомонного исполнителя столь смелого плана претензии Сфорцы и Орлеана были одинаково невыгодны; и втайне главным врагом обоих легковых претендентов был Дофин.

Сфорца, однако, мало опасался Орлеана, а еще меньше - французов. Более того, в короле Карле он нашел в этот сложный период своего самого лучшего друга. Записи Миланского архива, начиная с 1452 года и до смерти короля Карла, изобилуют дружескими письмами и свидетельствуют о теплых отношениях, существовавших не только между герцогом Миланским и королем Франции, но и между домом Сфорца и королевским губернатором Асти. В 1459 году король убеждал Франческо просить руки маленькой принцессы Марии д'Орлеанской для своего единственного сына; но можно предположить, что Орлеан не согласился бы на такое признание узурпатора, так как переговоры ни к чему не привели. Тем не менее, отношения с французским двором Франческо продолжались на условиях дружбы и взаимного уважения.

В 1453 году дофин по-прежнему имел намерения в отношении Италии и предложил венецианскому синьору свою помощь в Италии для борьбы с графом Франческо.^[86] Было решено, что он должен прийти с восемью-десятью тысячами человек, лишит Сфорца власти и завоевать для себя герцогство Миланское, простирающееся от Адды до Тичино, от Падуи за Пьяченцей. Или же, если король и дофин предоставят гарантию на армию, Венеция заявила о своей готовности помочь герцогу Орлеанскому в том же начинании. Но пока эти принцы планировали свои будущие завоевания, дух, более сильный, чем они, делал эти завоевания невозможными - дух, который несколько лет назад начал объединять Шотландию и Англию, этих древних врагов, к тревоге Франции; дух, который отдалил Бургундию и Бретань от их английских товарищей в стольких битвах, и который привел их к ногам давно презираемого и оскорбляемого короля Франции; Дух, который теперь должен был примирить Венецию со Сфорца, Флоренцию с Миланом и на краткий миг тысячелетия сделать этих вечных врагов вместе мирными; дух, который пробудился в эти средние годы пятнадцатого века - пробудился, Небеса знают, откуда и как, - и странным образом изменил мир, в котором он дышал: Я назвал его духом национальности.

На Рождество 1453 года венецианцы не жалели ни сил, ни молитв, ни обещаний, чтобы побудить дофина приехать и подавить графа Франческо Сфорца. В апреле следующего года^[89] они послали сказать ему, как можно деликатнее, что больше не нуждаются в его услугах (изысканный способ сообщить ему, что они будут против него), поскольку заключили мир с человеком, которого четыре месяца назад называли общим врагом его соотечественников и которого они столько раз пытались убить. И, вероятно, дофин не жалел об этом. Ведь дух, одушевлявший этих итальянцев, вдохновлял и его. Уже тогда он затронул его умный и чувствительный дух. Уже в 1447 году^[88] он смеялся от радости, когда французы потеряли Геную, и заявлял: "Король управляет так плохо, что не может не радоваться". За пять лет между 1445 и 1450 годами дофин перешел от дружбы Орлеана к дружбе Бургундии, и его идеал изменился. Он негодовал, видя, как король предпочитает Италию северу и развлекается взятием Генуи и обеспечением Асти, в то время как ему следовало бы заняться завоеванием Нормандии. Он вслух говорил, что истинное место для такого короля - в таком Эрмитаже, как герцог Савойский. Он задумал сам взять на себя управление делами и оставить короля в благополучном бездействии развлекаться со своей красавицей Аньес и своими удовольствиями. Как мы знаем, заговор провалился, и нетерпеливый дофин, разочарованный беглец, сам стал искать убежища при бургундском дворе. Там он провел пять лет изнурительного изгнания и унижений, пока его отец правил Францией, безуспешно, по своей собственной моде, преследуя тени в Италии, а дома управляя

делами и создавая регулярную армию с не меньшим рвением и умением для этих посторонних амбиций. Людовик все еще находился при дворе Филиппа Бургундского, когда в 1461 году до него дошла весть о смерти отца. И на трон Франции взошел принц, который из всех других должен был сделать больше всего для реинтеграции своей страны.^[87]

Как мы знаем, закон исторической необходимости требовал, чтобы дофин отказался от своих амбиций относительно североитальянского государства - фактически, он уже отказался от них; чтобы он отказался от своих ранних видений и своих ранних друзей и взял в советники тех самых людей, которые когда-то погубили его. Отныне он должен был направить всю силу своего духа на проведение той политики, которой он так долго и с такими большими жертвами сопротивлялся и которую пытался разрушить. Интересы времени требовали, чтобы Франция отказалась от всех чуждых ей амбиций, чтобы укрепиться; чтобы она пожертвовала югом, чтобы обезопасить север; чтобы она пожертвовала аристократией в пользу народа; и Людовик XI, который, будучи принцем, так дорого заплатил за свою приверженность правам дворянства, стал монархом, которым более чем кем-либо другим управляли люди низкого и подлого состояния, который более чем кто-либо другой угнетал и сопротивлялся гордости феодализма. Те, кто были его друзьями, стали его врагами; те же, кто были его врагами, стали его друзьями. Франческо Сфорца, у которого он так стремился отнять герцогство, стал единственным живым человеком, которым он восхищался и которого уважал. Да, этот удачливый капитан-авантюрист, который долгие годы мешал ему в Милане, Неаполе и Генуе, который когда-то был главным камнем преткновения на пути дофина, стал краеугольным камнем политики короля. Как и у Екатерины Медичи, как и у Родриго Борджиа, как и у большинства беспринципных правителей, в моральном безразличии Людовика IX было что-то странно великодушное. Сфорца никогда не страдал за свою былую вражду. Новый король Франции был существом, столь же лишенным злобы, сколь и благодарности.

С Савойей, Орлеаном, Дюнуа и Анжу новый король был настроен недоброжелательно. Он узнал тайну их интриг и амбиций. 10 мая 1463 года он написал Сфорце, что готов прийти к соглашению с Миланом, если Милан полностью отречется от Савойи. Этот заговорщик, с детства знакомый со всеми мрачными тонкостями предательства, был слишком хорошо осведомлен об уловках своих единомышленников.^[90] Еще может быть, что его враги были честны. По крайней мере, они были единственными людьми, которым он мог доверять; и больше других он доверял Франческо Сфорца. В декабре 1463 года он сделал *фактическому* герцогу Милана значительную уступку французских притязаний на Геную.^[91] Он также договорился об уступке Савоны. Были даже начаты переговоры об уступке Асти Франческо Сфорца; но жители заявили, что будут стоять на стороне Орлеанского дома.

Поначалу кузены короля не могли поверить, что он действительно оставил их - тот, кто начал свою карьеру в качестве ученика Дюнуа и так долго страдал в качестве защитника знати. Уже 10 октября 1465 года потомки Валентина Висконти отправили в Венецию очень секретное посольство^[92], чтобы предложить Десятке лигу между их правительством и герцогом Орлеанским, графом Ангулемским и герцогом Бретани с целью свержения узурпатора, графа Франческо, и передачи герцогства Миланского Карлу Орлеанскому. Эту лигу, которая не могла быть подтверждена Папой, политическим противником, мог бы, как предполагалось, возглавить король Франции. Вероятно, венецианцы были лучше осведомлены о реальных намерениях Людовика XI. Конечно, они понимали, что мечтать о вытеснении Сфорца из Милана слишком поздно или слишком рано. Они ответили, что любят французский дом, но мир также дорог им: они просили освободить их от нападения на графа Франческо.

После этого на долгие годы Орлеанский дом прекратил борьбу. До конца года Карл Орлеанский был мертв, а французский претендент на миланскую корону был еще

младенцем, трех лет от роду. Прежде чем ребенку исполнилось шесть, умер и Дюнуа. Дюнуа, который не потерпел, чтобы дети его приемной матери были обмануты в получении наследства в Асти, если бы он был жив, проинструктировал бы своего племянника о деталях его притязаний на Милан. Но Людовик II Орлеанский, родившийся на семьдесят втором году жизни своего отца, естественно, был обречен потерять в младенчестве современников отца. По мере взросления ребенка обрывались все звенья, которые могли бы связать его с прошлым, и он почти ничего не знал о притязаниях своего дома. Его мать, испытывавшая романтическое преклонение перед памятью Валентина Висконти, рассказывала сыну множество легенд о квазикоролевской власти, которой в прошлом веке обладали его предки. Но этому господству, казалось, навсегда пришел конец. Во Франции, в Италии звезда Орлеана переживала долгое затмение. По собственному опыту восстаний Людовик XI знал, насколько опасна для короны и губительна для королевства власть великих феодальных домов. Аленсон, Арманьяк и многие другие он уменьшил путем конфискации и плена; Дюнуа, Бурбон, Сен-Валье, Сансер он присоединил к короне королевскими браками. Родство в подчинении, независимость в заточении - таковы были две альтернативы, представленные королем дворянам Франции. Среди тех, кто принял первый дар, оказался молодой Людовик д'Орлеанский. Людовик XI решил, что с этим юношей должен закончиться Орлеанский дом; и когда его представителю исполнилось одиннадцать лет, король женил его на Жанне Французской, нежной девушке, обезображенной, неспособной к деторождению и настолько уродливой, что когда ее привезли ко двору для свадьбы, сам король воскликнул: *Je ne la croyais pas si laide*. На этой невесте молодой герцог женился в 1473 году. "Они не будут тратить на ясли", - писал злобный король Даммартину: *ils n'auraient guères à besoin et nourrir les enfants qui viendraient du dit mariage: mais toutefois se feroit-il*.

Тем временем шесть сыновей Сфорца достигли совершеннолетия, и старший из них правил в Милане, признанный, в силу самого факта своего неоспоримого престолонаследия, законным наследником герцогства своего отца.

VI.

Когда Людовик II Орлеанский достиг двадцатилетнего возраста, он был лучшим лучником, самым ловким всадником, самым ловким и блестящим оружейником при дворе Франции. Он был красив, любил искусства и был хорошо образован. У него были привлекательные манеры, мягкие, любезные и благосклонные. Смелый и отважный кавалерист, он был готов к приключениям, но сильная рука не давала ему покоя, рука, чья жестокая хватка никогда не снималась с этого дерзкого чела. Внезапно давление прекратилось: рука исчезла; 30 августа 1483 года король Людовик умер.

Его сменил четырнадцатилетний ребенок, некрасивый, невежественный юноша, выросший в замке Амбуаз, вдали от двора, наедине со своей нежной, оставленной матерью, Шарлоттой Савойской, которая учила его единственному, что знала, - сюжетам бесчисленных рыцарских романов. Людовик XI, отчасти боясь повредить нежную конституцию своего единственного наследника, а отчасти помня свое собственное опасное и мятежное детство, отказал сыну в основательном образовании. Он никогда не видел мальчика, оставляя его на долгие годы расти, как мог, наедине с матерью в Амбюазе. "Пусть сначала окрепнет тело", - говорил король, - "ум присмотрит за собой". И, согласно традиции, единственной пищей, которую он предоставил жаждущему разуму своего сына, была одна-единственная латинская фраза: *Qui nescit dissimulare nescit regnare*. Это была вся латынь, которой учили Карла VIII, и на этой единственной крупице классических достижений он, как известно, никогда не действовал. Людовик XI, при всей своей изощренности, забыл, что, отказавшись

от одного вида образования, нельзя застраховаться от пустоты. Ребенок в Амбуазе не знал ни истории, ни географии, ни классики. Но его ум был набит подвигами Роланда и Ожье, а также красотой *"Прекрасной дамы без милости"*. Вдруг однажды летним днем в ворота Амбуаза постучали нежданные гонцы; они увезли ребенка к старому, нескладному, подозрительному человеку, которого он не знал - это был его отец. На следующий день Карл VIII стал королем Франции под регентством своей замужней сестры Анны де Бурбон. Мадам Анна унаследовала от отца неприязнь и недоверие к Орлеану; но сестра была его женой и обожала его, а ее брат, король, восхищался им. Она сделала все возможное, чтобы подавить Орлеан во Франции; но ее рука, хотя и твердая, не имела той твердости, что у ее отца. Орлеан рос и ширился.

Как раз в этот момент Венеция находилась в тяжелом положении. Почти все итальянские державы были настроены против нее, и она обратилась за помощью к Франции. 16 января 1484 года она отправила Антонио Лоредана к Карлу VIII, жалуюсь на агрессию Неаполя, Милана и Феррары и желая возобновить франко-венецианскую лигу Людовика XI. Эта лига была очень сдержанной и пассивной политикой; венецианцы надеялись на более смелую поддержку со стороны молодого короля. Лоредану было велено настаивать на том, что Неаполитанское королевство, занятое Фердинандом Арагонским, фактически принадлежит Франции.^[95] "Не довольствуясь этим," гласили инструкции Сената, "именно этот король подстрекал Лодовико Сфорца к узурпации Милана." Лодовико иль Моро,^[94] четвертый сын графа Франческо Сфорца, фактически узурпировал положение своего племянника в 1481 году и, хотя номинально являлся регентом, вел себя как герцог Милана. Но это вторжение не было тем захватом, в котором теперь хотели обвинить венецианцев. Они хотели предложить в качестве законного претендента не юного сына Галеаццо Сфорца, а герцога Орлеанского.

"Выразите герцогу Орлеанскому втайне наше желание его возвышения [выполните указания, данные Лоредану] и объясните ему, насколько благоприятна для него возможность вернуть Миланское герцогство, принадлежащее ему по праву, и как его притязаниям будут способствовать разногласия и раздоры, существующие в настоящее время между нами и Миланом, а также недовольство миланцев своими тиранами. Сообщите герцогу, что Лодовико Сфорца стремится захватить власть в свои руки под ропот своего народа и что он непременно расправится со всеми, кто поддержит притязания герцогини Боны. Подстрекайте и возбуждайте герцога Орлеанского к этому предприятию изо всех сил, ... и если французы решат подтвердить свои притязания на Неаполь против тирана Фердинанда, они не найдут лучшего времени, чем сейчас".^[(93)].

Такова программа великих вторжений 1494 и 1500 годов; но время еще не пришло. 4 февраля Тен отправил герцогу Орлеанскому второе послание,^[96] в котором подстрекал его к скорейшему завоеванию Милана и предлагал ему всю венецианскую армию для этой службы. Молодой герцог, судя по всему, воспринял эти предложения очень серьезно, и проект вызвал некоторые волнения и ссоры при дворе. Но венецианцы были неспособны к какой-либо последовательной политике во внешних делах; служить Венеции тем способом, который в данный момент казался им наиболее выгодным, было их единственной целью, и поэтому их отношение было постоянным беспокойством. В августе они заключили мир с Неаполем и Миланом и послали Орлеану весточку, что рады слышать, что между ним и королем покончено с раздором. То же самое произошло и в Италии. Мир установился при самом благоприятном стечении обстоятельств, и братская привязанность объединила короля Неаполя и регента Милана с венецианским сенатом.

Так закончился проект французского престолонаследия. Людовик Орлеанский, лишившись своих внешних амбиций, стремился к величию дома и оспаривал регентство с Анной Бурбонской. Гражданская война, бегство в Бретань, притязания Людовика на руку его прекрасной кузины (наследницы герцогства), поражение орлеанистов при Сент-Обене 28 июля 1488 года и трехлетний плен герцога - это общеизвестные события. Но по мере того как Карл VIII выходил из-под опеки своей сестры, он все больше и больше отдавал предпочтение своему заключенному кузену. Теперь, когда король стал майором, а Анна Бретанская - королевой Франции, опасаться ему было нечего. В 1491 году герцог был освобожден; и когда в 1494 году Карл во главе своих войск вторгся в Италию, Людовик Орлеанский предшествовал ему через горы, главный командир, хозяин флота, призванный изгнать неаполитанцев из Генуи, а затем привести флот Франции в Неаполитанский порт.

VII.

Вторжение Карла VIII в Италию показалось даже современникам чудом. Молодой король, плохо соображающий, без генералов, без денег, с импровизированной армией, созданной по минутной прихоти, прошел через враждебную Италию со славой Карла Великого. На самом деле Карл Великий был истинным лидером своих войск: ведь этот славный фантом шел перед ним, вселяя ужас в сердца врагов и ослепляя их фактической бедностью захватчика. События той романтической кампании нам сейчас ни к чему, поскольку, несмотря на поручение вести флот в Неаполь, герцог Орлеанский не пошел на юг от Ломбардии. Пока Орлеан одерживал победу в сражении при Рапалло, король неожиданно прибыл в Асти. Это было 9 сентября, в сезон болезней. Через широкую равнину, через болотистые поля Ломбардии Орлеан галопом, свежий от победы, мчался на совет с королем. Он едва успел прибыть в Асти, как Карл заболел оспой. Приступ был легким, и через две недели он выздоровел. Но в тот самый день, когда король начал поправляться, Орлеан заболел четвертичной агеей, и когда его кузен снова поправился и 6 октября был готов отправиться в Неаполь, Орлеан был все еще не в состоянии отправиться в путь. Он отправил свою роту на юг с королевскими войсками, а сам с горсткой оруженосцев и слуг остался в своем наследственном графстве Асти, среди подданных, которые любили его отца и которые служили ему, далекому, невидимому, в годы опасностей и интриг, с таким преданным и рыцарским духом верности, какой когда-либо горцы якобинской Шотландии посвящали отсутствующим Стюартам.

Сфорца и Орлеан теперь были ближайшими соседями, связанными друг с другом интересом к королю. Судьба редко приводила к более ироничным осложнениям. Когда Лодовико Сфорца, из мести и злобы к королю Фердинанду, возродил французские притязания на Неаполь и подстрекал Карла к вступлению в Италию, он не предвидел случая, который привел герцога Орлеанского на расстояние лиги или двух лиг от Милана. Карл VIII въехал в Италию в качестве друга и гостя Лодовико иль Моро, регента Милана. Для внешнего и непосвященного мира французские притязания на герцогство выглядели примерно так же актуально, как притязания английских королей на Францию. Лодовико иль Моро, знакомый с Францией Людовика XI, знал, что претензии Орлеана вряд ли будут поддержаны трон.

Настоящее так и не прояснилось для нас. Его архивы, его *Secreta* не предоставляются нам для ознакомления. Лодовико иль Моро, вероятно, не был осведомлен о тайной политике венецианского сената, который в 1483 году так настойчиво отстаивал полузабытые права Орлеана. Но мы, знакомые с этими молчаливыми рукописями, не удивляемся тому, что не успел король отправиться на юг, как Венеция и Флоренция начали вмешиваться в дела Орлеана. В тот самый день, когда король покинул Асти,^[97] в город въехал тайный гонец от Пьеро Медичи. Его поручение касалось Орлеана. Желая остановить продвижение Карла VIII

и ненавидя Лодовико, вызвавшего чужеземца, итальянские князья предлагали предложить французам Милан вместо Неаполя. Сам Орлеан, не подозревая о своем рыцарственном кузене, предположил, что король будет удовлетворен, если Фердинанд выплатит ему дань за Неаполь и, кроме военной компенсации, ежегодную пенсию, подобную той, что короли Франции выплачивают Англии. Для себя и в качестве справедливого штрафа Лодовико намекнул, что Миланское герцогство может быть разделено между Орлеанским и Сфорца домами. Но время шло, и оружие Франции повсеместно добивалось успеха, он становился все смелее в своих требованиях, и "Милан для наследника Висконти" стал его криком.

Но Карл, не зная об интригах Орлеана и Флоренции, Венеции и Сфорца (который также в своих личных целях желал, чтобы король оставался по эту сторону Апеннин), перешел южный хребет, как перешел Альпы, и к новому году был в Риме. Тогда, напуганные успехом французов, итальянцы начали отступать от своего сговора с Орлеаном. Они хотели, чтобы французы взяли Милан вместо Неаполя, но и Милан, и Неаполь были слишком велики.

VIII.

Когда французы вступили в Италию, у Орлеана не было законного соперника в его притязаниях, если только императора можно назвать его соперником. Жителям Ломбардии, угнетенным налогами и ненавидящим своего тирана, он представлялся законным наследником, последним из Висконти. Вокруг истории еще не столь отдаленного прошлого образовался туман, сквозь который проступали смутные, героические и таинственные образы, среди которых легендарный король Артур был первым герцогом - "святым Джангалеаццо", как назвал его один из братьев Павии в присутствии Комминов. "Этот ваш святой, - вскричал развеселившийся историк, - был великим и злобным, хотя и весьма почтенным тираном". "Возможно", - ответил брат; "мы называем его святым, потому что он сделал добро нашему ордену".

Так думали и миланцы, для которых Джангалеаццо придумал безопасность и мир, для которых он завоевал огромные владения. Они забыли его грехи, его преступления, и первый герцог стал героем этого места. Быть последним потомком этого человека казалось само по себе претензией на то, чтобы унаследовать его владения, сесть на его место, изгнать узурпатора. Пока они так рассуждали, в октябре узурпатор умер.

Джангалеаццо Сфорца, герцог Миланский, юноша пяти-двадцати лет, которого держал в тюрьме его дядя, регент Лодовико, умер не менее подозрительно, чем маленькие принцы в Тауэре. Он оставил после себя четырехлетнего сына, своего законного наследника. Но, предвидя зловещие события, за год до этого регент Лодовико договорился с императором о возвращении герцогства. Он признал, что его отец, брат и племянник были не более чем незаконными узурпаторами: более того, они ущемляли права империи, получая свои титулы только от народа. Таким образом, младенец, сын Джангалеаццо, был сыном не просто узурпатора, но человека, утратившего все права, которыми он изначально обладал. Признав это, Лодовико попросил императора по своей милости и щедрости даровать герцогство ему и его потомкам, как когда-то император даровал Милан человеку, не имевшему на него законных прав, а именно Джангалеаццо Висконти. Максимилиан согласился, и 5 сентября 1494 года из Антверпена были отправлены императорские письма-обещания^[98], за которые регент заплатил 100 000 дукатов.

Этот документ, хранившийся в глубокой тайне, мог попасть в Милан лишь за несколько дней до смерти Джангалеаццо. Все считали, что молодой человек умер от яда. Это было очень печально. Но сыну убитого было всего четыре года, а французы находились в Ломбардии - в

гостях у Лодовико. "Короче говоря, - говорит Комминс, - Лодовико провозгласил себя герцогом Милана, и это, как я думаю, было его единственной целью, чтобы переправить нас через горы". Напуганные присутствием французов, люди приветствовали регента как своего герцога, "и кричали *"Дука! Дука!"* (пишет Корио), "и, облачив его в герцогскую мантию, посадили на коня, и он поскакал к храму, люди из его фракции провозглашали его при этом, и они подняли радостный звон колоколов, в то время как все это время мертвое тело Джангалеаццо лежало непогребенным в великом соборе".

Зная, что в его кармане лежит секретная грамота, Лодовико мог наслаждаться этой церемонией с чувством уверенности. Однако корона не совсем гладко сидела на его челе. Орлеан в Асти приобретал нестерпимый оттенок покровительства. А за тонкой шеренгой партизан, кричавших своими наемными голосами: *"Дука! Дука!"*, стояла угрюмая, молчаливая толпа. Они, как и вся Италия, считали, что Лодовико отравил отца, чтобы узурпировать наследство ребенка, Франческо. Из трех претендентов наибольшей популярностью пользовался бессознательный младенец, который так причудливо носил на руках матери любимое и сомнительное имя своего деда, великого кондотьера. "Почти все миланцы, - писал Комминс, - восстали бы против короля, если бы он только последовал совету Тривульцио и подставил руки ребенку-герцогу". Но Карл отказался ущемить притязания своего кузена Орлеанского.

Тем временем отношения между французами и Лодовико становились все более сложными и напряженными. Присутствие Орлеана в Асти, чудесный успех Карла внушили миланскому герцогу горькое сожаление о том, что он когда-либо звал своих союзников через горы. Он использовал их как оружие, а теперь их применение закончилось. Когда 27 февраля 1495 года он получил известие о том, что французы вошли в Неаполь, он всячески изображал радость. Но когда колокола еще звонили на шпилях, он отвлек венецианского посланника. "У меня плохие новости, - прошептал он. "Неаполь потерян. Давайте создадим лигу против общего врага".

Это было в конце февраля. В течение следующего месяца в дипломатическом мире происходило много тайных дел. С момента вступления французов в Рим великие державы недоброжелательно смотрели на триумф Карла VIII. Император с тревогой наблюдал за союзом гибеллинского Милана и гибеллинской Колонны с королем Франции. Папа не без оснований полагал, что Франция, Колонна и Савелли могут свергнуть столь непопулярного понтифика, как Александр VI. Фердинанд и Изабелла заявили, что в намерения Карла входит не что иное, как сделать себя королем Италии, а затем приступить к завоеванию Испании. Казалось, что этот нескладный, хромо́й, плохо обученный юноша оправдывает свое имя - Кароль *Октавус, Секундус Магнус*.

В Венеции глубокой ночью собирался тайный совет. Там вместе с венецианским сенатом совещались послы Германии, Кастилии и Арагона, а также Милана. Они вели переговоры о создании лиги для изгнания французов из Италии. 31 марта, когда Карл все еще был заперт в неаполитанской ловушке, был провозглашен Пятисторонний союз. Последним среди союзников значилось имя того, кто призвал Карла в Италию, а теперь впервые среди равных получил новое достоинство - герцога Миланского. Лодовико поспешил узаконить это официальное признание. В мае в Милан прибыла императорская привилегия, формально обещанная осенью предыдущего года. В присутствии императорских посланников привилегия была зачитана вслух на торжественной коронации Лодовико.

IX.

Лодовико преподнес герцогу Орлеанскому неприятный сюрприз: его титул, полученный непосредственно от Максимилиана, теперь был не хуже, чем у самого Джангалеаццо Висконти. Завоевать Милан оружием, заставить императора отменить привилегию 1495 года, побудить его дать новую, подтверждающую престолонаследие Висконти, - вот единственный путь, который оставался Орлеану.

Поскольку совет в Венеции был тайным, он не ускользнул от внимания Коммина, который в марте написал Орлеану письмо с просьбой обратить внимание на стены Асти и отправил гонца к Бурбону во Францию, чтобы тот прислал подкрепление к скудным силам Орлеана. Молодой герцог в Асти не пожалел, что получил это послание. Он уже шесть месяцев находился в Ломбардии; он ничего не сделал и жаждал вступить в бой с Лодовико. Для всех французов к этому времени Иль Моро казался предателем и тайным отравителем. Людовико Орлеанскому он казался всем этим, а также узурпатором его наследства.

Велики были пышность и красота Милана в 1495 году, еще не униженного веками иностранного рабства, не разрушенного битвами и не тронутого временем. Прекрасный в свежей белизне своего величественного собора; нежный в незамутненной красоте новых фресок Лионардо; богатый статуями, разбитыми ныне и утраченными навсегда; великолепный в четкой тонкой лепке своих розово-красных дворцов, Милан на богатой равнине был фонтаном богатства для своего владельца. Когда Орлеан увидел этот земной рай эпохи Возрождения, его притязания на Милан, которые поначалу были лишь тенью, обрели в его сознании определенность и реальность. А когда внимание молодого человека было привлечено к его предкам Висконти и к браку его деда с дочерью герцога Миланского, он и его советники начали восстанавливать полузабытый титул, который он имел на Милан.

Ни у кого не было полной ясности в этом вопросе. Герцогские секретари были вынуждены строить предположения, изобретать. Главный из них Николь Жиль заявил, что Филиппо Мария Висконти женился на мадам Бонне, дочери короля Иоанна Французского (дама, которая, если бы она существовала, была бы на добрых сорок лет старше своего мужа), от которой у него было две девочки, Валентина, вышедшая замуж за герцога Орлеанского, и Бонне, ставшая женой владыки Монтобана в Бретани. Кроме них у него был внебрачный ребенок, Бьянка Мария, жена Сфорца.

Это, пожалуй, самая четкая из этих необычных генеалогий *pour rire*. Людовик был рад вырваться из их путаницы и недоумения к простым вопросам поля битвы. Казалось, у него появился хороший шанс. Лодовико был так ненавистен своим подданным^[99], что они приветствовали бы почти любую перемену. Почти в тот же момент, когда Пьяченца предложила себя королю Карлу, если он возьмется содержать ребенка Франческо, города Милан, Павия и Новара тайно занимались Орлеаном, и Коммин утверждает, что в Милане его приняли бы с большим ликованием, чем в его городе Блуа.

17 апреля Лодовико иль Моро нагло потребовал от Орлеана покинуть Асти и снова перейти Альпы со всеми своими людьми. Благодаря предупреждению Коммина, Орлеан уже успел укрепить город.

"Это место, - ответил он^[100], - и прилегающие к нему замки - часть моего наследства, и отдавать их в другие руки, уезжать и бросать свои владения я никогда не собирался. Передайте вашему господину, - добавил он гонцу, - что я готов к бою: либо жду его здесь, либо выхожу навстречу ему на поле брани. Я получил поручение от короля, и я намерен его выполнить".

К сожалению, на самом деле Орлеан получил от своего кузена поручение молчать и ни в коем случае не нарушать мир (ведь лига была оборонительной и не угрожала королевским войскам, если они отступали без боя), пока Карл и его уменьшившаяся армия не придут в Асти. Им грозила неминуемая опасность, если какой-нибудь необдуманный поступок Орлеана навлечет на них, среди запутанных горных перевалов, нетерпеливое скопление их бдительных врагов. Но Орлеан об этом не помнил. Он жаждал личной схватки с соперником, возмущался его вероломством и был убежден, что легко сможет закрепить за Францией всю Ломбардию. В апреле он трижды писал Бурбону, умоляя о помощи. "Только пришлите мне подкрепление немедленно, и я думаю, что окажу королю услугу, о которой люди будут говорить еще не один год". Силы прибыли, и Орлеан увидел себя хозяином 5000 пеших, 100 лучников, 1300 [оруженосцев](#) или около того, и двух прекрасных артиллерийских орудий.^[101] Он знал, что Лодовико был в таком затруднительном положении, что не мог платить своей армии. Он знал о недовольстве Ломбардии. Он чувствовал себя настолько старше и мудрее короля, что ему было трудно подчиняться его приказам. Тайная практика общения с вельможами ломбардских городов подсказывала ему, что все созрело для внезапного удара. В последнюю ночь мая, в безопасной темноте, двадцать человек под командованием Жана де Лувена выехали из Асти через ломбардскую равнину, пока на рассвете 1 июня не достигли ворот Сан-Стефано в Новаре. Ворота им открыли фактории Опичини, двух местных дворян; горожане выбежали встречать французов; горстка войск Сфорцеско, находившаяся в городе, заперлась в цитадели. К 13 июня Орлеан с цветком

Не успел он там появиться, как сначала Павия, а затем Милан предложили принять его. Ему следовало бы уехать сразу, пока армии его врагов не окружили его в Новаре. Но в его душу вселилось глубокое недоверие к итальянцам. Казалось, что безопаснее повременить до подхода королевских войск. Задолго до их прибытия, 22 июня, венецианцы защитили Милан с 1 000 греческих страдотов, 2 000 пеших и 1 000 кюрасиров.^[102] Теперь уже невозможно было взять Милан, который при некоторой смелости можно было бы легко завоевать. Невозможно было даже эвакуировать Новару. И когда после многих трудностей, героически преодоленных, маленькая армия Карла прибыла 27 июля в Асти, остро нуждаясь в отдыхе и подкреплении, ее ждала новая и трудная задача; ведь Орлеан и его солдаты погибали от голода в осажденной Новаре.

Х.

Комминс ярко представил нам разлад между армией и советом короля. Сам он горячо поддерживал армию, которая откровенно заявляла, что сражение невозможно при таких подавляющих шансах: если не придет подкрепление из Швейцарии, Орлеан должен быть освобожден из Новары. Но совет настаивал на немедленном вступлении в бой. Солдаты поговаривали, что Орлеан обещал Бризонне доход в 10 000 крон для его сына, если Милан все же будет взят и осада Новары снята. Швейцарцы не пришли; армия была слишком мала. В сентябре всерьез заговорили о мире. 26 числа того же месяца Орлеан и его армия были освобождены из Новары. Более 2 000 из них умерли от голода, многие упали на обочине дороги от слабости и умерли там, как лежали. (Комминс нашел пятьдесят из них умирающими в саду и спас им жизнь, вовремя подсунув похлебку). Большинство из тех, кто дождался лагеря, погибли от опасного изобилия. Более трехсот их истощенных трупов были брошены на свалку Верчелли.

Это была тяжелая цена за непокорное честолюбие одного человека. Тем тяжелее казалось ничего не купить столь большими затратами. Многие все еще не желали мира. Орлеанский

заручился поддержкой своих солдат во время голода в Новаре, где он питался и постился, как любой простой военный, откладывая из герцогского стола для больных в госпитале. Его соратники были готовы умереть за него. По иронии судьбы, в тот самый день, когда армия эвакуировалась из Новары, 20 000 швейцарцев пришли на помощь королю. С таким подкреплением, как это, с криками Орлеана, Линьи, д'Амбуаза и их людей, Карл мог бы не только завоевать Милан, но и стать хозяином всей Италии. Но переговоры о мире уже начались; Новара была потеряна; французских солдат было мало, и они были сильно ослаблены; ходили слухи, что швейцарцы намеревались не иначе как захватить короля Карла со всей его знатью, увезти их в неприступную крепость Альп, а затем потребовать за их свободу баснословный выкуп.

Король счел за лучшее сразу же уволить этих опасных союзников и забрать своих истосковавшихся по дому солдат обратно во Францию. 10 октября был заключен мир. Король обещал - при условии, что Лодовико Сфорца откажется от всех притязаний на Асти, не будет препятствовать помощи французам в Неаполе и выплатит Орлеану военную компенсацию в размере 50 000 дукатов, - не поддерживать права своего кузена на Милан. Орлеан был разгневан и разочарован. Втайне он договорился о поддержке швейцарских капитанов и с ними и с 800 своими воинами намеревался выступить из Верчелли на Милан. Но в ночь перед отъездом, когда все было готово, он вдруг потребовал согласия короля. Карл отказался санкционировать это нарушение мира и велел своему кузену присоединиться к армии и отправиться обратно во Францию. К 7 ноября Орлеан, ничуть не разбогатевший от своих усилий, был вместе с королем в Лионе.

Спустя чуть больше года после этого король с радостью отправил бы своего кузена Орлеана завоевывать Милан: герцог оправдывался и не хотел ехать. Вскоре после возвращения французов во Францию умер дофин. Карл, унаследовавший то ужасное недоверие к собственным детям, от которого страдал его отец, не очень горевал, так, по крайней мере, уверяет нас Комминс. Но если быстрота маленького ребенка трех лет - его собственного сына - вызывала у него беспокойство, то гораздо больше он боялся своего нового наследника, герцога Орлеанского. Королева, оплакивая потерю ребенка, впала в тоскливую меланхолию, и Карл, с нелепой идеей подбодрить бедную мать, приказал танцевать перед ней маскарад из кавалеров. Среди них был Орлеан, и он танцевал с такой целью, с такой легкостью сердца и пяток, с такой жизнерадостностью и весельем, что скорбящая королева была серьезно оскорблена, а сам Карл решил, если возможно, отправить своего веселого наследника подальше от трона.

Вскоре представился удобный случай. Флоренция, вопреки всему миру верная Франции, послала к королю в Амбуаз с просьбой приехать и выкорчевать Сфорца из Милана. Она предлагала предоставить 800 человек вооруженных и 5000 пеших за свой счет. Кардинал Святого Петра в Винкулисе, Орсини, Бентивольо из Болоньи, Эсте из Феррары, Гонзага из Мантуи - все они обещали предоставить свои войска королю. Генуя должна была быть завоевана Тривульцио, в то время как Орлеан шел на Милан. План кампании был разработан, войска подтянуты, Тривульцио уже вступил в Италию с 6000 пехотинцев и 600 800 оружейников, когда в самую ночь его отъезда Орлеан внезапно покинул свой пост. Он заявил, что не может и не хочет ехать из-за своей личной ссоры; как лейтенант короля и по его прямому приказу он готов отбыть - не иначе. "Я никогда не стану принуждать его к войне против его воли", - воскликнул Карл, и, хотя флорентийские послы в течение многих дней умоляли его воспользоваться властью трона, он отказался вмешиваться в дела Орлеана. "Таким образом, плавание было сорвано, - пишет Комминс, - несмотря на большие расходы и

готовность всех наших друзей. И это было сделано к большому огорчению короля, так как, завоевав Милан, Неаполь уступил бы сам собой".

Что же изменило мнение Орлеана - Орлеана, непокорного в Новаре и вновь непокорного сегодня по столь противоположной причине? "Он уклонился от этого предприятия, - продолжает наш историк, - потому что видел, что король плохо относится к своему телу, наследником которого он должен был стать в случае своей смерти". "Он не поехал бы", - пишет Гвиччардини, - "потому что видел, что король болен, а ему принадлежит наследование короны".

Всего через год после этого, утром Вербного воскресенья (8 апреля 1498 года), Людовик Орлеанский, впавший в некое неопределенное полубезумие, стоял у окна в своем доме в Блуа, когда увидел на улице несколько солдат королевской гвардии, быстро бегущих по улице. "Боже, храни короля!" - кричали они; "Vive le roi Louis XII!". Это было первое известие короля Людовика о внезапной смерти его кузена. За день до этого Карл VIII упал, внезапно пораженный смертью, когда он и его жена наблюдали за игрой в теннис с галереи в Амбуазе.

XI.

Французский претендент на Милан теперь был королем Франции. С этого момента притязания Орлеана стали фактором европейской истории. Планы первого герцога Милана пошли по ложному пути, и вместо того, чтобы Франция и Германия сдерживали друг друга, их армии в течение полувека оккупировали земли Ломбардии, а когда они ушли, на этих землях воцарился мир, но они, озадаченные и парализованные, стали беспомощной добычей Испании.

Эта "Илиада" слишком важна, чтобы вместить ее в узкие рамки очерка. Мы можем лишь вкратце рассказать о событиях, которые развили, а затем погасили право французов на Милан. Завоеванная в 1499 году Людовиком XII Французским, Ломбардия в течение пяти и двадцати лет оставалась прерывистой провинцией этого королевства, то восставая, то вновь завоевываясь. За это время несколько привилегий и инвеститур, полученных от императора, подтвердили победы Франции и аннулировали притязания Лодовико Сфорца. Эти инвеституры заслуживают хотя бы краткого рассмотрения, поскольку с момента их дарования французские притязания на Милан, уже подчеркнутые правами наследственности, завещания и договора, получали окончательную санкцию феодального права.

Первая из этих императорских инвеститур была дарована королю Людовику XII рукой Максимилиана на сайте 7 апреля 1505 года.^[103] Она закрепляла герцогство Миланское (*non obstante priore investitura illustri Ludovico Sfortia prius exhibita*) за королем Франции и его сыновьями; или, в случае отсутствия таковых, за его дочерью Клод. В это время, благодаря влиянию королевы Анны, Клод была самым неестественным образом обручена с постоянным врагом своей страны, будущим Карлом V., и в этом документе он упоминается как ее муж и сонаследник - факт, который он не позволил себе упустить. Но, к счастью, наследнице Бретани, Орлеана и Милана не позволили выйти замуж за великого соперника Франции. 14 июня 1509 года вторая инвеститура подтвердила наследство Клод и соединила с ней ее будущего мужа, Франциска Ангулемского, ее кузена, равно как и ее саму, с потомством Валентина и Орлеана.^[104] Этот императорский документ прямо признает право женского наследования ломбардского фьефа,^[105] ибо Клод, утверждается в нем, является наследницей Милана через своего отца, внука мадам Валентин. Но в нем ничего не говорится о происхождении Франциска Ангулемского, хотя и предусматривается, что если Клод умрет в

детстве, а у короля не родится других детей, которые могли бы занять ее место, то Франциск Ангулемский будет признан герцогом Милана по своему праву, поскольку он является наследником короля Франции.

Таковы права Франциска I на Милан, права абсолютные и неприступные. Но только путем постоянных завоеваний французы смогли удержать власть над миланцами. Ибо вековые тенденции показывают нам, что существует естественное право, более сильное, чем притязания крови, престолонаследия, завещания, усыновления или инвеституры. Французские герцоги Милана были в своих владениях иностранцами. И, как предвидел мудрый Комминс, -

"Не бывает великого старшинства, если в конце концов власть в нем остается за прирожденными соотечественниками". И это видно на примере королевства Франция, значительной частью которого англичане владели четыреста лет, но теперь не имеют там ничего, кроме Кале и двух маленьких замков, защита которых обходится им ежегодно в большую сумму денег. То же самое можно сказать и о Неаполитанском королевстве, и об острове Сицилия, и о других провинциях, которыми владели французы, где теперь не осталось никаких следов их пребывания, кроме могил их предков".

Именно в роковой битве при Павии Франция действительно потеряла свои итальянские владения. Мадридский договор, заключенный по принуждению и оказавшийся столь бессильным вернуть императору Бургундию (уже ставшую неотъемлемой частью Франции), навсегда передал ему владения французов в Италии; правда, не без борьбы. Не успел Франциск освободиться из Мадрида, как объявил этот вымогательский договор недействительным. Он посылал протест за протестом ^[106] всем европейским дворам: но то, что помогло ему удержать Коньяк, оказалось тщетным, чтобы вернуть ему Милан.

Сразу же после битвы при Павии Карл V вложил Франческо Сфорца II, сыну Иль Моро, герцогство его отцов. Но что должно произойти после смерти бездетного Франческо Сфорца? Предвидя это событие, король Франции не терял надежды; и десять лет с 1530 по 1540 год наполнены различными попытками, угрозами, уговорами, с помощью которых он пытался получить от императора герцогство Миланское для второго сына Франции. Поскольку склонить Карла V к тому, чтобы позволить Милану стать придатком французской короны, было явно невозможно, амбиции короля перешли на более низкий уровень, и французский герцог Милан стал суммой его желаний. В два разных момента реализация этого плана казалась возможной. В 1535 году, после смерти Франческо Сфорца II, начались переговоры о получении Милана для Орлеана. Документ, до сих пор хранящийся в Национальной библиотеке в Париже ^[107], доказывает, насколько жива была в этот момент надежда Франциска I вернуть Милан. Король дал обещание никогда не присоединять это герцогство к французской короне и заявил, что готов потратить огромную сумму на его инвеституру. Но венецианцы, ^[108] понимая, какую опасность для себя создаст в Италии великое французское государство, так хорошо проводили время и лавировали, что дело ни к чему не привело; Карл V. был в таком настроении, что поверил их уверениям, будто любое время лучше настоящего. Дела Италии были для него скучны и мертвы. Все его силы были направлены на идею крестового похода против Алжира. Было предложено, чтобы Орлеан присоединился к нему в этом предприятии ^[109] и чтобы, рука об руку в этой священной борьбе, император и принц согласились забыть горькую память минувших дней. Но в 1536 году старший сын Франциска умер, и Орлеан стал дофином Франции. Планы, политика, которые в течение нескольких лет пытались обеспечить мужу Екатерины Медичи итальянское княжество, рухнули перед этим неожиданным ударом судьбы. Орлеану не суждено было стать главой итальянского королевства, простирающегося от Альп до Рима, и в 1540 году

Карл V передал Миланское герцогство своему собственному сыну Филиппу Испанскому. Однако Франция не могла смириться с таким отчуждением своего трансальпийского наследства, и в 1544 году по катастрофическому Крепийскому договору было установлено, что через два года после этой даты либо Милан, либо Нидерланды должны быть переданы третьему сыну Франциска. Но не успел истечь срок договора, как принц Карл был мертв, а Милан быстро оказался в руках испанцев.

49. J. 409, No. 42. Contrat de Mariage. 42 *bis*, Vidimus du Contrat et Acte de la remise d'Asti. Павия, 8 апреля 1387 года. 42 *ter*, Confirmation du Contrat par Clement VII. à Avignon. Другие документы по этому вопросу см. в Carton K. 553.

50. Дополнительные MSS., № 30 669, fo. 215.

51. Champollion-Figeac, "Louis et Charles ducs d'Orléans", p. 253. Завещание датировано 17 октября 1403 года: Пиза, вероятно, была включена в число "других земель, которые можно было иметь".

52. В обычных имперских вотчинах, которые даже в конце XIV века во многих случаях сохраняли свою первоначальную идею военной службы, предоставляемой в обмен на территориальные владения, женщина не могла получить наследство без прямого и специального упоминания этого факта в инвеституре или в какой-либо последующей привилегии. Но в купленном вотчине дочери допускались к наследованию в отсутствие мужчин. Милан был имперской вотчиной, полученной непосредственно от императора и принадлежавшей на основании особого вида владения, известного под названием *Fahnlehen*, в честь знамени или штандарта, который владелец отдавал своему феодалу; он был предназначен, даже если не был явно зарезервирован, только для мужского пола. Джангалеаццо Висконти заплатил за титул и инвеституру огромную сумму в 100 000 флоринов (около 50 000 фунтов стерлингов), но я не знаю, достаточно ли этого для предоставления фьефу более слабых привилегий *феодалного пустозвонства*.

53. "Ann. Med.", in Muratori, "Rer. Ital. Script." xvi.

54. Dumont, ii. clxxxix.

55. Он родился 24 ноября 1394 года. Об освобождении Орлеана см. прекрасную главу в книге маркиза де Бокура "Histoire de Charles VII." t. iii., Paris, 1885.

56. См. M. Leopold Delisle, Collection Bertrand d'Estaing, длинное примечание о защите Ф.М. Висконти в Асти и тайном поручении Орлеана Кузино, p. 135-40.

57. "Бастард приехал с этой просьбой в 1442 году в Милан, где я, Секундинус Вентура, видел его" ("Memoriale Secundini Venturæ"). Дюнуа приезжал дважды, в феврале 1441 года и в 1451 году. Несмотря на реплику Вентуры, дата установлена документом, сообщенным мне графом Альбером де Циркуром (Pièces Originales Fontanieu, dossier 1185, [№ 38](#)): "Выплатите 200 экю нашему товарищу и любимому брату бастарду д'Орлеану за одну вылазку, которую он совершил против нас в Ломбардии, находясь в нашем городе Блуа в день памяти Фебриера". Блуа 22 мая 1441 года.

58. 23 февраля (миланцы начинали год 25 декабря). Osio, vol. iii. cccxviii.
59. Б. де Мандро. См. также MSS. of Bib. Nat., Lat. 17779, fos. 53-56; а о переписке папы Феликса с его сыном, герцогом Людовиком Савойским, по этому вопросу - исчерпывающую статью М. Галлье в восьмом томе "Archiv für schweizerische Geschichte".
60. 14 февраля 1447 года. Рег. 17, лист 106, Секрет, Венеция. В этом документе говорится об ужасе Флоренции и Венеции, узнавших о лиге Франции и Милана. Эти два города вместе с Монферратом, Мантуей, Англией и другими ломбардскими державами объединились в торжественное соглашение, чтобы противостоять общему врагу и сохранить мир.
61. Desjardins, "Nég. dipl. avec la Toscane", t. i. p. 60.
62. Bibl. Nat. MSS. Ital. 1584, № 21 и 84, цитируется маркизом де Бокур в "Revue des Questions Historiques" за октябрь 1887 года.
63. "Archivio Storico Lombardo", Anno iii. fasc. iv.
64. Osio, ii. примечание к стр. 2. В час своей смерти, 14 августа, герцог составил кодицил, оставив все Альфонсу. За два дня до этого он оставил Альфонсо *erede universale*, а Бьянку *erede particolare*. Конечно, в любом случае она оставалась хозяйкой Кремоны и Понтремоли.
65. Озио цитирует это письмо, хранящееся в Миланском архиве: *Fece el Re d'Arragona erede del tutto, non facta mentione veruna di M.B. [Madonna Bianca] ne de la moglie ne d'altri.... Vegnate pur voi via senza veruna dimora; zonto siate qua lo mezo del giocho e vincto.*
66. Это письмо цитируется в интересной подборке документов из переписки герцога Людовика Савойского, опубликованной в восьмом томе "Archiv für schweizerische Geschichte" М. Галлиера. Также в "Истории" М. де Бокура, указ. соч.
67. Secreta, Reg. 17, fol. 171, tergo.
68. *Sed si in colloquiis fieret mentio per ipsos oratores de serenissimo Rege Francorum, et de Januense, qui occupassent de locis que fuerant quondam ducis, in hoc casu, praticatores ipsi iustificare debeant, in modesta et convenienti forma verborum, factum præfati Regis, et Januensis; videlicet, quod per nos, contra eos, honeste et convenienter fieri non possit.*
69. Reg. 17, fol. 194, tergo. 30 декабря 1447 г.
70. Reg. 17, fol. 221, tergo.
71. Reg. 17, fol. 220. Secreta del Senato, MS.
72. Reg. 18, fol. 3, Secreta del Senato, MS.
73. Виолле-ле-Дюк, "Mobilier Français", iv. 454.
74. Оливье де ла Марш, "Mémoires", livre i. chap. 17.
75. Secreta del Senato, Reg. 18, fol. 106, MS.
76. Lamansky, "Secrets d'Etat de Venise", p. 160.
77. Gaullieur, *op. cit.*
78. Рег. 18, лист 83. 21 апреля 1449 года. Secreta del Senato, MS.

79. *Secreta del Senato*, MS. Reg. 10, fol. 93. 3 июля 1449 года.

80. Эти четыре письма цитируются М. Морисом Фоконом из Миланского архива в его отчете о двух миссиях в Италии в 1879 и 1880 годах, стр. 35-37.

81. Архивы Генуи. *Materie Politiche*, mazzo 12, 3. См. также "Отчет об итальянских письмах Людовика XI" Шаравэ, 1881 г.

82. См. документы в Lamansky, "Secrets d'Etat de Venise", 161, 14 и др.

83. Ghinzone, в "Archivio Storico Lombardo", Anno ix, Fasc. 2, 1882, цитирует оригинальные документы из Миланского архива, Reg. Miss. N. 12, foglio 40. Все письма представляют большой интерес.

84. Reg. 20, fol. 1. *Secreta del Senato*, MS. 3 января 1454 года.

85. Reg. 19, лист 232. *Secreta del Senato*, MS. 11 декабря 1453 года.

86. "Secreta", tome (*sic* Reg?) xix. fol. 211, под датой 31 августа 1453 г., цитируется М. Этьеном Шаравеем в его "Отчете о письмах Людовика XI, хранящихся в архивах Италии". Следующие документы из венецианских архивов, которые, как я полагаю, еще не опубликованы, являются естественным продолжением этого интересного письма:

"Senato" I., Reg. 19, fol. 232, под датой 11 декабря 1453 г. Венецианцы посылают Веньера просить Савойю присоединиться к ним в просьбе к Дофину о вторжении в Италию: "Веньер должен выяснить мнение герцога Савойского относительно Сфорца, поскольку король Рене прибывает в Италию. Пусть он ясно поймет, что Сфорца - человек весьма честолубивый и что если он будет продолжать процветать, как сейчас, то непременно обратит свои помыслы на Савойю. Венеция намерена не только обезопасить свои владения, но и ради своих друзей и союзников как можно сильнее и решительнее подавить упомянутого графа Франческо Сфорца, который может стать общим врагом. И с этой целью Венеция решила обратиться за помощью к Франции, и в том числе к Дофину, прося упомянутого Дофина ради общего блага вторгнуться в Италию с войском от 8000 до 10000 человек. И мы, венецианцы, просим Савойю направить вместе с нашим послом подходящего посла, чтобы убедить упомянутого дофина в этом начинании. И мы намерены предоставить указанному дофину соответствующую субсидию деньгами и всем, что он сможет завоевать от Адды до Тичино и от Падуи до Пьяченцы, за исключением владений Савойи и Монферрата. Пусть Венье выяснит, сколько людей, какого рода и когда Савойя может поставить на поле..... И если милорд дофин будет просить согласия своего отца, вы предложите с нашей стороны просить и добиваться его. И если он пожелает, чтобы вы отправились к королю, вы отправитесь и, насколько сможете, заручитесь его согласием..... И если упомянутый король или дофин скажет вам, что это предприятие касается герцога Орлеанского, скажите, что это правда, что после смерти Филиппо Мария он прислал к нам извещение о своих притязаниях (и как бы мы хотели видеть принца из дома Франции на миланском троне!) и что он ожидает поставок из Франции, и мы заверили его в нашей радости и удовольствии; и если действительно король или дофин по вашей просьбе снабдит упомянутого господина герцога войском от viii. тысяч до x. тысяч человек, мы окажем ему помощь и содействие на тех же условиях, что и милорд дофин. И отправляйтесь тогда к герцогу Орлеанскому и уговорите его на эту авантюру".

Reg. 20, лист 26, 23 июля 1454 г. Этот документ касается Лиги, призванной обеспечить мир в Италии посредством наступательного и оборонительного союза против всех нарушителей мира, который должен быть заключен между Венецией, Миланом, Флоренцией и Неаполем. Флоренция желает сделать исключение в пользу дома Франции. На это Милан, сильно

встревоженный, желает, чтобы Венеция тайным и отдельным соглашением подписала с ним хотя бы первый пункт. Венеция отправляет послов во Флоренцию и в Милан, указывая, что первый пункт совершенно необходим, так как без него королю Арагона незачем вступать в Лигу. Ведь если сделать исключение в пользу Франции, это вызовет лишь справедливое раздражение, а значит, союз принесет на полуостров скорее раздор, чем мир. Нет необходимости особо упоминать о доме Франции, к которому Венеция питает самые дружеские чувства. Но если Первый пункт будет подписан и Арагон склонят к вступлению в Лигу, Италия сможет рассчитывать на долгие годы мира и спокойствия.

Рег. 20, лист 103, 8 октября 1456 г. Маркиз Варезе, посол герцога Миланского, сообщает венецианцам, что дож Генуи, несмотря на свой открытый союз с Францией и явное подчинение ей, заключил второй и тайный союз с Арагоном и Миланом, к которому Венецию просят присоединиться, против французов. Венецианцы отвечают, что из-за непостоянства и разнообразия генуэзских дел невозможно дать какой-либо твердый совет.

Рег. 21, лист 21, 10 октября 1465 г. Потомки Валентина Висконти, *то есть* герцоги Орлеанский и Бретанский и граф Ангулемский, отправили в Венецию тайных послов для переговоров о возвращении Миланского герцогства из рук графа Франческо Сфорца. Венеция отвечает комплиментами, но выражает желание сохранить мир.

Рег. 22, лист 176, 28 июля 1466 г. В Венеции были приняты французские послы от Людовика XI, короля Франции. Венеция заверяет его в своем прекрасном расположении к новому герцогу Милана, а также в своей "античной благосклонности" к его отцу. Венеция считает, что возобновление Итальянской лиги в данный момент не является необходимым, приветствует намерение короля Людовика выступить против турок и поздравляет его со спокойствием в его королевстве.

Латинские оригиналы этих документов будут включены в том "Оправдательных писем" для моей "Истории французов в Италии, 1378-1530 гг.

87. Рег. 20, лист 17, 26 апреля 1454 г. - "Приказ Франческо Веньеро о том, чтобы он с помощью всех возможных средств уведомил дофина о том, что они поддерживают мир с Франческо Сфорца и что они не нуждаются в его услугах" (Charavay, *loc. cit.*).

88. Цитируется маркизом де Бокуром, iv. p. 244, из "Процесса Мариетта".

89. "Procès de Mariette" в Preuves de Matthieu d'Escouchy, p. 290. См. маркиз де Бокур, "История Карла VII", стр. 207 и далее.

90. 14 марта 1451 года Амедей Савойский пообещал [помогать](#) дофину против всех, "даже против короля Франции" (Charavay, *l. c.* p. 34). После коронации Людовика это обещание приобрело иной аспект.

91. Dumont, iii. ccxxviii.

92. Secreta del Senato, MS. Reg. 21, folio 21.

93. MSS. Secreta del Senato, Reg. 31, fol. 123, tergo.

94. Для принятия этой фамилии было приведено множество причин. На самом деле, похоже, что это было крестильное имя. В феврале 1461 года Бьянка Мария Сфорца отправила в святилище Святого в Падуе серебряный образ ребенка *ex voto* для выздоровления своего четвертого сына, Людовика Мавра, *filius quartus masculus*, пяти лет. ("Archivio Storico Lombardo", Anno xiii; Каффи о Б.М. Сфорца).

95. Reg. 31, fol. 131, tergo.

96. Reg. 32, fol. 87.

97. Гонец покинул Флоренцию 3 октября 1494 года. Более подробные сведения об этих схемах см. в первом томе книги Дежардена "Nég. dip. dans la Toscane".

98. Копию можно найти в Corio, 457-59. Я не знаю, где найти оригинал документа, но копии, очевидно, из архива Павии, можно найти среди документов Британского музея, Additional MSS, 30, 675. Джовио упоминает сообщение о том, что после смерти Франческо Сфорца II граф Массимилиано Сфорца нашел документ и вернул его императору. Лодовико иль Моро всегда настаивал на том, что он получил Милан не по наследству, а непосредственно от императора. Он называл себя четвертым, а не седьмым герцогом.

99. "Era molto odiato dai popoli a cagione dei denari." - "Bello Gallico", i. p. 176.

100. Это письмо, а также письма Орлеана к Бурбону, цитируемые из библиотеки Санкт-Петербурга, см. т. ii. "Histoire de Charles VIII." Шерье, p. 184 и далее.

101. Это венецианская оценка. Гиччардини говорит: 300 копий, 3 000 швейцарцев и 3 000 гасконцев.

102. Это венецианская оценка. Цифры Джовио и Корио см. в Cherrier, ii. 197.

103. Luenig, sectio ii. classis i.: "De Ducato Mediolanesi", xlv.

104. См. в Luenig, June 14, 1509, No. xlv., а также, с некоторыми несущественными изменениями текста, Bib. Nat. Paris, MS. 2950, Ancien Fonds Français.

105. *Præfatus rex ex ducibus Mediolani originem trahit, medio illustris quondam dominæ Valentinæ aviæ suæ, filiæ quondam illustris Johannis Galeatii Mediolani ducis.*

106. См. например, "Протесты Франсуа 1^{er}", Bib. Nat. MS. 2846.

107. Bib. Nat. MS. 2846, No. 57: Instruction baillée au Seigneur d'Espercieu après la mort du duc de Milan, Sforce, &c.

108. Там же: *Les Vénitiens ont practiqué bien avant cette matière et laissent, ce semble, le dict Sieur de Granvelle entendre qu'ils parlent autrement que le roy, par aventure, ne pense; l'ambassadeur parle assez publiquement de diviser le dict estat en plusieurs pièces.*

109. Там же.

Малатеста из Римини.

ПРИМЕЧАНИЯ И ПОДРОБНОСТИ.

Этот маленький городок Римини, расположенный на равнине у Адриатического моря, хранит множество воспоминаний. Здесь властвовал и опустошал Мастин Веккьо Данте. Глаза Франчески и ее возлюбленного вечно помнят эти желтые пески. Здесь Паризина оставила свою невинность. Здесь обитал Гисмондо, принц предателей. Есть и более древние

воспоминания, чем эти. Но в городе, где Сезар перешел Рубикон, где Август начал великий Фламинианский путь, мы вспоминаем не Сезара и не Августа, а ту странную, храбрую, жестокую, вероломную расу мелких деспотов, чья посягающая личность и чей архитектурный гений оставили неизгладимый след на городах Романьи.

Пезаро, Фано, Чезена, Верручио и многие другие города побывали под беспокойной властью этих малатестов и нашли их порочной и извращенной расой, наделенной противоположными качествами. Они были из порочной расы, о чем говорит их фамилия. Часто преступные и в то же время не просто порочные, в большинстве своем они имели какие-то великие мысли, какие-то прекрасные намерения, все еще проявляющиеся сквозь ошибки их жизни, многие их пороки были вызваны обстоятельствами. Доминирующая, мужественная раса принцев, в основном незаконнорожденных, никогда не уверенных в своем праве на власть, только благодаря беспрекословному самодержавию и никогда не ослабевающей хватке они могли защитить свое государство от внутреннего и внешнего опустошения. Их рука была против каждого, а рука каждого - против них самих. Не только Папа, жаждавший расширить свои венецианские границы, и Венеция, жаждавшая получить еще одну провинцию на Адриатическом побережье; не только герцог Урбино, наследственный враг, сидевший, как орел, на холмах, выжидая незащищенного момента, чтобы наброситься на свою жертву: Не только они, Сфорца и Аррагон, но и каждый брат или кузен дома, из своей маленькой крепости на равнине, был готов вырвать у господина Римини его дорогостоящее верховенство.

Такая абсолютная власть в настоящем, с такой неопределенностью в будущем, прежде всего, опасна для устремленных ввысь натур. Малатеста порой сходили с ума от безудержного потворства, сходили с ума от жестокости и буйного разврата; но, повторяем, они были не просто порочны. Они были сильны, хитры, храбры до смерти, честолюбивы; они знали, как заставить своих подданных любить их; они оставили после себя маленькую приморскую деревушку как памятник искусства и сделали свои несколько миль равнины силой в Италии.

В 1427 году не было законного наследника этого давно обогащенного владения. Карло Малатеста, дважды женатый, жил в детском возрасте в Римини: Пандольфо из Фано, умерший в 1427 году, не оставил наследника от трех своих невест; но, завещав брату Карло свое владение в Фано, он также отправил к нему трех естественных детей, еще маленьких мальчиков, для которых и дядя, и отец тщетно пытались получить буллу о легитимации. На их пути стояли могущественные враги. Исключив этих детей, Малатеста из Пезаро, с одной стороны, и Фредерик из Урбино, с другой, надеялись получить в наследство Римини и Фано; долгое время они убеждали папу в своих интересах. Но Карло Малатеста было не так-то просто помешать.

Этот Карло был во многих отношениях самым благородным представителем своего рода; праведный, нравственный, благочестивый солдат и капитан, во многом подобный тем, кто спасал Англию при Кромвеле. О нем рассказывают, что, въехав с триумфом в Мантую утром в день рождения Вергилия, он обнаружил, что большая неровная площадь полна празднующих, танцующих, поющих и увенчивающих венками из цветов статую поэта. Разгневанный таким поклонением тщеславному языческому идолу, он подвел своих солдат к постаменту и велел им сбросить статую в Минчио; что и было сделано или о чем было сообщено, по всей гуманистической эллинистической Италии того времени поднялся такой хор порицаний и возмущений, какого не пробуждали ни одна из оргий, преступлений, жестокостей и похотей родственников Карло. Все это мало смущало Карло, который был в своем роде знатоком искусства и литературы и первым покровителем молодого Гиберти,

которого он нанял для украшения Гаттоло в Римини. Редко когда Римини был так завиден, как во время долгого и процветающего правления Карло. Но в 1429 году Карло умер.

Незадолго до смерти он добился узаконивания своих племянников. Его преемником стал Галеотто, старший, семнадцатилетний юноша, которому достался тяжелый груз в виде сильно потрепанного шлема и ножен, оставленных ему пустыми. Много голодных глаз, враждебных ему, уже было приковано к этому шлему; Фредерик Урбинский и неверный кузен Пезаро стояли недалеко от городских ворот; тем более готовые отнять у него наследство, что Евгений IV, новоизбранный папа, с большой неприязнью и сомнением обсуждал легитимацию, дарованную Карло его предшественником. Папа, в лице Урбино, утверждал, что Римини переходит к престолу; Сфорца и Пезаро, каждый сам за себя, готовы были оспаривать его у него. Какой шанс против таких огромных шансов был у Галеотто, семнадцатилетнего, слабого здоровьем, незаконнорожденного, не имевшего ни одного союзника, который мог бы поддержать его притязания?

Более неподходящего чемпиона и представить себе невозможно. Не Давид, жаждущий сразиться с великаном, этот Галеотто Малатеста, а худой, истощенный юноша, полубезумный, полусвятой. В разгар паники, когда ужас тройного мешка сводил с ума несчастных риминцев, этот принц покинул город и поселился в монастыре Арканджело, за воротами. Там он провел свои дни безмятежно, безмятежно посреди опасности; ни о себе, ни о своем королевстве он не думал.

Зрелище это было столь странным, столь ужасным, что сами враги Римини остановились в своем натиске, пораженные. Лев, как говорят, не нападает на спящую добычу. Евгений, папа римский (по своему временному характеру смертельный враг Римини), написал его повелителю, прося его помнить о неперемennых обязанностях своего положения. Письмо дошло до этого "великолепного человека и могущественного принца" в монастыре в Арканджело, где он, облаченный в грубые одежды францисканского монаха, вел аскетическую, голодную и искалеченную жизнь. Что для него было земное великолепие? Его самоистязания были столь суровы, что раны на его теле не переставали кровоточить. Какое отношение он имел к правлению и управлению? Братья монастыря и юная дева-жена, которая поникла и побледнела у него под боком, - вот и все, что он знал и видел из человечества, а сам он - главный из грешников. Ни папы, ни армии не могли заставить его вернуться на землю. И друзья, и враги не смогли прикоснуться к нему; в сердце Галеотто Святого не было жалости.

Вернее, - обычная, но трагическая трансформация Средневековья, - его жалость приняла ретроспективный оборот; мертвая и сухая для нынешних бед, которые она могла бы облегчить, она могучим бессильным приливом устремилась назад, к подножию того священного и ужасного Креста, чья божественная трагедия была постоянным зрелищем жизни святого. Жалость к мертвому Христу - пульсирующая, тоскующая, беспомощная и возмущенная жалость к агонизирующему Спасителю - несомненно, она лежала в основе всех крестовых походов, пыток, преследований, инквизиции Средневековья. Вечно жить с распятием на виду, постоянно и исключительно в присутствии этого страшного искупления - такие фанатики, как Галеотто, забыли пример жизни Христа в ужасе и жалости Голгофы. Месть врагам Божиим! Месть предателям, которые все еще колот и распинают вечно нового жертвенного Бога и Жертву! таков был тон средневекового благочестия. И зараза этого фанатичного чувства убивала армии Востока, бросала альбигойских младенцев на острия копий, поджаривала перед ряжеными солдатами благочестивых женщин Водуа; мученики святого Варфоломея и мученики Смитфилда были изрублены и сожжены его силой; и из его арсенала инквизиция черпала свое самое смертоносное оружие.

Таким образом, Галеотто, которого не трогали страдания людей, которые, будучи ему преданными, умирали, голодали и горевали ради него, тем не менее, не был лишен своих личных планов святости и воинствующей преданности. Высокие мысли рождались в этом узком уме, когда в перерывах между покаянием и службой владыка Римини прогуливался по монастырскому саду. Каким бы монахом он ни был по жизни и чувствам, у него тоже были свои амбиции; у него тоже было свое дело, которое нужно было выполнить. И вот он решил, что евреи должны быть изгнаны из Римини.

Шли месяцы, и в мозгу затворника созревали детали его плана, а тем временем враги все теснее смыкались вокруг него, и не было вождя, который мог бы повести в бой немногочисленные отряды; с каждым днем гибель надвигалась на город все ближе, и теперь или никогда, но решающий шаг должен быть сделан. Галеотто по-прежнему молился и мечтал в своей келье в Арканджело. Но в Римини появился неожиданный избавитель. Однажды осенней ночью 1430 года, втайне от большинства горожан, от ворот города была предпринята отчаянная вылазка. Короткий, резкий, неуверенный конфликт в пугающей темноте, и удивленные войска были отброшены назад, не подозревая о малочисленности нападавших. А когда на рассвете завоеватель ввел свои войска в ворота, раскрасневшийся и торжествующий, народ высыпал на улицы, чтобы посмотреть на него и благословить, восклицая, что вернулись великие дни Карло и Верручио; и вот спасителем города оказался брат и наследник Галеотто - мальчик Сигизмوند, или Гисмондо, Малатеста, которому еще не исполнилось и тринадцати лет!

То ли Папа и наступающие войска поняли, что наконец-то у них появился серьезный враг, с которым можно иметь дело, то ли тронутые состраданием к столь юной дерзости, они заключили мир с Римини всего через несколько дней после удачной вылазки. Это был действительно разорительный мир; потеря многих обширных земель и территорий в обмен на признание истинного права на Римини, Фано и Чезену этих узаконенных Малатеста. Но народ был благодарен за любой мир, и Галеотто легко уступил, видя в этом возможность доказать свое благочестие. Он подписал договор в расчете на то, что Святой Отец уполномочит его изгнать евреев из Римини.

Это был жестокий шаг. Эта равнина на берегу Адриатического моря долгое время была прибежищем для изгнанного народа, который принес сюда свой гений к богатству, свою промышленность и свое изобилие. Галеотто было ясно, что судьба Римини связана с присутствием этих терпеливых и долготерпеливых изгнанников. Они не дали повода для справедливой обиды; они, действительно, предложили оплатить тяжелую амнистию, которую требовал Папа; и изгнание их еще больше ослабило бы разрушенный войной город. Папа, конечно, все это понимал, но ни благодарность, ни политика, ни сострадание не волновали фанатика Галеотто. "Лучше умереть с голоду", - думал он, - "чем благоволить врагам Христа". И вот закон был принят, и когда зима усугубила тоску на широких песчаных равнинах, разоренных войной, из города, который они обогатили, отправился меланхолический поезд несчастных изгнанников, изгнанных и разоренных не по своей вине, не имевших дома и оставивших позади себя, выкорчеванные и бессильные, как казалось, состояния маленького городка.

Так гласил указ, и многие отправились в изгнание, но едва исход завершился, как Галеотто умер. Его посты и бичевания, его долгие бдения исчерпали его жизнь в двадцать лет. Ни один отшельник Фиваиды не жил более скупой и скудно, чем этот принц языческого возрождения. Его отнесли к могиле в монастырском церковном дворе так же просто, как и любого другого брата; четыре монаха ордена несли его тело, держа в руках горящие факелы. Они упокоили его, бедного полусумасшедшего, самозабвенного мечтателя. И все люди

оплакивали его, прощая ему обиды, потому что он был святым, а также, возможно, из-за каких-то благородных качеств в его испорченной натуре, которые не дошли до нас через пропасть лет. Ведь его девственная вдова Маргарита Эсте любила его и оплакивала все дни своей долгой жизни, никогда больше не выходя замуж и молясь на смертном одре, чтобы быть похороненной у его ног; и город гордился Галеотто Святым. Тем не менее, теперь, когда он умер, жизнь казалась более возможной.

Галеотто едва успели похоронить, как на город обрушились новые беды. Урбино и Пезаро осадили Лунгарино, одну из вотчин Риминезе. Горе и страх вновь пробудились в измученном и обедневшем городе; но в этой беде Сигизмунд увидел свой шанс. Он уже не знал, что делать, и впадал в уныние и растрачивал себя под властью двух вдов, своей невестки и тетки. Он, завоеватель в тринадцать лет, в пятнадцать наверняка был способен управлять городом. Нетерпеливому мальчику пришла в голову дерзкая идея, которая, как он знал, должна была повысить его благосклонность к народу, как бы ни сетовали на это дамы-регентши. Он скрытно бежал из Римини и, оповестив своих старых приверженцев, собрал их за стенами, а набирая новые батальоны по мере продвижения к Лунгарино, одержал там грандиозную победу - победу, которая полностью разгромила Урбино и Пезаро и доказала, что Сигизмунд Малатеста - один из самых доблестных чемпионов Италии.

После этого не могло быть и речи о петтикоатском правительстве. И дома, и за границей этот пятнадцатилетний юноша утвердил свое право как на управление, так и на сражения. В том же году (1432) он примирил Римини с папой и заключил союз с Венецией. В новой дружбе с великим морским городом он обручился с дочерью Карманьолы, получив заранее часть приданого. Но за этим обручением быстро последовали позор и казнь Карманьолы, и характерно для Гисмондо (не менее вероломного, чем храброго, не менее хваткого, чем щедрого), что, отказавшись вступить в союз с дочерью предателя, он так же отказался вернуть ей приданое.

В следующем году последовало, как казалось, более знаменательное обручение, когда Сигизмунд обручился с Джиневрой, сестрой Маргариты, вдовы его брата, и дочерью его друга и союзника, могущественного маркиза из Эсте. И обручение, и свадьба прошли с большим размахом; Сигизмунд-император в том же году остановился в городе; это был повод для пышных празднеств. Казалось, в Римини наступили новые и лучшие времена; а когда папа передал семнадцатилетнему Гисмондо командование церковными войсками и вернул ему часть конфискованной территории, стало ясно, что удача обеспечена.

Гисмондо умел быть щедрым и благоразумным. Перед отъездом в поход он подарил город и земли Чезены своему брату Доменико, полагая, что в любой предстоящей битве, в которой будут участвовать оба, Доменико должен будет встать на сторону сил, противостоящих Гисмондо, чтобы в любом случае удача не покинула Малатесту. Благоразумная, взвешенная тактика, достойная тех медленных кондотьерских сражений, когда война была такой же игрой, как шахматы, и соблюдать правила игры было так же важно, как и победить. Покинув свой город, Гисмондо с благосклонным покровителем под рукой отправился в путь в качестве солдата удачи.

В течение трех лет он почти непрерывно сражался, снискав себе огромную славу за дело Церкви, а также за свое собственное дело против герцога Урбино. А в 1438 году, получив наконец возможность немного посидеть дома в тишине, он обнаружил, что новый труд готов к его рукам. Гаттоло Малатеста, построенный скорее как дворец, чем как крепость, не обеспечивал им особой безопасности в случае войны. Гисмондо, не менее активный как военный инженер, чем как капитан или покровитель искусств, решил снести его и построить

на его месте Рокку по собственному проекту, которая должна была стать одной из сильнейших в Италии. Призвав на помощь Роберто Вальтурио, великого военного инженера Романьи, Сигизмонд начал строительство знаменитой Рокки, от которой сегодня осталась лишь башня, поблекшая и выцветшая под действием вековых морских ветров, поросшая лишайником и проросшая цветками: лишь башня на песке, изуродованная и оскорбленная современной тюрьмой, построенной против нее, частью которой она является.

Ибо Рокка вскоре изжила свое предназначение. По какому-то странному недосмотру, по какому-то незадачливому дилетантскому невежеству эта великая громада, первая построенная в Италии со времен изобретения артиллерии, была спланирована без учета изменившихся условий ведения войны. Только через шестьдесят лет более мудрый инженер изобрел систему бастионов, так что, при всей своей мощи, могучая Рокка Сигизмонда была в определенной степени пустой тратой труда. И все же с ее строительством связана целая история; через нее мы приближаемся к величайшему влиянию жизни Гисмондо; память о ней неразрывно связана с его собственной.

Пока Гаттоло, или дворец Малатеста, сровняли с землей, чтобы освободить место для новой крепости, Сигизмонд перевез своих домашних в Палаццо Роэлли на улице Санта-Кроче. Кроме слуг и секретаря, он взял с собой свою несчастную жену. Постоянно возмущаемая его неверностью, Джиневра д'Эсте имела причины не только для горя, но и для страха. Один ребенок умер, и у Гисмондо не было наследника от женщины, на которой он женился, чтобы объединить свой еще неустойчивый дом с могущественными владыками Феррары. Он страдал от ее присутствия, бесполезного и нежеланного.

Рядом с Палаццо Роэлли стоял Палаццо дель Чимиеро, где Франческо дельи Атти, купец знатного происхождения, жил в достатке и роскоши со своим маленьким сыном и оставшейся без матери дочерью Изоттой.

Странная девушка эта соседка Сигизмонда. Не красавица, судя по бюстам и медалям, запечатлевшим ее черты, - властное, решительное, упорное создание, налагавшее свое ярмо на всех, кто ее знал. Крепко сложенная, длинношеяя и худая, с, возможно, большими глазами, горящими под напряженно поднятыми бровями, некой лихорадочной, жаждущей красоты, оправдывающей общий панегирик ее современников. Выражение терпения, большого постоянства и выносливости в длинном губом, близко закрытом рте, с сильными линиями вокруг него, в длинном квадратном лице, в красивом решительном подбородке. Лицо выражает скорее характер, чем гениальность; в нем мы видим дальновидную решимость и терпение. Репутация великой образованности остается за Изоттой, несмотря на современные авторитеты, которые, основываясь на нескольких недостаточных доказательствах, уверяют нас, что она не умела писать. Каким-то образом, во всяком случае, чтением и письмом, или ученой беседой и одинокими размышлениями, эта Изотта приобрела известность среди женщин своего возраста за образованность и талант, за благоразумие и способность управлять.

Fœmina belligera et fortis: так описывает ее хроника Римини. Натура не безнравственная, но беспринципная, женщина, в которой воля, страсть и ум были достаточно сильны, чтобы уравновесить друг друга. Изотта добилась влияния на порочного, непокорного, страстного Гисмондо, которое возвело ее в положение в государстве, намного превосходящее положение законной жены; положение, в котором распущенная мораль ее века не видела ничего постыдного или отвратительного.

То, что Изотта чувствовала это, имеет множество доказательств. Если принять дату Баттальяни (1438 год) за истинное начало ее отношений с Гисмондо, она должна была быть

молода, определенно моложе двадцати лет, когда сделала первый роковой шаг по дороге бесчестия, по которой ей предстояло идти так долго. Молодая по возрасту, она была еще моложе, вероятно, в силу обстоятельств; эта молчаливая, замкнутая, задумчивая девушка, у которой не было ни матери, ни сестры, которой можно было бы довериться. Ее отец бушевал и бушевал, а потом простил ее: Я думаю, вспоминая одно ее умоляющее, жалкое, несчастное письмо, написанное пятнадцать лет спустя, что она не простила себя. Ни публичное соединение ее шифра с шифром Гисмондо, ни корпус придворных поэтов, занятых воспеванием *Изотты* во славу ее, ни медали, отчеканенные в ее честь, ни вечный памятник, приготовленный для нее, не могли заставить эту суровую гордячку забыть, что в конце концов она была любовницей только своего любовника. И разве не возмущалась бы она молча, горько, в глубине души, этим позором? "*Voliate avere chompasione a mi poveretta, diate vero spozamento piui presto che viui posette* - Пожалейте меня, бедную, - плачет она, - дайте мне настоящий брак так быстро, как только сможете. Ах, покончите с этим делом, которое всегда приводит меня в ярость. *Sempre me tene arabiatta*". Так она плачет на своем плоском, мягком диалекте; и, должно быть, плачет долго, бедная Изотта.

И все же он был по-своему верен ей. Он всегда возвращался к ней, доверял ей, рассчитывал на ее службу и самопожертвование. Никто не мог так хорошо управлять городом в его отсутствие, советовать ему, отказываться от всего ради него - драгоценностей, безопасности, самой чести. И в ответ он созвал великих художников, чтобы воздать ей честь, и учредил элегические *Isottæ*, натянутые и причудливые похвалы, согласно моде того времени, среди которых нет ни одной столь насыщенной, столь полной смысла, как у этого яростного, неверного, постоянного любовника. Сквозь причудливые устаревшие одежды то тут, то там проглядывает характер самого человека - его непокорная воля, его острая и болезненная чувствительность к красоте, его почти возвышенная самозабвенность и интенсивность. Мы видим, что это человек, который всегда чувствовал на себе взгляды потомков, и в то же время яростный, страстный, стыдливый человек; внезапно впавший в преступление, скептически относящийся к наказанию, но суеверный по своей природе; вибрирующий насквозь страстью, запятнанный наследственным коварством; полусумасшедший, но с оттенком гения и величия в этой хаотической массе злодеяний и мошенничества.

Внезапно наступил конец этой рифме - раскаяние. Страшное преступление на день-два остановило стихосложение и декламацию. 8 сентября 1440 года умерла бедная, неспособная к действию Джиневра д'Эсте, приняв (так гласили слухи) роковую порцию яда из рук своего мужа.

Теперь Сигизмунд был волен жениться на жене, которая принесет ему законных наследников; Изотта не могла сомневаться, что станет такой женщиной. Но Гисмондо, пылкий любовник и сочинитель стихов, был не из тех, кто упускает столь ценный шанс союза. Он уже владел Изоттой, а у нее не было влиятельных сторонников. В 1442 году он женился на Полиссене Сфорца, родной дочери Франческо Сфорца, этого великолепного солдата удачи, который уже был начеку, чтобы захватить (когда смерть предоставит ему такую возможность) богатое миланское герцогство своего тестя.

Такой шанс должен был представиться довольно скоро, но еще год или два после женитьбы Гисмондо старый Висконти держался в стороне, а отец Полиссены сохранял мир. Тем временем война затихала, и Гисмондо прекрасно продвигался в своей работе по перестройке Римини. В 1446 году Рокка была завершена, и в том же году он приступил к еще более смелому и великолепному начинанию. Старая церковь Сан-Франческо, готическое здание, не отличавшееся особой красотой, не нравилась его эллинизированной

гуманистической культуре. Для него она не представляла собой ничего - простая готическая церковь, возведенная монахами к Богу. Гисмондо решил превратить ее в храм - храм, номинально посвященный Святому Франциску, но на самом деле ставший вечным памятником Сигизмондо и Изотте.

Гисмондо призвал к себе на помощь величайших художников того времени: Маттео да Пасти, медальера, для исполнения больших мраморных медальонов с его изображением, которые должны были быть установлены повсюду в святом месте; Чьюффагни для статуй (неудачный выбор), Симоне Ферруччи для барельефов играющих детей, Агостино Дуччо, этот изысканный рисовальщик по мрамору, для вырезания в низком рельефе желто-белых дощечек с аллегорическими фигурами, чьи плавные линии плывущих и извивающихся драпировок, маленькие хорошо поставленные головы, прекрасное изящество поз и утонченный экзотический тип напоминают скорее позднегреческие барельефы, чем массивные, несколько приземистые формы Донателло и его школы, или угловатую изысканность Мино. Над всем этим Гисмондо поставил Леона Баттиста Альберти, человека почти столь же универсального в своих качествах, как и сам Леонардо. Альберти должен был стать архитектором и с помощью Маттео распределить между сотоварищами их части. Задача Альберти была не из легких, потому что Гисмондо - со вспышкой местного суеверия, которое так странно отразилось на его язычестве, - отказался разрушить освященные стены старого здания. Архитектор должен был построить свой эллинский храм на каркасе готической церкви XIII века. К счастью, форма раннего здания, его широкий неф и простое святилище, не сильно отличающееся от римской базилики, сделали преобразование в пределах возможного, и Альберти, похоже, наслаждался сложностью своей задачи. Возможно, в этом стремлении соединить в одно великолепное целое противоположные характеры готического средневековья и греческой античности он увидел возможность увековечить дух своего времени, и результат оказался успешным. Он построен, этот храм Римини, из римских камней из Классиса, античных плит из Греции и из адриатической глины, давно сплавленной благочестивыми руками. Снаружи возвышаются августовские арки, укрывающие саркофаги философов, а внутри свет из средневековых окон падает на алтарь христианского святого. Языческая церковь с остроконечными готическими арками, возвышающимися на скульптурных классических колоннах, великолепная аномалия, оригинальная прежде всего сочетанием противоположных элементов, - это тип итальянского Ренессанса.

Не найдя возможности повернуть готический фасад с его глубоким крыльцом и розарием в классическое русло, Альберти решил заключить его в мраморный корпус, удаленный от первоначального строения почти на четыре фута. Теперь он мог свободно планировать свой фасад, необычайно простой по дизайну, но торжественный, красивый и величественный в своей простоте. От цоколя высотой в грудь, дающего благородное основание всему сооружению, начинаются три арки, центральная из которых больше остальных и рельефнее; пролет всех трех чрезвычайно широк, их пропорции заимствованы у римской арки Августа, расположенной неподалеку. По углам фасада и по обе стороны от центральной арки стоят четыре рифленые колонны с пышными капителями; поднимаясь от цоколя, они поддерживают тяжелый карниз с глубокими тенями. Между капителями колонн и спандрелем арок подвешены скульптурные вотивные венки, всего шесть штук. От глубокого карниза вверх поднимается фронтон, незаконченный и неровный, его опорные колонны не завершены. Над ним должен был возвышаться купол, перекрывающий своим широким пролетом всю церковь, но вместо него временная крыша до сих пор закрывает так и не заверченный шедевр.

В пустоте между фасадом и старой кирпичной облицовкой находится гробница Сигизмонда, доступная изнутри. Но на боковых фасадах такого пространства нет, так как здесь круглые широкие арки не просто рельефны, а отделены: в углублениях установлены большие каменные саркофаги, стоящие на красно-угловатом цоколе. В них покоятся кости гуманистов и философов двора Гисмондо. При строительстве храма было предусмотрено место для четырнадцати саркофагов, в которых должен был покоиться самый почетный прах в Италии, но судьба незавершенности, постигшая храм, не пощадила этот грандиозный замысел. Только семь гробниц стоят на цоколе, семь других пустых арок не хранят прославленных усопших.

Пройдя через низкую дверь под центральной аркой фасада, мы поражаемся богатству и странности внутреннего убранства, вдвойне впечатляющего после суровости снаружи. В нефе расположены восемь боковых капелл, окруженных высокой балюстрадой; по четыре с каждой стороны, две центральные - в двойных пролетах, а значительное пространство стены отделяет первую и последнюю по обе стороны от них. Стена между арками, разделенная стройными колоннами, окрашена попеременно в бледно-морской зеленый и светло-красный цвета; фриз имеет те же оттенки; через него перекинuty тяжелые фестоны из желто-белого мрамора. Скульптурные колонны и перила капелл также окрашены в подобные нежные цвета. Барельефы играющих детей Ферруччи выделяются на фоне бледного, неглазурованного, зеленовато-голубого цвета, под ними балюстрада просто белая, а под нежными нетонированными низкими рельефами Агостино перила из богатейшей темно-красной брекчии, искусно украшенные двуглавыми слонами. За грубыми фигурами Чьюффагни фон тускло-золотой, а со всех сторон то тут, то там по желтоватому мрамору расплывается тусклый золотой оттенок. На фризе, на щитах путти, над дверными проемами, на колоннах и гробницах, над самыми головами святых в их капеллах мы находим двойной шифр Сигизмонда и его госпожи. Сами святые не в безопасности. Изотта носит мантию и крылья святого Михаила. Над балюстрадами часовни расцветает ее роза, а на колоннах вырезан образ Сигизмонда. Так что от пьедестала до карниза вся великая церковь - единый памятник страсти, бросившей ей вызов.

Многие великие художники трудились над завершением красоты храма Сигизмонда; но до недавнего времени имя скульптора самой совершенной из этих панелей оставалось неустановленным.^[110] М. Ириарте сказал нам, что мы обязаны ими некоему флорентийскому резчику Агостино ди Дуччо. Факт несомненный. Так и не прочитав драгоценную книгу месье Ириарте, я приехал в Римини прямо из Перуджи, прямо от чудесного фасада Сан-Бернардино, созданного Дуччо. Этот фасад, эти фигуры, столь восхитительные в своей осанке, эта размашистая драпировка, полная сложных линий и гармонии, эти головы, маленькие и изящные, с экзотической красотой и восторженным выражением лица, произвели на меня самое сильное, самое стойкое впечатление. Через несколько дней, обнаружив в украшениях двух капелл в Римини ту же странную поэтическую грацию, тот же изысканный настрой, те же волнистые линии, низкий рельеф и классическое чувство, я не мог не узнать мастера. И так же, без сомнения, поступили многие другие случайные путешественники, такие как я, не имеющие авторитета без М. Ириарте и его документов - хотя без документов сам факт, безусловно, ясен. Ведь существование двух памятников, столь поразительно оригинальных и необычайно похожих друг на друга, как Сан-Бернардино в Перудже и капелла Сан-Гауденцио в Римини, несомненно, должно быть заслугой одной руки. Сами детали орнамента, характерные круглые взмахи драпировки, словно развевающийся на ветру шарф; чрезмерная низость рельефа, почти как будто нарисованного на камне; тип головы с вдохновенным взглядом и часто раздвинутыми губами - все это грации, даже манеры одного мастера. По странной красоте выражения этих фигур

можно было бы предположить, что этот мастер - сиенец, если бы не авторство Сан-Бернардино, выгравированное на лицевой стороне: Opus Augustini Florentini Lapididæ, MCCCCLXI. Трудно представить, как флорентиец, ученик Донателло, мог приобрести такую высокую и стройную строгость форм, такую изысканную свободу руки; он также не заимствует свой стиль из школы Роббиа. В своих отличительных чертах его манера не похожа ни на одного из великих итальянских мастеров. Смелая гипотеза позволяет с удовлетворением предположить, что среди множества мраморных плит и крышек, привезенных Гисмондо из Греции для строительства храма, мог оказаться какой-нибудь драгоценный фрагмент классического барельефа, не упущенный из виду зорким глазом резчика и скульптора, который впоследствии проявил себя мастером среди мастеров своего времени, сначала в Римини, а затем в Перудже.

Сюжеты этих эскизов Дуччо волновали многие поколения. В капелле Святого Таинства декор составляют планеты, двенадцать знаков Зодиака и ряд великолепно обработанных животных. В капелле Сан-Гауденцио сюжетами являются Музы, Добродетели и другие аллегорические фигуры. М. Ириарте доказал, что это странное собрание иллюстрирует длинный отрывок одной из поэм Гисмондо к Изотте; и, вероятно, Альберти, который сам был автором, дал этот отрывок Дуччо для текста. Серия из тридцати шести изысканных барельефов не поддается подробному описанию, но я советую всем любителям скульптуры эпохи Возрождения приобрести хотя бы фотографии "*Дианы*", "*Земледелия*", "*Медицины*", "*Ботаники*" и "*Поэзии*" Алинари из Римини и сравнить их с утонченным рисунком женщины, подхватившей у колен складки своей развевающейся на ветру мантии, с фасада Сан-Бернардино.

Сигизмунд заставил спешить служивших ему художников. Этот храм, краеугольный камень которого был заложен в 1446 году, по его искреннему желанию должен был быть готов к службе и освящению в 1450 году, в год великого юбилея в Риме. И это действительно было сделано; купол еще не был запланирован, и плоская деревянная крыша венчала здание; трансепт был едва начат; фасад оборван почти у основания фронтона; но неф с его пролетами был закончен, являя собой чудо скульптуры и цвета. И как он был открыт в 1450 году, так мы видим его и сегодня.

Странная это была церемония, должно быть, - юбилейная служба в новооткрытом храме. Прелаты и великие сановники церкви собрались, потрясенные, в этом великолепном святилище Дивы Изотты, которое чуть позже Папа должен будет представить как абсолютное и достаточное доказательство язычества его основателя. От дверей до трансепта, от пьедестала до карниза - ни одного воспоминания о Христе; только повсюду I.S. Изотты и ее любовника, насмехающихся над священной [монограммой](#), и роза любовницы принца там, где должен был быть терновый венец. Сама дива Изотта должна была быть там во всем своем великолепии; из своего личного кошелька она выделила средства на часовню Святого Михаила, где ее изображение украшало одеяния святого, где, увенчанный гербами Сигизмунда и стоящий на малатестанских слонах, стоял ее саркофаг. Там же должна была находиться и несчастная Полиссена, обреченная наблюдать этот триумф своей соперницы, обреченная восхвалять часовню в честь Изотты, но не видя во всей этой великолепной церкви ни уголка, посвященного ей самой, ни памятника погибшей Джиневре.

Незадачливая Полиссена! В это время ее муж договаривался с папой, чтобы тот узаконил его детей от Изотты. У нее не было детей. Еще до этого зловещего праздника ее муж затеял в Милане войну за наследство против ее отца. Ее претензии к нему рушились одна за другой. И когда был заключен мир, и Папа дал Сигизмунду с Синигальей узаконить своих детей, она, должно быть, с горечью подумала о том, что Джиневре пришел конец. И действительно,

через несколько недель после этого она тоже внезапно и страшно умерла. На этот раз не от яда, как гласила молва. Говорили, что Гисмондо задушил ее салфеткой.

Тогда никто не осмеливался обвинять его. Он был на пике своего могущества и грозного триумфа - на вершине, кульминации, дальше которой нет подъема. И все же уже тогда у него появился смертельный враг, презираемый сейчас, но умеющий ждать. Не Сфорца, который, похоже, воспринял потерю дочери со странным безразличием. Именно вероломство, а не жестокость Сигизмонда погубили его. Призванный сражаться за Аррагон в войне за миланское наследство, он получил авансом большую часть своего жалованья. Тогда флорентийцы попытались склонить его к отказу от верности. С истинно тосканской пронизательностью они выбрали своим агентом не Медичи, не роскошного денежного мешка или чопорного генерала, а гуманиста Джаноццо Манетти. Его и его редкие рукописи они отправляют в лагерь Гисмондо; и пока ученый беседует с великим капитаном, он показывает ему такой-то и такой-то драгоценный греческий фрагмент, или совершенную копию Вергилия, или платоников, указывая без слишком явного умысла на превосходство культуры Флоренции над варварским Аррагоном. Гисмондо, очарованный, попался в ловушку. На следующий день он дезертировал во Флоренцию, отказавшись, кроме того, вернуть огромное жалованье, которое он получил от герцога Аррагонского за услуги, которые так и не были оказаны. В то время не было и речи о возмещении ущерба этому принцу; но время возмездия должно было наступить.

А пока Сигизмонд, неосмотрительно полагая, что сможет найти небо и землю между своей храбростью и вероломством, получал все новые и новые деньги за предательство. Едва был подписан мир в Лоди (в 1454 году), как он нанял себя и свои войска для Сиенской республики в их ссоре с владыкой Питтильяно. Он снова дезертировал к врагу, думая заключить с ним более выгодную сделку. Сиенцы отправили ему прошение об отставке, "в выражениях великой учтивости и надменности", но донесли о его предательстве всем великим державам, с которыми они были в союзе, включая Аррагон. Тот, усмотрев в этом двойном доказательстве предательства достаточный повод для ссоры, послал Пиччинино, величайшего солдата удачи своего времени, к стене Римини. Однако все еще не было потеряно, ибо Сфорца пришел на помощь своему зятю. Если бы Сигизмонд остался при своем мече, все могло бы обойтись благополучно; но с недавних пор он стал искушенным в коварном ремесле предателя. Он отправил тайное послание Рене, королю Анжуйскому, с предложением в обмен на помощь вторгнуться в Неаполитанское королевство, изгнать Альфонса Аррагонского и вернуть его Анжуйцам. Рене согласился и высадился в Генуе, но только для того, чтобы узнать о внезапной смерти Альфонсо. Сфорца, узнав все подробности плана, вывел свои войска из Римини, раз и навсегда отстранившись от предателя, призвавшего французов для улаживания своих раздоров; ведь у Сфорцы, как мы знаем, были причины желать добра родственнику Карла Орлеанского по ту сторону Альп. В этот момент престолонаследие сиенца Инеаса-Сильвия Пикколомини на папском престоле под титулом Пия II оставило Гисмондо без друга в Италии, спустя пять лет после его побед в войне и мире в славном 1450 году.

Времени на строительство храма оставалось мало. До Сиены Гисмондо развлекался тем, что рисовал планы купола в перерывах между битвами и предательскими депешами. Теперь он находил себе занятие в том, чтобы держать Пиччинино на расстоянии. Анжуйцы были бесполезны; они только отвратили симпатии Италии от его дела. Говорят, он даже пытался склонить на свою сторону всеобщего врага христианства, самого Великого Турка. Неизвестно, до чего бы он не дошел в своем одиночестве, бессилии, стремительном

отчаянии и вызывающей гибели; не исключено, что он помнил примеры Карло Дзено и великого Висконти. По крайней мере, один хороший и мудрый поступок совершил Гисмондо в эти страшные годы бесстрашной борьбы. Он женился на верной Изотте, которая оказалась доблестной защитницей и регентшей своего города.

Тем временем папа римский записался в активные враги Сигизмонда. Сиена была отомщена. В торжественной обстановке на улицах Рима было сожжено чучело Гисмондо Малатесты; против него были объявлены интердикт и отлучение от церкви. Отцеубийца, убийца стариков и невинных женщин, прелюбодей и кровосмеситель, князь предателей, враг Бога и человека - так гласили условия этого грандиозного обвинения. Но Папа не ограничился одними обвинениями. Он пригрозил анафемой не только Гисмондо, но и любому народу или армии, которые придут ему на помощь. Обездвижив таким образом своего врага, он направил свои войска против Римини.

Сигизмонд, обезумевший и отчаявшийся, тщетно искал союзника. Сиена, Арагон, Флоренция, Милан - все были враждебны или в лучшем случае нейтральны. И все же помощь должна быть найдена. Почти в одиночку, навстречу сотне опасностей, Гисмондо отправился через Апеннины в Неаполитанское королевство на поиски своих роковых друзей - анжуйцев. Но от них он не получил ни помощи, ни даже обещания. В Римини, отчаявшись, поспешил несчастный Сигизмонд. Обнаружив, что города еще держатся, он вышел к морю и направился в Венецию, молясь в своем крайнем отчаянии о помощи, о защите. И венецианцы, связанные с ним старыми узами, действительно оказали ему небольшую помощь. Благодаря этой помощи он избежал смерти и страшного разорения. Папа заключил с ним мир, но только при условии, что он и его брат Доменико публично покаются за свои проступки в Риме, отказавшись от всех своих владений, кроме столиц и нескольких замков, которые также должны перейти к Святому престолу после смерти их нынешних повелителей. И на эти условия он согласился. Теперь у некогда триумфатора Сигизмонда не осталось ничего, кроме его меча и города. Оставив Римини на попечение стойкой Изотты - *foemina belligera et fortis*, - он нанялся к венецианцам, чтобы вести их войска против турок в Морее. Здесь слабая тень его былой славы некоторое время играла вокруг него; а в 1465 году Гисмондо вернулся в Римини, обогащенный, и привез с собой как самое дорогое имущество кости Гемиста Плето, платоника, чтобы поместить их в первый саркофаг храма.

В течение года Пий II. умер, и в Ватикане воцарился Павел II. Новый понтифик призвал Сигизмонда в Рим и заключил с ним, как казалось, самый выгодный договор. Но не успел Гисмондо вернуться в Римини, как папа, завидуя Венеции, предложил ему уступить свой город Риму в обмен на Сполето и Фолиньо. Когда Сигизмонд понял это предложение, его охватило настоящее безумие. Уступить Римини, город, который он спас в тринадцать лет, за который сражался с тех пор, на благоустройство которого потратил всю свою жизнь и состояние! Он, Изотта и его сыновья отправляются в изгнание в болота Фолиньо! Римини, с Роккой и храмом его постройки, с гробницами вековых предков - Римини, с его солями и морскими побережьями, - и это все? Сигизмонд не послал ответа Папе; но, обезумев, в горячечном бреде, он день и ночь ехал в Рим. Его сопровождающие заметили, что он никогда не спал, что он сжимал под плащом кинжал, никогда не расслабляясь. Прибыв в Рим, он сразу же отправился в Ватикан, требуя личной аудиенции; но папа, предупрежденный, возможно, назначил встречу на утро. Затем он принял владыку Римини, охраняемого огромным количеством принцев и кардиналов. Сигизмонд не ожидал такого приема. Дико озираясь и все еще сжимая неэффективный спрятанный кинжал, которым он не мог воспользоваться, он выдвинул все возможные условия, поскольку месть была невозможна. В конце концов ему было предоставлено право остаться в Римини, но под предлогом

получения должности капитана войска Папа держал его вдали от дома, занимаясь мелкой партизанской войной. Через год лихорадка охватила его с новой силой. Он вернулся в Римини, в Изотту. Обнищавший, без друзей, бессильный, этот город, по крайней мере, был для него родным, чтобы умереть в нем. Его последние мысли были об Изотте и ее детях, оставшихся без друзей в недобром мире. Так он и умер, великий Малатеста.

110. Я пользуюсь случаем, чтобы выразить большую благодарность очаровательному и тщательно проработанному труду М. Ириарте "Кондотьер XV века, Гисмондо" (Un Condottiere du XV. Siècle, Gismondo Malatesta).

Дамы Милана.

"CHERCHEZ LA FEMME".

Когда Галеаццо Мария, герцог Миланский, был убит в церкви на Рождество бандой героев, его братья, герцог Бари и Лодовико иль Моро, отсутствовали в посольстве во Франции. Во главе дел стоял Чекко Симонетта, с давних пор секретарь и министр сначала графа Франческо, а затем его сына. Прожив столько лет в семье, Симонетта знал, как сильно дети его покойного хозяина должны бояться своих дядей. Одним росчерком пера он изгнал герцога Бари и Лодовико иль Моро.

Это произошло в 1476 году. В течение трех лет в Милане все шло хорошо. Симонетта так долго направляла ход дел, что смерть герцога мало что изменила во внешней политике государства. Галеаццо Мария называл себя гибеллином, Чекко Симонетта осмелился, наконец, объявить себя гвельфом; но при одном из них, как и при другом, курс Милана оставался либеральным и французским. В городе стало меньше убийств, меньше зловещих историй, чем рассказывали при жизни красивого, жестокого, дилетанта герцога. Его вдова, герцогиня Бонне, опекала своих детей и вела приятную жизнь в своем прекрасном дворце, где, как вспоминал Комминс, она пользовалась большим авторитетом. У нее было двое маленьких мальчиков и девочка; у нее были прекрасные советники, двор, полный поклонников, красивые наряды и преданный любовник.

И все же герцогиня не была удовлетворена. Бонн де Савуа была пустой наперсницей, тщеславной и беспокойной, как и нравы ее дома. Во дворце был молодой человек, который сидел перед ней за столом, - Антонио Тассино, авантюрист из Феррары, "весьма низкого происхождения", некрасивый, но с изяществом и воздушностью в манере носить свой плащ. Это был любовник герцогини, и не было никакого государственного дела (говорит Корио), но она посоветовалась со своим резчиком, прежде чем разрешить ему пройти. Неудивительно, что Симонетта - старый государственный деятель, сохранивший достоинство, несмотря на свой либерализм, - был скандализован важностью Тассино. Не менее легко представить, как преуспевающий Феррарезе был раздражен пренебрежением Симонетты. Так оно и вышло; и скорее по злобе, чем по убеждению, Тассино стал вождем гибеллинов в Милане, намереваясь лишь добиться падения Симонетты. Его влияние на герцогиню было столь велико, что в конце концов он убедил ее в частном порядке отозвать брата ее мужа, Ил Моро

- Сфорца, а значит, предположительно гибеллина, - который в тот момент участвовал в войне в Генуе.

Все последующее похоже на отрывок из какого-нибудь старинного приключенческого романа. Герцогиня посылает в Геную к Иль Моро, который, приехав ночью в Милан, тайно впускается герцогиней и ее любовником через садовые ворота дворца. Лодовико возвращается не один; Бари мертв, но вместо потерянного брата за ним по пятам идет Роберто ди Сансеверино, великий капитан, смельчак, неисправимый: человек, которого Симонетта сослала вместе с сыновьями Франческо Сфорца, гибеллинец *в отставке*, личный враг Чекко. Именно этих людей Бонна, утомленная респектабельностью своего старого советника, позвала домой, "по простоте душевной", как утверждает Комминс, "полагая, что они не причинят вреда упомянутому Сеско, и, по правде говоря, они оба поклялись и пообещали".

Когда Сансеверино и Иль Моро оказались в безопасности во дворце, герцогиня послала за Симонеттой и рассказала ему обо всем, что сделала. Должно быть, она встревожилась, увидев ужас и оцепенение на лице верного секретаря.^[111] "Герцогиня Иллюстриссима, - сказал тот со спокойствием отчаяния, - он отрубит мне голову, и все; еще немного времени, и он отправит вас в тюрьму!" Вероятно, герцогиня вспомнила эти слова, когда на третий день после возвращения Иль Моро и Сансеверино заставили человека, подписавшего их изгнание, провезти по улицам Милана в бочке из-под вина, а затем - все еще в этой нелепой тумбе - доставить в крепость Павии. Там Симонетту заключили в тюрьму, но как только он оказался в воротах, его участь, похоже, изменилась. Лодовико иль Моро часто ездил в Павию, чтобы посоветоваться со старым мудрым государственным деятелем и узнать его взгляды на мир. Он ездил так часто, что миланцы начали роптать и говорить, что Лодовико, отозванный гибеллинским *переворотом*, - замаскированный гвельф. Чтобы успокоить их на этот счет, в октябре 1480 года Лодовико намекнул Симонетте - не без многочисленных извинений, - что в угоду народным предрассудкам он должен даже согласиться потерять голову. И в том же месяце первая часть пророчества секретаря сбылась.

Вторая половина на некоторое время задержалась. Герцогиня Бонн не находила причин жалеть о шаге, избавившем ее от неудобного старого слуги. "Они очень уважительно относились к даме, стараясь во всем угодить ее юмору", - рассказывал Комминс, который знал их всех.

"Но все важные дела они отправляли вдвоем, посвящая ее только в то, что было им приятно; и не было для них большего удовольствия, чем ничего с ней не сообщать. Ибо они разрешили ей давать этому Антони Тассино все, что она пожелает; они поселили его рядом с ее покоями; он возил ее верхом за собой по городу; и в ее доме не было ничего, кроме пиров и танцев". Герцогиня никогда не вела более счастливой жизни; но все это веселье продолжалось всего полгода. Однажды Лодовико взял своих маленьких племянников погулять по Милану; дети всегда интересуются военными делами; он повел их в Рокку - неприступную крепость - и завел их внутрь; домой он их не привел.

Английские читатели знают, чего можно ожидать, когда в Средние века амбициозный дядя оставляет двух маленьких принцев в Тауэре. Но ни один полуночный убийца не оборвал дни Джангалеаццо и его брата Эрмеса. Они были полезнее своему дяде, живя - по крайней мере, до тех пор, пока он не упрочил свое положение: ведь в настоящее время он правил в Милане только как воспитатель и регент маленького герцога. Но под каким бы титулом он ни правил, он правил эффективно, и вскоре он избавил свой дворец от слезливого и легкомысленного присутствия мадам Боннэ, которую он изгнал из герцогства "за безнравственность" и

которая с неумелыми уговорами и запятнанной честью нашла не слишком рыцарское убежище при дворе своего шурина, Людовика XI Французского, человека, нетерпимого к неудачливым женщинам.

Тем временем Лодовико иль Моро процветал в Милане. Под его культурным и достойным правлением он превратился в волшебный город, столицу шедевров. Там в 1483 году поселился Леонардо да Винчи, отлил бронзовую статую Франческо Сфорца, писал картины и основал школу ломбардских живописцев, не менее изысканных, загадочных и чувственных, чем он сам. Хор певчих, которых Галеаццо Мария Сфорца переправил через Альпы, увеличился, и пение и игра в Милане стали известны. Храмы и дворцы возникали как по волшебству, а ученые гуманисты - мужественные римляне, бородатые греки, проникательные восточные люди - из всех центров знаний мира приезжали читать лекции по праву, науке и классике в блистательный Милан. Двор Венеры, по словам Корио, не был менее выдающимся, чем двор Минервы. "Все были готовы предоставить свои лучшие и прекрасные черты двору Купидона; отцы - своих дочерей, мужа - жен, братья - сестер". А распущенность ломбардских нравов, скандализировавшая в 1471 году двор Лоренцо Медичи, была не менее заброшена, не менее роскошна, хотя более естественна и свободна от жестокости под скипетром регента Лодовико, стоящего во главе этой княжеской свиты, человека величественного, обходительного, всезнающего, как любой герцог из шекспировских пьес.

И все же настоящего герцога редко видели и редко слышали. Было вежливо полагать, что он еще ребенок. Тем не менее все знали, что он родился в 1469 году среди невероятного ликования; многие видели великого Лоренцо Медичи, когда он приехал на крестины, и смотрели на великолепное бриллиантовое ожерелье, которое он подарил герцогине. "Ах, вы будете крестным отцом всех моих детей!" - с сердечной *наивностью* восклицал герцог Галеаццо Мария. И вот - ах, месть времени! - герцог убит, герцогиня в изгнании, а младенец, которого приветствовали все, - скорее пленник, чем подопечный в руках честолюбивого регента!

Люди начали роптать, и когда Джангалеаццо исполнилось восемнадцать, его дядя обнаружил, что больше не может откладывать его женитьбу. Много лет назад ребенок был обручен с Изабеллой Аррагонской, внучкой короля Неаполя. Она приехала в Милан в 1487 году. Чуть позже сам Лодовико женился на молодой жене, Беатриче, дочери Эрколе д'Эсте, герцога Феррары.

Пока во главе миланского двора не стояла женщина, не было и раздоров. Молодой герцог, наполовину пленник, с собачьей покорностью относился к своему тирану; он был доволен тем, что уступил свое место и сохранил свой титул; а Лодовико был доволен тем, что получил место без имени. Но Изабелла Аррагонская была неаполитанкой и испанкой - натура страстная, высокомерная, напряженная. Напрасно она убеждала мужа отстоять свои права. Он пообещал то, что она хотела, а затем признался в их разговоре своему дяде. Когда родился ребенок, а на троне, который должен был стать ее трон, все еще сидела невеста Лодовико, Изабелла не могла больше хранить терпение. На этот раз она обратилась не к мужу - прекрасному юноше, мягкому, как шелк, невинному, как цветы, неспособному на месть или решительность; она написала отцу и деду в Неаполь, людям, настолько непохожим на него, насколько это вообще возможно. Она отстаивала свои права ("essendo giovane di grand' animo"); она рассказывала им о невыносимом иге Лодовико, о том, что ее муж, взрослый мужчина и отец, все еще находится под опекой. Она рассказала им, несомненно, через своего посланника (в ее письме нет ни слова личной жалобы) то, о чем рассказывает Корио: что среди всей миланской роскоши герцог и герцогиня с трудом добывали самое

необходимое для жизни. В старом доме герцогини было много возмущения, и Альфонсо написал Иль Моро, требуя трон и управление Миланом для своего зятя. "Выставляете мою дочь на посмеище - неужели мы будем терпеть, что нашу кровь презирают?"^[112] Лодовико, как это было в его манере, ответил мягко. Год или два прошли в проволочках и упреках; но в 1493 году Неаполитанский дом, защищая молодого герцога, объявил войну миланскому регенту.

В другом месте я уже рассказывал об ужасе и тревоге того часа; о ярости Лодовико - ярости, не смешанной с радостью и предчувствием успеха; о гневе его молодой жены, решившей не покидать свой трон и отнять, наконец, у презираемой ею Изабеллы то единственное, что она до сих пор не осмеливалась у нее отнять: титул герцогини. Мои читатели знают, как, с одной стороны, Лодовико отправил императору письмо, признавая незаконность притязаний Сфорца и умоляя его (за определенное вознаграждение) даровать его заново; как, с другой стороны, он отправил во Францию напоминание Карлу VIII. о притязаниях французов на Неаполь; и как французы в сентябре перешли Альпы; и как в сентябре же, очень тайно, в Милан прибыла императорская инвентура; и как на следующий день после ухода французов из Милана молодой герцог умер (Теодоро ди Павия обнаружил в его теле явные признаки яда); и как народ, потрясенный соседством французов, был научен прославлять Лодовико, освященного таким образом как императорской привилегией, так и гласом народа; так что он наконец стал править в Милане как герцог.

Тем временем Изабелла с маленьким сыном скиталась в изгнании, тщетно ища сторонников. Успех улыбнулся ее сопернице, Беатриче, матери двух сыновей, каждый из которых после многих приключений должен был стать герцогом Миланским. В сентябре 1496 года, пока Изабелла с ребенком на руках убеждалась в тщетности сопротивления, Беатриче в Виджевано развлекала Максимилиана. Великий император был в то время тридцатисемилетним мужчиной с длинными белесыми волосами, одетым в длинный черный бархатный плащ, черную шерстяную французскую шапочку, черные чулки и рукава; он не носил никаких украшений, кроме маленькой золотой цепочки с орденом Золотого руна. Он дал себе зарок не носить ничего, кроме черного, пока не сможет похвастаться турецкой победой. Но, каким бы меланхоличным и мрачным Дон Кихотом он ни казался, Максимилиан был не менее императором, и дневник Марино Сануто показывает нам, с какой пышностью герцог и герцогиня Миланские принимали его.

Это великолепие стоило очень дорого. Мало того, что оно вынудило герцога обложить своих подданных непосильными налогами (*grandissime exstrusione a li so populi*), так они еще и были похожи на отчаявшихся людей, желающих любых перемен. Если расходы на это развлечение были оплачены слезами, то не меньшую цену следовало заплатить и за его усталость. В сентябре герцогиня Беатриче забеременела: Марино Сануто завершит рассказ.^[113]

"Новости месяца января 1496 года (по старому стилю).

"Как в Милане, в замке, в третий день месяца герцогиня, жена царствующего герцога Лодовико, Беатриче по имени, дочь герцога Феррарского, родила мертворожденного сына; сама же она умерла через пять часов после рождения ребенка. И эта смерть повергла герцога в тяжкую скорбь, так что он держит свою комнату закрытой, ставни закрыты, а днем горят свечи. И еще сообщается - как я видел в другом письме, - что упомянутая герцогиня умерла во второй день месяца, в шесть часов после полудня; в тот же день она каталась в карете по улицам Милана и до двух часов после обеда давала бал в замке. После нее осталось только двое детей, мальчиков: один - Максимилиан, граф Павейский, другой -

Сфорца, трех лет от роду. И герцог не может вынести печали от этой утраты, так как очень любил свою жену; и он говорит, что у него нет сердца ни для своих детей, ни для своего государства, ни для чего-либо под солнцем, так что он почти устал от своей жизни. И от тоски он уединился в своей комнате, которая вся в черном; и там он затворился на две недели. Говорят, что в ту же ночь, когда умерла герцогиня, стены ее сада рухнули на землю, и при этом не было ни бури, ни ветра, ни землетрясения; многие считали это дурным предзнаменованием".

В прошлом году я был в Ломбардии и, как верный приверженец Висконти, немного задержался в Павии. Она показалась мне довольно мрачным ломбардским городком, побеленным и павеном. То тут, то там стены или башни винного цвета нарушали бледное однообразие улиц. Знаменитая крепость, в которой Изабелла Арагонская столько лет сжимала свое сердце в горечи, все еще существует, правда, сильно перестроенная и измененная, но всегда представляющая собой массу прекрасного красного цвета. В Павии, однако, не было ничего столь интересного для меня, как эти фантомы исчезнувших Висконти и давно покинутых Сфорца, которые казались столь странно неуместными в этом маленьком унылом университетском городке. И среди этих трагических теней наименее прощенной, наименее любимой всегда была герцогиня Беатриче.

Я слишком долго знал ее, юную и очаровательную леди Макбет из Ломбардии. Я знал ее так хорошо, как можно знать человека, знакомого по сплетням знакомых, хотя и невидимого и далекого. Я слышал о ней как о надменной и честолюбивой женщине, с улыбкой принимающей преступления, которые возложили на ее голову миланскую корону. Она казалась мне какой-то Иродиадой Луини, изысканной и зловещей. И все же я знал, что при жизни ей поклонялись и долго оплакивали ее могилу. Есть такие Сирены, бессердечные и холодные, но способные схватить честную любовь теми же руками, что хватаются за окровавленное сокровище. Такой, в моих глазах, была обожаемая и злая жена Лодовико иль Моро.

Было рождественское время и холодно; я с трудом заставил себя посетить Чертозу. Она находится в шести милях, я полагаю, от Павии. Жалкая повозка медленно тащила по грязной местности, и из беленого окна скорее чувствовалось, чем виделось безмерное запустение вида. По обе стороны от дороги тянулся вялотекущий канал, а за ним - однообразный пейзаж из бурых болотистых пастбищ и ярко-зеленых рисовых полей, залитых водой, на которых лежал скудный снег. Казалось, дорога тянется впереди бесконечно, не прерываясь и не поворачивая. Внезапно посреди деревни карета остановилась; я прошел несколько шагов по грязной дорожке. Справа из-за стены показался огромный купол с розово-красными минаретами, со шпилями из бледно-красного, слоновой кости и мрамора, среди бесчисленных башен, похожих на валы, увенчанных кремово-белыми колоннами. Это Чертоза.

В другое время года и при лучшем здоровье я бы нашел много интересного в огромном фасаде Чертозы, фантастическом, бессвязном, как сон в летнюю ночь. Каждый дюйм фасада густо покрыт рельефным орнаментом - римские императоры и рыцарские паладины, орлы с молящимися ангелами на расprostертых шестернях, изысканные девы, плывущие во весь рост на спине дельфина, сирены, сосущие своих неземных младенцев, гиппогрифы, пророки Израиля: странные, неожиданные, как видения в бреду, они собраны здесь. Но, оставшись один, на горьком ветру, я на мгновение взглянул на все это и вошел в огромный фундамент Джангалеаццо Висконти. Большие залы, огромные, холодные, испорченные, насколько это

возможно, семнадцатым веком; несколько хороших картин Боргоньоне, много плохих; посмертные портреты великих Висконти: это было не так интересно, как я предполагал.

И все же я бродил дальше, размышляя о разнице типов в головах Сфорца и Висконти: старшие тираны остролицые, утонченные, с нежными, без костей овалами лиц, с тонкими крепкими губами, очерченными узкой линией. Есть что-то волчье в длинных заостренных носах, заостренных подбородках, низких лбах, а также в острых глазах, узких и высоко посаженных в голове; в целом это интересный тип, тонкий, жестокий, интеллектуальный и свирепый. Сфорца с их носами Веллингтона, ярко выраженными бровями, чопорными губами и округлыми подбородками кажутся квадратнолицыми добродушными капитанами. Вот и сам Лодовико иль Моро: упитанное лицо и тонкий подбородок престарелого Наполеона, изящный клювообразный нос Веллингтона, маленький капризный рот с аккуратными губами и огромные брови, натянутые, как когти орла, на низком лбу, завершают странную, изысканную физиономию этого человека. На мгновение я с интересом посмотрел на него. Но тут прямо передо мной возникла могила жены, которую он потерял в столь юном возрасте, герцогини Беатрис.

Подумать только, что она мертва, и подумать только, что она была женщиной! Невозможно. Она - живой ребенок, уснувший во время игры: неподвижный, но полный сдержанной бодрости. Ее растрепанные кудри свободно свисают по плечам и слегка выются над округлым детским лбом. Когда она лежит, по мягким, очаровательным, неровным чертам лица разливается младенческая откровенность. У нее прямые, короткие брови, как у маленькой девочки, а закрытые веки округлые, как лепестки густого белого цветка, и богато окаймлены ресницами. Маленький нос не имеет особой формы - не совсем прямой, но и не курносый; это самый красивый нос при дворе, с закругленным кончиком, как у ребенка. Щеки, тоже круглые яблочки, ничуть не похожие на Иродиаду Луини; и круглый аккуратный подбородок, который завораживает. Но главная прелесть - ее рот, рот с мягко сомкнутыми губами дорогого ребенка, который притворяется спящим, но улыбается, словно говоря: "Скоро я вскочу и брошусь тебе на шею, и ты будешь так удивлен!"

Круглая головка возвышается над длинным пухлым горлом. Маленькая фигурка - стройная и пухленькая одновременно, и очень маленькая, полная жизни, кажется, под красивым облегающим шелковым платьем с прорезными и пурпурными рукавами и длинным шлейфом из парчи, так заботливо, так тщательно уложенным, чтобы не стеснять и не скрывать эти маленькие лакированные ножки, которые так любили танцевать и, кажется, так готовы проснуться и снова танцевать. Значит, это и есть знаменитая Беатриче! Я смотрел и смотрел, наконец я понял не только ее, но и любовь Лодовико: "И что же, милое дитя, ты не можешь жить без короны? Что тебе знать об убийствах, бесчестии и гибели великих государств? Ты никогда не поймешь этих мрачных вещей, а расплачиваться за них буду я - Боже небесный, благодарю Тебя за дар бессмертной души, ведь я могу потерять ее ради удовольствия этого ребенка!"

Возможно, именно так рассуждал Лодовико; а может быть, в глубине души Макбет не менее честолобив, чем его жена. Кто знает? Жена, по крайней мере, должна за что-то постоять. По крайней мере, какая-то доля в разрушении своей страны должна быть отведена этим трем женщинам - Бонне, которая отозвала Лодовико в Милан; Изабелле, вдохновившей на войну Аррагона и Сфорца; и Беатриче, чьи амбиции побудили мужа пригласить французов в Италию.

111. "Cecco ed i suoi colleghi oltra modo d'animo furono consternati" (Corio, book vii.).

112. Корио, книга vii.

113.

"Nuove del mexe de Zener. 1497 O.S.

"Chome a Milano nel Castello a dì 3, la duchessa, moglie dil ducha presente Lodovico, chiamata Beatrice, figlia dil ducha di Ferrara, poi parturido uno fiol morto; etiam la era morta 5 hore dopo el putto. При такой смерти дуче стелился в великой чести, сераде ле фенестре в уна камера а люме ди кандела. Et è da saper, come vidi una lettera, che detta Duchessa morite a dì 2 zener, a hora 6 di note, et che in quel zorno era stada di bona voglia in carretta per Milano, et fatto ballar in Castello fin hore 2 di note. Et lassò do soli figlioli, uno chiamato Maximiliano ch'è Conte di Pavia e l'altro, Sforza, di anni 3. La qual morte el Ducha non poteva tolerar, per il grande amor le portava et diceva non si voller piùpiù curar ne de figlioli, ne di Stato, ne di cossa mondana; et apena voleva viver. Stava in una camera per mesticia tutta di panni negri, et cussi stete per 15 zorni. Et che in questa notte instessa in che la Duchessa morite, caschè a terra li muri dil suo zardin, non essendo sta ni vento ni terra moto; el qual da alcuni fu tolto per mal augurio."

"Diarii di Marino Sanudo, January 9, 1496".

Бегство Пьеро Медичи.

(Октябрь-ноябрь 1494 года.)

Когда в октябре 1494 года король Франции выступил из Асти на юг, на князей Италии опустилось оцепенение. За последние три года не было ни одного из них, кто бы не кокетничал в большей или меньшей степени с Францией; не было ни одного из них, кто бы не был врагом того высокомерного дома Арагона, который проиграл Скутари Венеции и который осмелился осудить узурпацию Милана Лодовико Сфорца. Карл прибыл в Италию, чтобы свергнуть этих злобных и вредоносных принцев, "отцов всех измен", как назвал их автор "De Bello Gallico"; "тиранов, на фоне которых, как мне кажется, сам Нерон показался бы святым". Но теперь, когда французы фактически находились в Ломбардии, итальянские деспоты со зловещей силой осознали, что он может довольствоваться не только Неаполем. Мало кто из них имел справедливые права на свои владения; никто из них, кроме Венеции, не мог противостоять власти Франции. "Князья Италии, - писал венецианский секретарь, - пораженные этим переходом через горы, пытались договориться, чтобы король не проезжал дальше на юг, каждый из них сомневался в своих владениях и больше всего сомневался в энтузиазме своих подданных". Если тираны Италии с ужасом ожидали прихода французов, то население - бедные, голодные, униженные рабы этих незаконных деспотов - встретило их приход с распростертыми объятиями. "Их так звали и взывали, - продолжает наш автор, - так призывали все население Италии, что не было никого, кто мог бы противостоять им, ибо весь народ говорил: *"Benedictus qui venit in nomine Domini"*".

Он был так нужен, этот *Flagellum Dei*, о котором вдохновенный голос Савонаролы ежедневно пророчествовал в великом соборе Флоренции. Он был крайне необходим. Ведь та осенняя Италия, которую французы в свой приезд сочли столь прекрасной, была не более чем

зеленым зачарованным садом, полным ядов - ядов для тела, быстрых или медленных, которые Венеция и Милан без зазрения совести использовали как средство для достижения власти, Рим - как легкий путь к богатству, Неаполь - для гнусного удовлетворения жестоких страстей. Страшные страницы из "Secreta Secretissima", опубликованные Ламанским в 1884 году, листы "Дневников" Марино Сануто, хроники, заполняющие "Archivio Storico", полны трагических убийств, тем более трагических, что они столь обыденны; и спокойный, беспристрастный голос Филиппа де Коммина не выдерживает, когда он говорит о "les pitiez d'Italie".

Не только яд для завистников, рабство для побежденных, голод и жестокость для бедняков, предательство среди князей земли; для всех одинаково было развращенным и ужасным растворение моральных ограничений. "Нет в Италии города, - пишет венецианец, - ни Рима, ни Неаполя, ни Болоньи, ни Флоренции, ни Милана, ни Феррары, ни даже моей Венеции, который был бы святее городов равнины". Милан со свежими фресками Леонардо на стенах; Венеция, где еще не были начаты работы над девушками-мадонами Джованни Беллини; Флоренция, населенная святыми Боттичелли, с ангелами престарелого Гоццолли на стенах дворца Пьеро Медичи; Феррара, где жил юный Ариосто, - эти дома самого яркого и прекрасного искусства в нравственном отношении были не лучше, чем Рим Борджиа или Неаполь Фердинанда и Альфонсо. Это были мерзкие притоны разврата. И все же нарисованные ангелы Флоренции, святые Ломбардии были не просто внешней модой, утонченным лицемерием; они выражали движение в итальянских сердцах, более глубокое, чем даже это всепроникающее зло, чистое под маской их извращения. Когда французы пришли в Ломбардию, они обнаружили в народе заразу духовного энтузиазма; они встречали святых женщин, которые не ели, не пили, не спали, а пребывали в непрерывном экстазе; и когда они шли по дорогам, бедные жители выходили им навстречу, держа в руках ладони, а на их бледных и изможденных лицах появлялась странная возвышенная улыбка. "Благословен, - пели они, - приходящий во имя Господне", ибо люди жаждали избавиться от греха, сковывавшего их. Они обнимали колени своих завоевателей и с готовностью терпели от их рук множество лишений, радуясь тому, что навсегда очистятся под бичом Божиим.

Если бы не радушный прием, который они встретили, французы никогда не смогли бы проникнуть в Италию. Они пришли плохо обеспеченными, без хороших генералов, без денег. "В казне нет ни гроша, - писал Орлеан Ридольфи в октябре, - а я потратил четыре тысячи дукатов из своих средств на оплату войск". Итальянские деспоты рассчитывали, что нехватка средств заставит французов отступить до зимы, и Орлеан заключил с ними тайный договор с этой целью. Милан, говорит этот заинтересованный сторонник, был бы достаточен для удовлетворения чести Франции - Милан и ежегодная дань, выплачиваемая Неаполем короне Франции.^[114] Но эти планы были сорваны тем энтузиазмом, с которым французов приняли в захваченных провинциях. Женщины несли свои драгоценности, чтобы заплатить войскам; мужчины распахивали ворота городов; все трудности были преодолены, ибо, говорит Комминс, тронутый серьезной экзальтацией Италии, "Бог сам был нашим вождем: *Dieu monstroit conduire l'entreprise*".

"В первое наше прибытие, - продолжает он, - люди почитали нас как святых, полагая, что в нас заключена вся вера и добродетель; но это мнение сохранялось недолго". Грубые французские солдаты - гасконцы, норманны, швейцарцы и немецкие наемники, - патетически не обращая внимания на причудливый ореол, играющий на их избитых погодой лицах, шли по Италии, как по любой другой завоеванной стране. В Рапалло они предали город мечу, Фивизцано взяли убийственным штурмом, в Понтремоли пролили много крови, ибо не могли понять, что казались избранниками Небес, и стремились жестокими

расправами поддержать военный престиж. Но если в Ломбардии, в Луниджиане грубый проход войск в какой-то мере развеял иллюзии народа, то там, куда армия еще не прибыла, города с открытыми воротами ожидали ее в священном трепете. Арагон отступал из пункта в пункт без единого сражения. Подданные Катарини Сфорца угрожали ей восстанием, если она откажется подчиниться французам; Болонья, вопреки воле Бентивольо, настаивала на заключении мира с Карлом. А во флорентийском Дуомо, где Савонарола проповедовал об очищающем биче Божьем, народ кричал "Франца, Франца!" там, где привык лишь горько всхлипывать "Misericordia". И для этих энтузиастов, нетерпимых к мединской роскоши, не было недостатком то, что король, их освободитель, был просто уродливым юношей, "скорее чудовищем, чем человеком", как ясно говорит Гиччардини, совершенно некультурным и не знающим ни греческого, ни латыни. "Фактически, - как заметил миланец Корио, - это необразованный человек, но тем не менее умеющий обращаться к своим солдатам в красноречивых выражениях, так что из любви к нему они бросаются на врага с криками: "Живой или мертвый!"". Осенью 1494 года этот некрасивый, ясноглазый юноша вызвал не меньшую преданность у жителей Флоренции.

Во главе народа стоял монах Савонарола, но многие старые флорентийские семьи (Нерли, Гуальтеротти, Сондерини, Каппони) не меньше народа желали изгнать своего тирана-парвеню. Из всей толпы монахов, энтузиастов, банкиров, патрициев и политиков, составлявших народную партию, резко выделяются два *силуэта*. Один из них - проповедник Савонарола - человек среднего роста, со смуглым цветом лица, и сангвиническим, желчным темпераментом. В сорок два года его лицо покрыто швами и морщинами - суровое, сильное лицо со сладким выражением, как мед Самсона в пасти льва; глаза, которые вспыхивают и горят из-под мохнатых черных бровей и проливают свой духовный блеск на тяжелый римский нос и большой рот с рыхлыми, толстыми губами оратора, крепко сомкнутыми и сжатыми в болезненную улыбку; Доброе, благородное, одухотворенное, трагическое лицо, в котором было что-то безумное, или, по крайней мере, то, что должно считаться безумным в этом недуховном и преходящем мире.

Это был человек, который в течение добрых четырех лет фактически был правителем Флоренции; это был человек, который, как никто другой, помогал делу Франции в Италии. "Человек святой жизни", - говорит Комминс, который знал его. А Гиччардини описывает его так: "Полный милосердия, естественной доброты и религии, настолько умный в философии, что можно было подумать, будто он сам ее создал; без малейшего следа похоти или скупости; но если у него и был порок, то это была симуляция, побуждение горделивого честолюбия". Еще один голос останавливает нас: "Коварный монах, достойный конца нечестивцев". Но это говорит Марино Сануто, политический враг Савонаролы и лично незнакомый с его качествами.

За сильным профилем монаха мы видим еще одну голову, также заслуживающую внимания. Это Пьеро Каппони, человек из старой флорентийской семьи, республиканец по происхождению. Крепкого телосложения, квадратного телосложения, с блестящими глазами, в его облике чувствуется азарт, как у скакуна, почуявшего битву; краткий и решительный в речи, энергичный в возрасте, он кажется воплощением мужественной энергии. Он богат, поскольку астролог при его рождении предсказал ему смерть в бою, отец убедил его посвятить себя коммерции. Тот трудился над добычей денег с неугомонной, доминирующей силой, которую он вкладывал во все, что делал, и в ярости сколотил свое состояние. Затем он бросил свою карьеру, получив достаточное количество денег, и в тридцать лет вступил в общественную жизнь. Будучи республиканцем, его неугомонная потребность в деятельности заставила его принять службу в Медичи. Он был послом во

Франции и был таким же французом, как Савонарола. "Вижу их вблизи, как призраки, - говорил он, - и нечего бояться этих французов". Хотя в это время он был правой рукой Республики, его патрицианское происхождение, знакомство с великолепием князей заставили его отшатнуться от крайних мер монаха. Человек величайшего духа, непоколебимой энергии, широта его взглядов и природная любовь к переменам делали его опасным для мирного, но несовершенного правительства. Рожденный быть великим полководцем, он любил, прежде всего, трудные кампании; и он провел свою жизнь в борьбе попеременно с врагами и друзьями, пока, наконец, предсказание астролога, сбывшееся вопреки человеческому благоразумию, не наложило узду на его воинственную душу.

Эти два человека представляют две партии, которые больше всего желали прихода французов - энтузиастов, бедняков, детей Савонаролы и влиятельных мещан, таких же богатых и, возможно, более родовитых, чем Пьеро Медичи, которые возмущались взглядами тирана на республику, возмущались еще больше его союзом с ненавистными испанскими автократами Неаполя. С другой стороны - со стороны Орсини, кардинала Библиены, Бернардо дель Неро и аристократической партии - есть только один человек, который может арестовать нас, как должен был арестовать Каппони или Савонаролу, и это сам Пьеро Медичи.

Пьеро и король Франции были смертельными врагами; у короля Неаполя не было более решительного союзника, чем Медичи, хотя французские наклонности города не позволяли ему показать истинную окраску своих взглядов. На самом деле, как говорит Гиччардини, он был "нетерпимо связан с Аррагоном и полон решимости испытать ту же судьбу", поскольку в обмен на этот союз он договорился, что Фердинанд Неаполитанский должен поддержать его в превращении старой республики в новую монархию. Неаполь в те времена представлял в Италии королевство в отличие от синьории; он был естественной полярной звездой аристократа. И Пьеро тянуло на юг не только по чувствам, но и по склонностям; его мать Клариче и молодая жена Альфонсина происходили из римского рода Орсини.

В 1494 году Пьеро Медичи было около четырех и двадцати лет. Он был красив лицом и очень энергичен. Он был ловок в играх и спорте; у него была очаровательная манера произносить слова, красивый голос и умение сочинять экспромтом стихи. Но этот красивый, изящный человек не был популярен во Флоренции. Он был надменен и высокомерен до крайности, подвержен фуриям животного гнева, горд и жесток. По его приказу на улице ночью задерживали людей и жестоко избивали их частные брандобои. Он был настолько абсолютен, что даже в вопросах, в которых не претендовал на понимание, управлял всем по своему усмотрению. И этот аристократ свободной республики был столь же вспыльчив, тщеславен, беспечен и нетерпелив, сколь и самонадеян. В то время как народ с белыми от волнения лицами бормотал "Франца"; в то время как Савонарола гремел своими пророчествами о *Flagellum Dei*; в то время как новости о резне и неодолимом наступлении Франции наводили религиозный ужас на Тоскану, молодой глава государства оставил гарнизоны без провизии и охраны; ни недельного провианта в Сарцане или Пьетра Санта; ни горстки пехоты в крепостях на холмах. В то время как по городу гуляли ветры мятежей, войн и бесчинств, его, единственного, кто не дрогнул, можно было видеть, как обычно, играющим в *паллоне* на людных улицах, легкомысленным аристократом, полным легкой и красивой бравады, не заботящимся ни о чьей безопасности, ни даже о своей собственной.

Но даже Пьеро, отбивая теннисный мяч о дворцовый фасад, наверняка время от времени ощущал некое беспокойство. Ведь каждый день приносил вести о дальнейшем отступлении Аррагона, и только успех, и блестящий успех, мог оправдать аррагонский союз в глазах флорентийцев. Уже сейчас этот аристократический союз задел меркантильную республику в

самом чувствительном месте: в июне король Франции изгнал флорентийских банкиров и купцов из своего королевства. Это означало разорение многих почтенных семейств и заставило мещан присоединиться к партии Савонаролы, настолько ослабив мединскую фракцию, что люди шептались, что это Каппони посоветовал королю Карлу, чтобы отвратить обедневших купцов от их тирана. Но документы, опубликованные в Desjardins, опровергают это предположение. Именно от Лодовико иль Моро, убежденного врага Флоренции и Пьеро, король Карл принял это счастливое предложение.

Мещане были полностью за Францию, чтобы восстановить свою торговлю. Народ под руководством Савонаролы, республиканские семьи под руководством Каппони не желали ничего, кроме прихода короля Карла. Двоюродные братья самого Пьеро стали настолько французами, что год назад он сослал их на свои загородные виллы, где они жили в комфортном заточении, окруженные светом народного мученичества. Чтобы противостоять всем этим разнородным силам, Пьеро мог рассчитывать на нескольких старых друзей своего отца, таких как Бернардо дель Неро и его секретарь Биббиена, честлюбивый священник и брат его жены, Паголо Орсини, капитан сил республики.

Ситуация была действительно серьезной, но он отнесся к ней легкомысленно, с легкомысленной беспечностью, не снисходящей до благоразумия. 3 октября его посол в Милане писал, что французы говорят о зимовке в Пизе и Сарцане. Однако ни в одной крепости не было недельного запаса провизии. Уже 22 октября, в ответ на последнее обращение Франции, он отправил епископа Ареццо к королю Карлу с туманным, удручающим, нерешительным ответом. На той же неделе два кузена Пьеро сбежали со своих вилл и поспешили во французский лагерь. "Сир, - зывали они к Карлу, - не сердитесь на Флоренцию. Тиран против вас, но вы пользуетесь верной преданностью народа". Король был склонен поверить двум молодым людям, с которыми он часто занимался и которые ради него перенесли год заключения. "Мы не путаем народ Флоренции с правителем", - ответил Совет. "Только последний - враг короля". И, отступив от Пьяченцы, войска Франции двинулись на флорентийские территории.

Через несколько дней они оказались на границе Тосканы. В Фивиццано и Понтремоли они так отомстили за легкое сопротивление, что ворота распахнулись при их приближении. Кто осмелится противостоять Бичу Божьему? Ужас и трепет склонили перед ними все головы. Во Флоренции народ, проходя по узким улочкам, заявил, что не будет сопротивляться королю Франции. Через три дня после того, как Пьеро отослал епископа Ареццо, народные волнения, казалось, готовы были вспыхнуть в любой момент.

Что он мог сделать? Французы были уже в пятидесяти милях от Пизы, и хотя горные крепости должны были сдерживать их всю зиму, Пьеро слишком поздно вспомнил, что забыл их обеспечить; что он не вызвал пизанских заложников во Флоренцию; что Пиза ненавидела свою жестокую хозяйку и непременно восстанет против Франции. Отчаявшемуся молодому человеку предлагался только один путь, и этот путь был настолько авантюрным, романтичным и необычным, что сразу же пленил его неустойчивое воображение. Много лет назад, когда Аррагон нанес поражение Флоренции на поле боя, Лоренцо Медичи отправился в качестве собственного посла в Неаполь, рискуя, правда, получить сталь или яд, но своим очаровательным обращением сделав из измученного врага преданного друга. Пьеро решил последовать примеру своего отца. На сайте 26 октября он узнал, что французы прибывают в Сарзану, расположенную в двух днях пути от Флоренции. Вечером того же дня флорентийский тиран тайно бежал из собственного дворца, покинул город в вечерних сумерках и поскакал сквозь прохладную осеннюю ночь до самого Эмполи.

II.

"Эмполи, 26 октября 1494 года.

"Пьеро Медичи - синьору Флоренции.

"Поскольку я считаю, что не должен терпеть порицания и упреки за то, что, по моему разумению и слабому рассудку, показалось мне самым спасительным средством для сохранения моей угрожаемой страны, я уезжаю от вас, чтобы предложить себя христианнейшему королю и обратить на свою голову бурю, грозящую моей родине. За этим не последует никакого наказания, но я предпочел бы претерпеть его от себя лично, чем видеть, как оно обрушивается на эту республику".

"В конце концов, я не первый в своем доме, кто отправляется в такое предприятие; и поскольку в нем нет ни усталости, ни лишений, ни затрат, ни даже самой смерти, но, претерпевая его для любого из вас, оно показалось бы мне благом, насколько же больше я не приветствую эти грубые шансы ради всеобщего города!

Будьте уверены, если я вернусь, то принесу вам и городу добрую весть; либо это, либо я оставлю свою жизнь в стане врага".

"Вам, в этот крайний момент, я рекомендую моих братьев и моих детей. И, за веру и привязанность, которую вы питаете к костям Лоренцо, моего отца, молю вас, будьте довольны, молитесь Богу за меня".^[115]

"Эмполи, 26 октября.

"Пьеро Медичи - Биббиене.

"Утешь, дорогая Биббиена, мой маленький отряд домочадцев, пока я не вернусь; и, прежде всего, будь добра к Альфонсине и к бедному маленькому Лоренцо^[116], который не несет никакой вины. Все вы молитесь Богу за меня и за город".

"Пиза, 27 октября 1494 года.

Пьеро Медичи - Биббиене".

"Я прибыл в Пизу сегодня вечером, очень утомленный дорогой, собственными мыслями, дождем, который лил весь день, и неудобной постелью, в которой я провел прошлую ночь..... Это всего лишь строчка, которую я посылаю вам, только для того, чтобы вы могли заверить моего великолепного мессера Марино (неаполитанского посла) в полной преданности, которую я оказываю его господину... Преданности, которая и по сей день *остается неизменной!* Возможно, я виноват в том, что раньше не обнаружил дезертирства флорентийцев, недостатка денег, оружия и кредитов, которые у меня были; но в таком городе, как наша Флоренция, трудно сомневаться. Позвольте мне оправдаться перед Его Величеством, ведь я не первый больной, который пошел на смерть, еще не узнав, что он смертен. Короче говоря, скажите ему, что даже в аду я сохраню свою веру его величеству королю Альфонсо (*insino all' Inferno conserverò la fede mia al Signor Re Alfonso*). И, возможно, в моем нынешнем низком и скромном состоянии я смогу лучше служить ему как рядовой дворянин в лагере Франции, чем я служил ему как первый во Флоренции."

"Пьетра Санта", 29 октября.

"Пьеро Медичи - Биббиене.

"Прошу вас попросить синьора немедленно прислать сюда 500 пеших. С такой помощью мы сможем продержаться, по крайней мере, до тех пор, пока я не сделаю хорошие условия..... Правда, здесь не так много еды, но всегда найдется что-нибудь. И отправьте вооруженных людей в Пизу.

"Я писал герцогу Миланскому, когда был в Пизе. Я полагаю, что он добрался до Сарзаны. Устрой все эти дела так, чтобы не было никаких заминок".

"30 октября 1494 года.

"Пьеро Медичи - Биббиене.

"Вчера вечером французские лорды прибыли сюда, в Пьетра Санта, и были приняты весьма почетно. Епископ Сен-Мало сообщил мне, что король прибудет во Флоренцию *viâ* Пизу через четыре или пять дней.

"Они приехали за мной. С ними герольд короля, а я только что отправился в Сарзану вместе с Сен-Мало и двумя другими сеньорами. Порадуйтесь вместе со мной той чести, которую они мне оказали. Эти лорды были посланы сюда специально, чтобы принять меня! Скажите Восьмерке! Скажите Альфонсине! Скажите Монсиньоре.^[17] Скажите Джулиано!"

III.

Пьеро Медичи отправился во французский лагерь из Пьетра Санта 30 октября. Несмотря на то, что зима после этого выдалась мягкой, осень была суровой, и на дорогах лежал удивительно глубокий снег. Вокруг Сарцаны простиралась бесплодная страна, пустынная и полная маленьких холмов. Наконец, проехав тридцать миль, усталые всадники оказались перед французским лагерем. Палатки были разбиты вокруг пограничной крепости - крепкого, плохо отремонтированного сооружения, которое несколько лет назад обошлось Республике в пятьдесят тысяч флоринов. Сарзана охранялась Сарцанелло - фортом, окруженным большими башнями, построенным на крутом холме над городом. Когда Пьеро приехал, французы начали обстреливать Сарцанелло из своей странной, усовершенствованной артиллерии, которая вызвала такую панику в Италии. Молодой человек, оказавшийся один посреди врага, для уничтожения которого он сделал все возможное, преследуемый видениями смерти и тюрьмы, был изможден усталостью, сдерживаемым ужасом и новизной своего положения. Французские лорды сразу же привели его в палатку Карла. Вопреки его ожиданиям, король - молодой человек его же возраста - принял его любезно, даже благосклонно. В конце концов, они не собирались его убивать. В изысканном расслаблении Пьеро опустился на колени перед королем, заикаясь оправдывался и повесил свою красивую голову. "Я сделаю все, чего потребует Ваше Величество!"

Где же теперь была та преданность Арагону, которая (как он сказал Биббиене с такой гордой развязностью) *traho ad immolandum*? Где была та верность, "которую я сохраняю в самом аду"? Они растворились в туманном лимбе великодушных решений, где они встретят его преданность Республике, его любовь к стране и его самоотверженную привязанность к своему народу. Все эти золотые чувства полностью исчезли из головы Пьеро. Теплая палатка

после долгой поездки по снегу, любезный прием, столь не похожий на его страшные предчувствия, приветливость французских господ, не выказавших унижительного удивления по поводу его визита, - все это наполнило его чувством искреннего облегчения. В конце концов, Каппони был прав: "Посмотрите на этих французоз вблизи, и вам нечего будет бояться". Пьеро, если и боялся, то лишь с тем приятным трепетом, который испытывает благоговейный *парвеню*, принятый в аристократическом обществе на добрых условиях. Он еще не совсем оправился от чести, которую оказали ему французы, прислав на прием Сен-Мало и королевского герольда. Возможно, на дыбе Пьеро мог бы сдержать свое слово на час или около того. Оно исчезло из памяти, как только он почувствовал мягкое влияние королевской беседы.

И это был король, второй Карл Великий, чудо народов, ужасный *Flagellum Dei*! Пьеро, привыкший к доброму голосу, поднял глаза и увидел невысокого мужчину лет четырех-двадцати, необычайно молодого, с высокими плечами, болезненным лицом и необычайно тонкими длинными ногами. Он выглядел не совсем взрослым и, конечно, был очень уродлив: большая голова, длинный нос, широкий рот и робкая, нежная внешность. Однако его уродство искупалось парой необыкновенно красивых и сияющих глаз, умный, добрый, прямой взгляд которых обещал либеральную и честную натуру. Король и в самом деле был и либерален, и честен; простое, беспечное, благородное существо, слишком беспечное, чтобы заставить себя подчиняться, и слишком неспособное к фальши, чтобы завоевать искусством то, чего не мог добиться силой. Он был, как мы узнаем от Комминса, "самым мягким существом на свете; без особого ума, но с такой доброй натурой, что невозможно найти более доброго существа; юноша, только что вылезший из скорлупы". Это описание не обещает ни грозного монарха, ни коварного дипломата, но вся двуличность Лодовико иль Моро не смогла бы одержать большего триумфа, чем беспечное добродушие Карла над польщенным флорентийцем.

Король сидел, как причудливое эльфийское дитя, в своем шатре среди своих великолепных советников. Эти вежливые и любезные люди, глядя на Пьеро, улыбались более решительно, чем обычно. Молодой флорентиец был погружен в себя, утопленник, довольный королем и своим приемом. Он был в самых лучших отношениях со своим другом, королем Франции. Карл, не совсем понимая ситуацию, попросил гораздо больше, чем надеялся получить от раскаявшейся Флоренции, думая, что ему придется умерить свои требования (несколько недель в Италии научили его торговаться), особенно когда имеешь дело с таким меркантильным человеком, как Пьеро Медичи. На самом деле он выдвинул экстравагантное требование: флорентийские войска должны быть уволены (те самые, которым Пьеро отдал приказ вчера), крепости Сарзана, Сарзанелло, Либрафатто, Пиза, Ливорно и Пьетра Санта должны быть переданы королю; его армия должна была получить свободный проход, а сам он должен был получить заем в 200 000 дукатов. Французская партия Флоренции была готова разрешить королю поселиться в Пизе и предоставить ему свободный проезд, но о большем Савонарола и Каппони и не мечтали. Однако Пьеро, услышав требование короля, ни на йоту не отступил от него. Кто он такой, чтобы противоречить королю? ("Я иду, - сказал он, - я иду с головой в опасность, чтобы принести вам долгожданную весть или оставить свои кости в стане врага!") Он сразу же согласился предоставить все, отдав всю силу и имущество Флоренции во власть Франции. "Те, кто вел переговоры с упомянутым Петром, - говорит Комминс, - часто говорили мне, насмехаясь и подшучивая над ним, что они удивлялись тому, что он так легкомысленно отнесся к столь весомому делу, предоставив больше, чем они ожидали". А Гичкардини добавляет: "Не было ни одного француза, который бы не удивлялся тому, что Пьеро так легко согласился дела столь большой важности, потому что, без сомнения, король согласился бы на гораздо более низкие условия". Но Пьеро, герой

верности, новый Лоренцо, не думал об этом. "Я требую шесть крепостей, увольнение вашей армии, свободный проход и заем в 200 000 дукатов", - повторил медленный, заикающийся, робкий голос короля. "Я согласен", - сказал Пьеро.

В палатке воцарилось молчание, наполовину изумленное, наполовину болезненное, с ощущением, что они переиграли маленького ребенка.

IV.

Пьеро Медичи был не единственным итальянским тираном, приехавшим посетить лагерь Карла перед Сарзаной. На следующий день после прибытия Пьеро к палаткам своих союзников вернулся Лодовико иль Моро Миланский, вызванный домой из Пьяченцы своевременной смертью племянника, на этот раз уже в качестве герцога Миланского. Он не ожидал встретить там союзника Альфонсо, тирана Флоренции, и встреча была не из приятных. Лодовико питал особую неприязнь к Пьеро Медичи; во-первых, потому, что Флоренция владела крепостями Пьетра Санта и Сарзана, принадлежавшими генуэзцам, сюзереном которых был Лодовико; во-вторых, потому, что Пьеро был самым твердым союзником Арагона в Италии; и, наконец, потому, что однажды этот очаровательный глупец фактически перехитрил самого мудрого Лодовико. В тот раз Пьеро, заподозрив Лодовико в "янусовом лице", которое поворачивается разными сторонами к Флоренции и к Франции, спрятал французского посла за ширмой в своей комнате для аудиенций, а посла Лодовико заставил заявить, что у Карла нет более надежного врага, чем его господин. Французский посланник был очень правильно оскандален, но вместо того, чтобы сохранять спокойное недоверие к Милану, король Карл объявил о своих обидах во всеуслышание; Лодовико убедил его, что это выдумки врага, и отныне поклялся в вечной ненависти к Пьеро.

Таким образом, между миланским герцогом и главой Флорентийской республики возникла личная прохлада, но в политическом плане их встреча была еще более неловкой. Лодовико иль Моро был человеком, который любил ловить рыбку в мутной воде. Он посеял неприязнь и недоверие между французами и Флоренцией; по его замыслу флорентийцы должны были держать войска Карла всю зиму в заточении на своих холмах. А когда весной король, разочарованный неаполитанским предприятием, вернется во Францию, он надеялся получить для себя те места, которые французы отвоевали у Тосканы. Лодовико достиг той великой цели, которая заставила его призвать французов в Италию; он стал герцогом Милана. Теперь он не желал дальнейших успехов для Карла. Он надеялся, что король перезимует в Тоскане, а затем уедет во Францию, передав Милану Сарзану и Пьетра-Санта и оставив после себя запуганный Неаполь, разграбленную Флоренцию, торжествующий и победоносный Милан. Судите о его безмерной досаде, когда он узнал, что за несколько дней его отсутствия Пьеро Медичи передал королю Апеннинские перевалы.

Лодовико был из тех дальновидных политиков, у которых, когда проваливается заветный проект, на его место всегда готов найти недоучку. К несчастью, ничто не мешало Карлу стать повелителем Италии, но, во всяком случае, Милан мог получить во владение города в Луниджиане. Лодовико отправился к Карлу и попросил у него шесть крепостей, которые Пьеро уступил вчера. Но Карл, хотя и был очень простым и молодым человеком, не был дураком; он не стал бы запираť себя в ловушку на юге Италии, когда все пути на родину закрыты за ним. Он ответил Лодовико, что предпочитает сохранить крепости, по крайней мере, до своего возвращения из Неаполя. Герцог Миланский был человеком серьезным и скромным, спокойным и величественным, никогда не раздражался и не гневался; он притворялся, что согласен со своим союзником королем Франции. Да, для Карла, конечно,

было бы мудрее сохранить перевалы; и, чтобы примирить его, он вспомнил, что Милан должен королю 30 000 дукатов, причитающихся за инвестиру Генуи.

Но, несмотря на свои прекрасные манеры, герцог Миланский не улыбнулся, когда в лагере короля столкнулся с человеком, который испортил всю его продуманную политику. Он покинул Милан в самый неподходящий момент, чтобы получить обещанные Сарцану и Пьетра Санта. Король ничего ему не обещал; он оказался вне пределов его досягаемости и только что обошелся ему в 30 000 дукатов; и во всем этом был виноват Пьеро. Молодой флорентиец заметил раздражение на лице Лодовико и в своей вечной самоуглубленности решил, что оно вызвано тем, что ему не оказали официального приема в Тоскане.

"Я выехал вчера встречать тебя, - кричал Пьеро, - но нигде не смог тебя найти. Вы, должно быть, сбились с пути!"

"Это правда, молодой человек, - ответил Лодовико своим серьезным, зловещим голосом, - правда, что один из нас сбился с пути. Но не исключено, что им можете оказаться *вы*".

Шарль смотрел, мало что понимая, думая больше о соколе на своем запястье, чем о маневрах и интригах этих итальянцев, - Шарль не мог сравниться ни с одним из них. И все же, придя в его лагерь, каждый из них сбился с пути. Если бы милосердный занавес будущего хоть на мгновение приоткрылся в этот вечер, каждый из них упал бы в обморок от ужаса, увидев, к чему приведет их этот ошибочный путь. Что это? Старая французская улица, бурлящая от нетерпения толпа, через которую протискивается длинная шеренга стражников и лучников; среди них - высокий человек в черном камзоле, восседающий на муле. В руках он держит свою биретту и поднимает бледное, мужественное лицо, демонстрируя всем своим видом презрение к смерти. Это Лодовико, герцог Миланский, едет в свою клетку в Лоше.

И там, в стремительно бегущем Гарильяно, где французские солдаты борются в своем слишком поспешном бегстве, это мертвенно-прекрасное лицо, то тут, то там вздымающееся в темных омывающих водах, - это лицо Пьеро Медичи.

V.

Но конец еще не наступил; еще немного хитрый Лодовико и пустоголовые Медичи должны сыграть свои роли, и в течение нескольких следующих дней роль Пьеро будет нелегкой. Он должен ответить перед Флоренцией за то, что без ее собственного согласия отдал ее в руки французов.

Ведь синьоры все еще оставались в неведении относительно этого печального распоряжения своей судьбой. Как только они узнали о бегстве Пьеро, они отправили семь посланников в лагерь Карла, чтобы договориться с королем "с Пьеро или без Пьеро" и выразить благодарность Флоренции за почетный прием, оказанный "нашему согражданину, Пьеро Медичи". Когда семь флорентийских переговорщиков прибыли во французский лагерь, они обнаружили, что французы уже три дня находятся в Сарзане и Сарзанелло; они узнали, что их соотечественник лишил их всего, что они завоевали за сто или более лет - Сарзаны, их пограничного города; Пьетра-Санта, который стоил им 150 000 дукатов и двухмесячной осады; Ливорно и Пизы - ее морских портов, двух глаз Флоренции, без которых ее торговля была невозможна: И он обещал от имени Республики экстравагантную субсидию в 200 000 дукатов!

Не успели дурные вести дойти до дома, как синьория отправила второе посольство из пяти человек: Танаи деи Нерли, Савонарола, Каппони и еще два стойких республиканца, гвельфы и демократы, лидеры французской партии. Прибыв на место, они обнаружили в своем позднем противнике более пагубного друга, настолько французского, что он перестал быть флорентийцем. Каппони тогда же решил не допустить продолжения рода Медичи во Флоренции. Савонарола обратился к изумленному королю со словами трагического предупреждения: "Если ты не будешь уважать Флоренцию, Бог отхлещет тебя своими бичами и бичами". Но ни красноречие, ни решимость не могли изменить того факта, что французы находились в крепостях.

Так что двенадцать послов со скорбью направили свои лица на родину, и Пьеро тоже вернулся во Флоренцию - Пьеро, блестящий, самонадеянный, высокомерный, как всегда. В нем не было ни малейшего признака стыда или печали, но даже он заметил холодный прием народа. Все люди хмурились, когда он проходил по улицам; они роптали друг на друга и говорили об изгнании.

Было 8 ноября, когда он вернулся домой во Флоренцию. Утром 9-го он выехал на площадь со своей обычной стражей, чтобы объявить о приезде короля, но когда он постучал в ворота Палаццо Веккьо, молодой Нерли отказался впустить его, если он не вышлет своих солдат. Пьеро, возмущенный таким поведением, снова поскакал домой и отправил послание брату своей жены, Паголо Орсини, капитану конницы, чтобы тот немедленно повел войска во Флоренцию. Тем временем на улицах города нарастали зловещие крики "Свобода, свобода!". Пробудился весь авантюрный нрав Пьеро Медичи. Не дожидаясь войск, он вооружился сам и несколько слуг, и помчался на карете по враждебным улицам, выкрикивая призывный клич своей семьи : "Палле! Палле!" Но везде его встречало угрюмое молчание - молчание, которое постепенно переходило в рев неодобрения, в крики "Свобода!". Когда подоспели Орсини и солдаты, Пьеро был рад их помощи, но не для того, чтобы усмирить недовольных флорентийцев, а для того, чтобы бежать из города, охваченного открытым мятежом. Они оставили женщин в большом доме на Виа Ларга, и, сопровождаемые несколькими кавалерами, трое молодых Медичи бежали из города. Пьеро ехал в середине, переодетый монахом. Это был второй раз за четырнадцать дней, когда он тайно бежал из Флоренции.

Когда 10 ноября взошло солнце, Флоренция как на деле, так и по названию была республикой. Пьеро был беглецом в укоризненной Болонье, за его голову назначили цену в 5 000 дукатов. В течение десяти оставшихся лет жизни он больше никогда не появлялся во Флоренции; а когда его братья, семнадцать лет спустя, были возвращены в свой древний дом, они вошли во Флоренцию только благодаря крови Прато.

Флоренция готова была отважиться на любую опасность, лишь бы не принимать Медичи. Когда через несколько дней после побега Пьеро король Карл отважно выступил в защиту своего гостя из Сарзаны, флорентийцы пригрозили ему открытой войной. "Вы можете трубить в свои трубы, - сказал Пьеро Каппони, - а я буду звонить в свои колокола". Шарль смотрел из окна на узкие улочки, на торжественный, с крепкими стенами город, который при звуках набата превращался в таинственную и страшную засаду, из каждого окна сыпалась смерть, по извилистым улицам стреляли нежданные гости. Он понимал, что простому французскому солдату не справиться с таким врагом. "Снимите цену с его головы, - заявил он, - и я больше ничего не скажу".

Тем не менее, если бы Пьеро сразу же отправился к Карлу, а не в Болонью, король мог бы заставить его вернуться во Флоренцию. Но юноша бежал из Болоньи в Венецию, и когда

король Карл прислал ему послание и попросил прийти в его лагерь, Пьеро отказался. По его словам, Пьеро Каппони сказал ему, что французский король хочет лишь предать его. Пьеро Каппони, по крайней мере, решил, что его тезка больше не должен предавать город, и благодаря его уговорам медиевист Пьеро остался в Венеции. "Там я часто видел его, - писал Комминс, - и он подробно рассказывал мне обо всех своих несчастьях, а я, как мог, утешал его. Мне показалось, что он был человеком неглупым и неглупым".

114. См. Desjardins I., "Négociations diplomatiques dans la Toscane".

115. "Négociations diplomatiques dans la Toscane", vol. i. p. 587, et seq.

116. Его сын-младенец, родившийся в 1492 году, впоследствии стал отцом Екатерины Медичи.

117. Мальчик-кардинал Джованни Медичи, брат Пьеро, впоследствии Лев X.

Французы в Пизе.

В XI веке король Туниса спросил пизанских купцов при своем дворе: "Кто такие флорентийцы?". "Это наши арабы из пустыни", - ответили преуспевающие торговцы. "Они наши бедняки!"

Но уже в следующем веке тосканские арабы оказались грозными соперниками своих соседей, хотя еще сто лет Пиза, с уменьшающимися ресурсами, сохраняла превосходный престиж. Это превосходство стало причиной ее окончательного краха; в 1197 году, когда Вольтерра, Лукка, Флоренция, Сан-Миниато, Ареццо и Сиена объединились в Лигу независимости Великих гвельфов, Пиза одна решительно выступила против гибеллинов, изолированная в достоинстве своего империализма. Это воздержание Пизы, тогда первой из тосканских городов, обеспечило Флоренции первое место в Лиге и сделало ее главой гвельфов в Центральной Италии.

После этого на протяжении многих веков Флоренция процветала, а слава Пизы превратилась в пословицу, старую сказку, в которую верили лишь наполовину. Сначала она потеряла свое главенство, затем богатство, потом славу и, наконец, независимость. В ее среде возникла семья деспотов. Вскоре ей пришлось пожалеть об этой сравнительной свободе, так как в 1397 году Джангалеаццо Висконти захватил город, а после своей смерти в 1402 году оставил его своей любовнице Аньезе Мантегацца и их сыну Габриэлло Марии Висконти. Но синьор Габриэлло Мария был недостаточно силен, чтобы удержать Пизу в одиночку против своих завистливых соседей - Флоренции, Генуи и Лукки; поэтому 15 апреля 1404 года он согласился держать город в качестве вотчины Франции.

I.

Немногие детали истории более запутаны, запутанны или зависят от откровений неопубликованных архивов, чем тонкие интриги Франции за обладание Пизой. Морской порт на [Средиземном море](#), звено в драгоценной цепи, протянувшейся (Марсель, Генуя, Пиза,

Неаполь) от Прованса до Сицилии, она была неоценимым помощником анжуйцев на юге; а удерживая перевалы Апеннин, она была не менее необходима Орлеану в Ломбардии, радуясь союзнику среди тосканских республик, столь непримиримо враждебных Висконти. Но, как мы уже видели, планы Орлеана могли пострадать от встречных планов Франции; и как в Генуе в 1395 году, так и в Пизе в 1404 году.

Великий Висконти умер в сентябре 1402 года, и в том же году маршал Бусико был отправлен губернатором в Геную. Бусико был врагом Милана,^[118] ненавистником турок, человеком, видевшим в Висконти тайных союзников султана, человеком, побывавшим в плену в Никополе. Чистый, преданный, благородный дух, но в то же время официозный, нетерпеливый, - беспокойный герой, настойчиво и нервно работающий над тем, что он считал волей Божьей, - Бусико - фигура столь же необычная среди фракций и интриг истории XV века, как Гордон среди маленького окружения наших дней. Маршал был отправлен в Геную, потому что этот завистливый и безотчетный народ ("qui n'aime pas qu'on aille leur desbaucher leurs femmes") больше не мог терпеть его предшественника. Они нашли в нем человека, которого молили получить, - более сурового хозяина. Бусико был столь же жестким, сколь и простым: человек, которого можно быстро обмануть, но быстрый и непреклонный в наказании за вероломство. Его безупречная жизнь, его доказанный авторитет, его умение регулировать и организовывать торговые перевозки обеспечили ему большое положение в Северной Италии, сделали его там человеком людей, центральной фигурой, как до него Джангалеаццо Висконти. По одной причине эти два человека, столь непохожие друг на друга во всех деталях, были похожи в том великом факте, что они были мыслителями, людьми с миссией, вдохновленными идеей, которая управляла их жизнью и которой они подчиняли все соображения. Герцог Миланский мечтал о великой Объединенной итальянской конфедерации, главой которой должен был стать он сам, а Папа - лишь украшением и короной: его мечта была мечтой императора Наполеона III. Бусико, крестоносец по натуре и традиции, прежде всего религиозный, мечтал покончить с расколом, завоевывать государство за государством, чтобы присоединиться к истинному папе в Авиньоне, и, *pari passu*, расширить владения своего повелителя, короля Франции. Честолюбие Бусико было сплошной духовной верностью и феодальной преданностью; честолюбие Висконти, запятнанного преступлениями, было направлено только на самовозвеличивание: это были разные звезды, светившие с разных полюсов. Но у людей, которые видят звезду и следуют за ней, хотя они далеки друг от друга, как ад и рай, больше общего, чем просто человеческие узы, связывающие их с неясным множеством их собратьев, качающихся туда-сюда, лишенных цели, воли и пути.

Почти первым делом Бусико в Генуе было письмо во Флоренцию с предложением помочь ему захватить у молодых Висконти (Змеиное отродье) один из лучших городов между Миланом и Пьемонтом. Флорентийцы в полной мере разделяли недоверие Бусико к детям того, кого они называли "самозванным графом добродетелей (Vertus), на самом деле графом порока". И они согласились на это предприятие, но не стали его продолжать. Ведь в тот момент у них были другие дела. Кроме господ Милана и Падуи, был еще один Висконти, которого они должны были покорить. Они осаждали Пизу "e chi la tiene": ее хозяин Габриэль Мария Висконти.

В тот же момент, как мы знаем, Орлеан за Альпами таинственно продвигался на юг; его целью, не меньшей, чем у флорентийцев, было уменьшение Пизы. Ведь через свою жену, Валентину Висконти,^[119] он имел, как он считал, предварительные права на Пизу, да и вообще на все владения умершего герцога, не вошедшие в наследство двух законных сыновей. Габриэль Мария, бастард, поддерживаемый только своей матерью, осаждаемый флорентийскими союзниками Франции, под угрозой со стороны своего шурина,

могущественного брата короля Франции, - какая у него была надежда? Никакой, кроме беспокойства, которое известие о приходе Орлеана могло внушить его соседям. Ибо разве только в Пизе предполагали, что столь великий повелитель надвигается на Ломбардию? В этот момент молодые миланские Висконти находились в состоянии открытой войны с Бусико и заявили о своем намерении изгнать его из Генуи и получить для себя богатую провинцию, которую французы выклянчили у их отца. Вспоминал ли Орлеан с яростью то разочарование десятилетней давности? Намеревался ли он вместе со своими миланскими шуринами захватить сначала Геную, а потом Пизу? Возможно, и так; но трудно быть одновременно союзником миланских Висконти и узурпатором владений их сводного брата. Возможно ли, что брат короля намеревался объединить свою армию с армией лейтенанта короля, разбить молодых Висконти перед Генуей, изгнать их из Ломбардии и из Пизы и сделать для себя большую территорию (Милан, Асти, Пиза) наряду с французским протекторатом Генуи? Бусико был давним и близким компаньоном герцога Орлеанского; ходили слухи, что Орлеан часто беседовал с папой Бенедиктом в Бокере; не исключено, что эти трое пришли к взаимопониманию.

И Орлеан двинулся на юг. А Флоренция напала на Пизу. До 17 апреля 1404 года^[120] флорентийцы верили, что дипломатией, если не силой, им удастся заполучить свою добычу. Но в конце февраля или начале марта герцог Орлеанский повернул на север, возмущенный походом на Париж. А в апреле стало известно, что 4 числа того же месяца мессер Габриэль Мария Висконти был признан вассалом французской короны; он стал "человеком короля", и люди короля отныне будут поддерживать его в Пизе.

Велика была ярость Орлеана, громки были протесты Флоренции. Орлеан едва успел прибыть в Париж, как король передал ему все королевские права на Пизу (как я уже показывал читателю в главе о Валентине Висконти) и официально отверг поведение Бусико, запретив ему впредь ставить какие-либо препятствия на пути своего брата. Порицаемый на родине, Бусико был не менее горячо осужден своими союзниками в Италии. Синьория Флоренции направила ему возмущенное письмо,^[121] обвиняя его в бесчестном поступке, когда он отнял у верных союзников короля добычу, за которой они так долго охотились, а теперь, в самой их хватке, был вырван у них другом. "Questa non era honesta cosa". Флорентийцы могли бы с легкостью взять Пизу, но против вотчины Франции, своего союзника, они ничего не могли сделать. Они сняли осаду, протестуя и ропща.

Каковы же были мотивы Бусико? Флорентийцы с некоторым основанием подозревали, что невидимая рука дергает за ниточки, которые привели к этому внезапному действию; "pensiamo che questo sia proceduto da altri, con velati colori". Но кто, кроме короля, который отрекся от этого дела, был достаточно силен, чтобы осмелиться противостоять воле Орлеана? Неужели Бургундия завидовала тем итальянским перспективам своего соперника, которые освобождали его от соседства с домом? Или, возможно, Антипапа Бенедикт, недовольный Орлеаном после их беседы в Бокере, в частном порядке призвал Бусико "se bon Chrestien" удерживать Пизу от имени короля, а не от имени его слишком могущественного опекуна? Загадки! Не менее вероятно, а может быть, и более вероятно, что Бусико, всегда вспыльчивый, своенравный и официозный, не спрашивал никакого разрешения, кроме своего собственного, чтобы принять этого нового вассала короля Франции. Его мозг был охвачен мыслью обратить Пизу в истинное послушание; он боялся, что она перейдет к еретичке Флоренции, прежде чем Орлеан сможет перевалить через Альпы.

Габриэль Мария Висконти и его мать плохо себя чувствовали в Пизе. Он, элегантный, неверный, убедительный *Тиранетто* (как называли его тосканцы), часто бывал при дворе

Бусико, ведя различные переговоры, в том числе о передаче Франции башни и форта Ливорно.^[122] Бусико был в приподнятом настроении, несмотря на свой полупозор; он уговорил генуэзцев признать власть Бенедикта XII, "величайший поступок", - пишет его биограф, - "который был совершен в Италии за последние 200 лет". Он надеялся вскоре обратить в свою веру Ливорно и Пизу, а со временем побудить Италию отречься от гнусного итальянского антипапы.

Внезапно его власть над Пизой зловеще ослабла.

Пизанцам не было дела ни до папы, ни до антипапы; они фанатично любили свободу. Они ненавидели Аньезе Мантегацца и ее бастарда с тосканской ненавистью к Висконти, вероломным как по отношению к Богу, так и к людям. Однажды в 1405 году, когда мессер Габриэль Мария отсутствовал в Генуе, несколько флорентийских солдат совершили набег на Пизу. Горожане не без оснований подозревали своего тирана в том, что он продал их флорентийцам - старым соседям и соперникам, еще более одиозным, чем миланцы. Они поднялись на улицы, как один человек, борясь за смерть или свободу. Не успели они оттеснить флорентийцев, как бросились на крепость, пробираясь по узким коридорам, пока в самом сердце дворца не настигли мадонну Аньезе. Один человек поднял свой харкебуз и выстрелил ей в сердце. Ее сын отсутствовал в Генуе. На время пизанцы избавились от Висконти.

Весть о восстании в Пизе быстро долетела до Генуи. Обиженный Тиранетто, лишенный собственности и осиротевший, отправился к Бучико, как к лейтенанту своего сеньора, короля Франции, прося помощи, потому что, как напоминает Хроника, "сеньор должен обеспечить безопасность своему вассалу, который требует его помощи".

Бусико был встревожен этим первым результатом своего нового приобретения. Уменьшить Пизу с помощью оружия было бы разорительным делом. Маршал, как мог, утешил вассала своего господина и пообещал пойти и образумить мятежников. Итак, он отправился из Генуи в очень красивое место под названием Порто-Венере, расположенное по соседству с Пизой. Там его ждала депутация повстанцев, и долгое время он убеждал их в добродетели умершей мадонны Аньезе и достоинствах доброго и приветливого юноши, которого они изгнали.

Пизанцы почтительно слушали, пока "moult leur dict de belles paroles", но когда проповедь закончилась, они ответили, что мессир Габриэль никогда больше не будет их господином, скорее каждый из них будет разорван на куски; но, продолжали они, маршал Бусико должен быть принят и почитаем всеми жителями Пизы, если он примет ее как свою вотчину.

"Никогда, - вскричал маршал, - я не мог извлечь такой выгоды из несчастья друга" ("car se n'est mie l'usage des François d'user de tels tours"). И он снова принялся восхвалять мессира Габриэля, но все было напрасно, так как последнее слово пизанцев заключалось в том, что если маршал сам не примет город за свой, то они просят его встретиться с ними в Ливорно на другой день, и там они отдадут себя непосредственно королю Франции, приняв французского губернатора за своего официанта, как это сделали генуэзцы за десять лет до этого.

Бусико отправился домой, мучительно размышляя между своим долгом перед сеньором и долгом перед вассалом. Он отправился в Порто-Венере, чтобы выступить в защиту Габриэля Марии, и, как казалось, вытеснил молодого человека. С другой стороны, поскольку было ясно, что пизанцы никогда не вернут себе Тиранетто, а город был вотчиной Франции, как он мог с честью запретить им полностью отдаться своему законному сюзерену? И в нем росло видение великого средиземноморского государства, французского, поддерживающего

интересы Франции на Востоке - ужас для сарацин и барбарийцев, светильник христианства, верный Истинному Послушанию, навсегда освобожденный от ереси Избранного Рима.

Прибыв в Геную, он послал за мессером Габриэлем и рассказал ему о случившемся; "de quoy feult moult dolent Messire Gabriel", который, несомненно, жалел, что не послал в Порто-Венере представителя, менее красноречивого и менее увлекательного. Но Бусико убедил его, что, поскольку он не может надеяться оставить город за собой, лучше доверить его королю Франции, который вознаградит столь щедрого вассала землями, столь же хорошими в других местах, чем позволить ему попасть во власть врага или соседа. Габриэль Мария согласился, как и должен был согласиться, и Бусико снова отправился на встречу с мятежниками в Ливорно.

Но пизанцы и не думали давать себе другого хозяина. Чтобы выиграть время, они играли с Бусико и льстили его слабостям. Они заявили, что, подумав, предпочли бы, прежде чем отдаться королю Франции, изгнать из Пизы людей мессера Габриэля, которые все еще находились в сильных местах, а вместо них послать туда гарнизон из французов и генуэзцев. Просьба казалась тем более неразумной, что Габриэль Мария сам был вассалом короля, и пизанцы могли подозревать, что их общий сюзерен лишь подтвердит власть отвергнутого *Тиранетто*. Бусико согласился, вернулся в Геную и договорился об обмене гарнизонами.

После этого пизанцы послали сказать, что крепость нуждается в ревитализации. Бусико, желая задобрить своих новых подданных, отправил своего племянника, нескольких господ из своего дома, многих господ и граждан Генуи, а также большую галеру, набитую провизией. Корабль проплыл вдоль побережья и вверх по Арно в Пизу; на пристани посольство сошло. Их сразу же настигла засада пизанцев, которые захватили желанный груз корабля и увлекли команду и пассажиров в мрачную и злодейскую тюрьму, используя их страдания как средство для получения большего выкупа от лейтенанта короля.

Получив достаточное количество провизии за счет Бусико, пизанцы начали чувствовать себя уверенно. Они отправились во Флоренцию, предлагая ей четыре своих замка, если она поможет им вернуть Ливорно, где в это время скрывались Бусико и Габриэль Мария, и отомстить обоим этим людям. Но флорентийцы ответили отказом, поскольку, по правде говоря, вели более плодотворные переговоры.

Флоренция в 1405 году переживала самый расцвет торговли шерстью, но у нее не было выхода для торговых приливов, не было порта, из которого можно было бы отправлять товары в Прованс или в Барбарю. Ей требовались не четыре пизанских замка, а сама Пиза и устье Арно. В то самое время, когда пизанцы предложили свою сделку флорентийской десятке, в этот августейший орган прибыл посол от Габриэля Марии Висконти с предложением продать им не только Пизу, но и пограничные замки Сарцана и Либрафатто, которые с Апеннинских гор охраняют равнину, на которой расположены Пиза и Флоренция. Обеспечить не только порт, но и укрепленную границу на случай вторжения с севера стоило огромных денег. Флоренция вспомнила свои давние ужасы, когда она почти полностью отдалась на милость миланского герцога. Она согласилась выплатить мессеру Габриэлю четыреста тысяч флоринов за права на его взбунтовавшийся синьорию. Однако они оговорили, что Бусико должен быть ознакомлен с этой сделкой и дать на нее свое согласие, иначе никакой сделки не будет.

Когда убедительный Габриэль Мария сообщил новость своему хозяину, маршал "qui toujours y avoit la dent" сначала категорически отказался дать согласие на отчуждение королевской вотчины; он даже послал в Пизу, чтобы ознакомить мятежников с планами их бывшего тирана, надеясь таким образом склонить их к объявлению себя подданными короля. Но

пизанцы продолжали кричать "Libertà". Тем временем Габриэль Мария и флорентийцы представили маршалу дело в другом свете. Мессер Габриэль - умный человек - посоветовал флорентийцам стать вассалами французской короны за пизанскую вотчину. Флорентийцы согласились с этим предложением, которое имело заметный вес у Бусико. И маршалу оставили возможность обдумать этот вопрос.

Флорентийцы просили Ливорно, а также Пизу, но Бусико упорно держался за более близкий порт. Он не мог уступить Ливорно без серьезного ущерба для Генуи. Но Пиза принадлежала ему только по имени. Не мог ли он оставить себе Ливорно, вещество, а в качестве платы за Пизу, тень, потребовать от флорентийцев верности Франции и истинному Папе? Озаренный этой светлой идеей, Бусико предложил Флоренции следующие условия:

1. Флорентийцы получают Пизу и все ее земли, кроме замка Ливорно; но они должны поклясться не вмешиваться в торговлю Генуи и не совершать морских перевозок ни на каких других кораблях, кроме генуэзских.
2. Через месяц после снижения Пизы флорентийцы должны объявить о своей приверженности папе Бенедикту XIII и возложить на себя обязанность обратить Пизу.
3. Если через шесть месяцев после упомянутой редукции Пизы избранник Рима все еще будет упорствовать в своем заблуждении, флорентийцы, французы и генуэзцы должны все вместе начать войну против него.^[123]
4. Чтобы для этого соглашения была запрошена ратификация короля и Совета.

Флорентийцы согласились, и гонцы были отправлены во Францию, где в Совете царила великая радость по поводу получения двух синьорий за одну. Король подтвердил это соглашение (как говорят) письмами-патентами, которые были отправлены в Геную и Флоренцию. Десятка выплатила определенные суммы (как мы узнаем из более позднего письма) Габриэлю Марии, а другие деньги - Бусико; и тогда флорентийцы всерьез возобновили осаду Пизы.

С ними боролись голод и мор, но доблестная Пиза оказалась непобедимой. Месяц за месяцем проходил в бесплодном героизме, и через год после возобновления осады флорентийцы по-прежнему неустанно атаковали, а пизанцы героически оборонялись. Тогда осажденный город отправил тайными путями гонца к Ладисласу, королю Неаполя, предлагая себя ему, если он будет ее защищать. Король пообещал, но ничего не сделал.

Через месяц или около того пизанцы тайно переправили второго гонца, на этот раз во Францию, которая предложила город герцогу Бургундскому на тех же условиях. Помня о прошлогоднем соглашении, по которому Пиза была передана Флоренции, Бургундия колебалась; и, понимая его недоумение, пизанские посланники, "которые так берегли тур своего бастона", обратились к некоторым советникам Орлеана и пообещали ему город; После этого советники побудили Орлеан и Бургундию, врагов, какими они были, пойти рука об руку к бедному королю и умолять его дать им разрешение принять дань Пизы. Карл, несомненно, был не совсем в своем уме. Документ о предоставлении Пизы Бургундии и Орлеану^[124] подписан "За короля" графом Танкарвилем и другими принцами. Древняя зависимость от Бургундии, слепая привязанность к Орлеану ("rien n'eut refusé à son frère"), объединенные с его недоуменной и слабой памятью, уничтожили прошлогодний договор. Король забыл о своих новых вассалах, забыл о Папе, о замыслах Бусико, о деньгах, которые ему выплатили флорентийцы в счет договора. Он отдал Пизу Бургундии и Орлеану, которые

написали флорентийцам, что те должны немедленно снять осаду, и послали к Бусико с просьбой помочь пизанцам.

Предыдущие трудности Бусико были ничто по сравнению с этой дилеммой. Как он мог отказать в службе королю, своему повелителю и сюзерену? А с другой стороны, как он мог нарушить данное им слово? Вассал и человек чести боролись в его груди; и из этого долгого и жестокого поединка человек чести вышел победителем. Так Бусико отказался покинуть своих флорентийских союзников, отказался помогать королевскому фьефу Пизы.

Когда флорентийцы все ближе и ближе подступали к осажденному городу, пизанцы в третий раз ухитрились тайно вывезти гонца, который должен был, как мог, пробраться в Асти (город Орлеан), а оттуда во Францию, чтобы умолять короля прислать гонца и подкрепление.^[125] Но пизанского посланника обнаружили во флорентийском лагере, и Каппони, генерал, утопил его в море.

Так что когда весть о его перехвате дошла до Парижа, было уже поздно что-либо предпринимать, кроме возмущения. Флорентийским купцам пришлось за это пострадать", - говорит Корио; а Дежарден (в своем предисловии к "Тосканским статистам") выражает удивление по поводу препятствий, поставленных на пути флорентийской торговли маршалом Бусико в том году. Ибо человеческая природа непоследовательна, и хотя Бусико с негодованием отказался покинуть своих союзников из Флоренции, тем не менее он был разгневан их успехом, который означал ущерб для Франции.

Ведь 10 октября 1406 года^[126] флорентийская армия вошла в Пизу, взяла гарнизоны цитаделей, установила свое правительство и со множеством заложников отбыла во Флоренцию. Пиза была с честью уступлена Франции.^[127] Пиза была потеряна, и это было очень неприятно и больно. Обиды и горькие имена, брошенные Бусико, задержание флорентийских послов Орлеаном,^[128] гнев самого короля - все это было и все безрезультатно. Флоренция была союзницей короля и слишком великой державой, чтобы подвергаться необдуманным нападкам; к тому же Флоренция была тверда в Пизе.

Если бы Орлеан был жив, он, возможно, предпринял бы экспедицию в Италию. Но в разгар разочарования он, как мы знаем, был убит. Мессер Габриэль Мария отправился в Милан, где некоторое время жил полупленником,^[129] полупредателем, а затем снова укрылся в Генуе. Но в 1409 году, когда Бусико уличил его в заговоре с необычайным вероломством против французов, он был безжалостно обезглавлен. Три года спустя, в 1412 году, после смерти Габриэле, этот заговор удался. Бусико и французы были изгнаны из Генуи, а войны Бургундии и Арманьяка, беды Азенкура и долгое вторжение англичан на тридцать лет отвлекли французов от попыток колонизации за Альпами.

II.

Флорентийское завоевание стало началом девяноста лет рабства для Пизы - ужасного рабства, тяжелого от непомерного импорта, горького от терпимого грабежа частных флорентийцев, унижительного от непрерывного шпионажа. Разорение обрушилось на прекрасный город; и по мере того как воды моря медленно отступали назад по отвоеванной Маремме, они подтачивали фундаменты его самых прекрасных дворцов. Малярия и упадок шли рука об руку по улицам, а вокруг разрушенного города единственное целое - мощные крепости Флоренции - возвещали о богатстве и могуществе угнетателя. Дело не в том, что флорентийцы были скупыми: они обильно и щедро тратились на укрепления и гарнизоны для своих солдат, на университет в Пизе для своих сыновей, платили самому изобретательному из живых флорентийских живописцев, чтобы он нанес свои фрески на стены пизанского

Кампо-Санто. Но они тратили свои деньги по-мастерски, провозглашая и поддерживая славу Флоренции, а не облегчая страдания Пизы. Да и сами пизанцы были не в состоянии ни восполнить упущения Флоренции, ни направить и посоветовать более эффективное расходование средств. Они превратились нацию бедных ремесленников, поскольку все их древние ремесла теперь были им запрещены. Флоренция обеспечила первенство своим собственным производствам, полностью запретив шерстоткачество, шелкопрядение, кораблестроение, в которых пизанцы преуспевали на протяжении многих веков. Более того, ни один пизанец не мог торговать товарами по суше или по морю. Ограниченные самыми простыми ремеслами, они лишились ресурса богатства; лишенные государственных должностей, лишенные самых обычных гражданских прав, они погрузились в немое и долговременное рабство, втайне питая искру пламени в своих мятежных сердцах.

Пиза была Ирландией Флоренции, плененной и еще не побежденной. Вечно готовая к восстанию, она ни на час не забывала о своем античном превосходстве. С помощью многочисленных изгнанников, которых Флоренция изгоняла из дома, она постоянно поддерживала связь с врагами Флоренции. Люди, изгнанные за частные преступления, - самые подлые из пизанцев - становились в изгнании патриотами и посвящали лучшие силы своей души служению несчастной стране. Флорентийцы, процветающие и преуспевающие, были разделены между собой на полдюжины различных фракций, и патриотизм для них означал в основном благочестивое самодовольство, перечеркнутое партийными принципами. Но магия несбывшейся славы, пафос, который нависает над местом рождения, когда оно когда-то было великим, а теперь рухнуло - эти личные и всемогущие чувства вдохновляли пизанцев всех рангов и сословий. Среди них не было ни одного, кто не уклонился бы от героизма или (как казалось флорентийцам) от предательства, чтобы вернуть своей стране ее древнее величие.

Именно с Венецией и Миланом пизанцы вели особые дела. Для них не имело значения, что в душе эти две державы были смертельными врагами; что с момента смерти Филиппо Мария Висконти венецианцы вместе с Орлеаном замыслили уничтожить дом Сфорца; что Лодовико иль Моро не оставлял шансов ограничить притязания своего адриатического соперника. Пизанцы не принадлежали ни к одной из партий; их единственным политическим принципом была ненависть к своим завоевателям, и (как они заявили немного позже) из них двоих они предпочитали дьявола флорентийцам.

Такое терпение, как у них, непрерывно работающих под землей, никогда не устающих, воинственных, но не агрессивных, не может не встретить удобного случая. Наконец пизанцам представился благоприятный шанс. Король Франции, который в 1483 году проигнорировал приглашение венецианцев, десять лет спустя принял уговоры Лодовико Миланского, и осенью 1494 года войска Карла VIII вторглись в Италию.

Во времена войн и опасностей флорентийцы имели обычай вызывать во Флоренцию глав всех пизанских семейств в качестве заложников за хорошее поведение их семей и сограждан.

Но осенью 1494 года Пьеро Медичи, забывший обо всем, забывший о гарнизонах своих границ, забыл призвать пизанских заложников во Флоренцию, хотя французы неуклонно наступали на Тоскану, а пизанцы жаждали восстания. Каждый пизанский дом был цел и невредим в тот памятный день 30 октября, когда в заснеженном лагере французов под Сарзаной Пьеро Медичи вручил королю Франции ключи от тосканских крепостей. Конечно, предусматривалось, что Карл вернет города флорентийцам по возвращении из Неаполя: но в те смутные времена могло произойти много событий, которые перевесили бы ценность

клятвы. С приходом короля Карла пизанцы обрели возможность, которой так долго, так терпеливо, так горячо желали; и французская армия и надежда на свободу вошли в несчастный город рука об руку.

III.

Было 8 ноября, воскресный вечер, близился к закату, когда армия Карла VIII прибыла в Пизу. Косые лучи осеннего солнца освещали блестящее зрелище, омытое мягким ароматом чудесно теплого лета Святого Мартина, которое в 1600 1494 году сменило суровость предыдущих месяцев. Уставшие от похода через ветреные Апеннины, иностранные солдаты нашли в Пизе город, полный друзей. На улицах были накрыты столы, где все могли отведать вина и мяса и насладиться гостеприимством города. Ветки сосен и ветви осенних роз выдыхали свежий аромат, а разрушенные стены потрескавшихся и отсыревших дворцов были скрыты огромными квадратами бледно-малинового шелка, золотой парчи и турецких ковров, которые висели у каждого окна.

По этим изменившимся улицам, украшенным к празднику, навстречу королю выходили вереницы священников в шлемах и мантии, несущих святейшие реликвии. Но эта, торжественная и официальная часть его приема, померкла в момент события, став совершенно неважной. Поначалу все происходило так, как и было задумано. Огромная пестрая толпа французской армии топталась под ветвями сосен и роз; священники встречали солдат; наконец, король подъехал на своем огромном черном коне Савоие под балдахин из голубого шелка, поддерживаемым пизанскими дворянами; но когда люди увидели этого маленького молодого человека с большой головой, яркими глазами, тонкими ногами, высокими плечами и причудливым приятным воздухом эльфийского уродства, они забыли о достоинствах официального приема. Это был король Франции! Это была всемогущая держава, которая в разные моменты истории простирала свои приглашающие и благосклонные эгиды над Асти, Генуей, Савоной, да что там, даже над Неаполем и надменной Флоренцией, чтобы укрыть их от жестокости тиранического соседа. Но вместо грозного величественного символического монарха они ожидали увидеть благосклонного, довольно гротескного юношу с самыми блестящими и восторженными глазами, добрым некрасивым лицом, робкими манерами и полным отсутствием того античеловеческого великолепия, которое эти поработанные республиканцы ожидали увидеть в короле. Огромная волна любви, ожидаемой благодарности прокатилась по сердцам всех этих людей: он был, он должен быть их героем, их освободителем. Со слезами страсти, текущими по щекам, мужчины, женщины, даже маленькие дети бросились в ряды изумленных солдат, видя вокруг каждого измученного непогодой лица мерцание ореола, давясь, торопясь, толпясь к королю, крича все вместе своими рыдающими голосами "Libertate, Libertate!", а те, кто владел парой слов французского, заикались на своем мягком пизанском акценте, призывая на языке своей далекой страны: "Либерте, либерте, дорогой сир!". В этой вспышке энтузиазма не было никакого жеманства, даже почти идолопоклонства. Любой человек, который был сильнее Флоренции, был для пизанцев возможным героем. Великая пестрая армия Карла доказывала его силу, а в грубых приветливых лицах повелителя и людей пизанцы распознавали способность к сочувствию.

Пизанцы были в некоторой степени подготовлены к тому, чтобы найти эту добродетель во французах, благодаря переписке пизанских изгнанников с Лодовико Миланским, чьей козырной картой было обеспечить, по возможности, освобождение Пизы французами, а затем, после их возвращения во Францию, предложить себя в качестве защитника покинутого города. Этот план был настолько хорошо продуман, что, если бы только был дан первый толчок, машина должна была бы работать сама собой; ведь пизанцы, несомненно,

приняли бы свою свободу, если бы французов можно было заставить ее предоставить; и, что не менее важно, французы после возвращения во Францию не могли позволить себе удерживать Пизу против не только Флоренции, но и Милана, Венеции, Генуи и Лукки, которые ни один из них не согласился бы отдать средиземноморский порт Карлу. Лодовико был убежден, что пизанцы предпочтут неопробованное миланское иго ненавистным узам Флоренции. Главное было дать первый толчок.

Для этого миланский герцог, покидая французский лагерь в предыдущий вторник, оставил за собой Галеаццо ди Сан-Северино, блестящего молодого мужа своей родной дочери. Галеаццо было поручено сделать все возможное, чтобы склонить французов к защите пизанцев в восстании против Флоренции. Он не упустил столь прекрасную возможность. Не успели Карл и его вельможи оказаться во дворце Медичи, а неотесанные французские солдаты разместиться в пизанских домах как сыновья и братья, как ловкий молодой Сан-Северинеско созвал частный совет главных пизанских вельмож. Он посоветовал им, как сын Милана, а также как друг и доброжелатель их самих, сразу и полностью отдаться щедрости Франции. Это был заманчивый совет; однако некоторые, и среди них воинственный Джулио делла Ровере, кардинал Святого Петра ад Винкула, были сторонниками терпения. "Что мы будем делать, когда Франция покинет город?" - спрашивали они друг друга. "Милан защитит вас!" - воскликнул мессер Галеаццо с вдохновляющей уверенностью.

Пизанцы колебались лишь мгновение. В Венеции или в Милане они всегда надеялись обрести наконец свободу или хотя бы сменить хозяев. Франция, опирающаяся на Милан, казалась наиболее желанным избавителем: древний сюзерен города, поддерживаемый его последним другом. В тот момент трудно было представить себе более сильное соединение в Италии; ведь в 1494 году о Карле говорили как о втором Карле Великом, и никто не осмеливался связывать триумфы Лодовико Миланского. "Все, чего он желает, - писал венецианский секретарь почти в это самое время, - все, чего он желает, Фортуна ему уступила, и все его планы сбываются". Для Франции и Милана защитить Пизу от остальной Италии в 1494 году было все равно, как если бы Россия и более сильная Сербия в наши дни объединили свои силы, чтобы защитить Болгарию от гнева других балканских государств.

Венеция на краткий миг погрузилась в тень. Она, которая так ловко лавировала, чтобы сместить Аррагона и Сфорца с помощью Франции, увидела, к своему огромному огорчению, как Карл VIII следует ее собственным предложениям относительно Неаполитанского предприятия с Лодовико Сфорца в качестве своего наставника и союзника. Милан занял место Венеции во французском совете; Милан, который французы должны были завоевать как свою первую добычу. "Удивительно, как этот человек преуспевает", - писал Марин Сануто. "И все же может случиться так, что он наконец перехитрит сам себя. Дай Бог, чтобы он хорошо кончил! Но я в это не верю!"

В Пизе Лодовико добился нового успеха. Напрасно Винкула (впервые в жизни, по словам Гиччардини, автор спокойных советов) доказывал собравшимся вельможам опасность этого шага. Они были вне себя от надежды на свободу; и действительно, все французы сходятся в том, что их положение было поистине отчаянным. "Жалкое и плачевное", - говорит Дезри, а Комминс, убежденный флорентиец, допускает, что с ними обращались так же жестоко, как с рабами. Для людей, оказавшихся в таком бедственном положении и получивших совет от столь важной персоны, как Сан-Северино, никакой риск не кажется слишком большим, чтобы идти на него, оставляя шанс на свободу.

И вот той же ночью пизанцы, все еще в парадных нарядах, но с растрепанными волосами, траурными лицами, сцепленными руками и слезящимися глазами, толпой ввалились в зал

совета изумленного короля. "Было прискорбно, - пишет очевидец, - слышать, как они рассказывают о своих обидах и несчастьях". Как будто в разгар торжества один из них с многозначительной иронией приподнял угол бледного шелкового гала-вешалки и обнажил заплесневелый камень, неприглядные руины под ним. Когда пизанцы показали реальную деградацию своего рабства, легкомысленная гуманность французов была тронута до слез; и когда мессер Симоне Орланди (опытный джентльмен, умевший выражаться по-французски) закончил свой рассказ, не только пизанцы, бледные от негодования и жалости, обратились к королю Франции, сидящему на троне Медичи, и воскликнули ему: "Либерте, либерте, дорогой сир!"

В этот момент опытный легист, советник парламента в Дофине, по имени Рибо, который также был мастером запросов при дворе, обратился к королю и сказал: это действительно прискорбный случай, и что никогда, наверняка, других людей не использовали так жестоко, как этих. Сам король, тронутый до глубины души, как и все эти откровенные и простые французы, не подозревая о страданиях, скрытых под золотыми парчами этой фантастической Италии, и не совсем понимая (как предполагает Комминс), что именно пизанцы подразумевают под словом "свобода", ответил туманно, что он был бы доволен, если бы они наслаждались ею. Такова, по крайней мере, мягкая версия Коммина, который в то время отсутствовал в Венеции; но Пьер Дезри, фактически присутствовавший на месте событий, вкладывает в уста Карла более весомый аргумент: "Il les assura de les conserver dans leurs franchises".

В ту ночь флорентийцы в Пизе - чиновники, судьи, купцы и солдаты гарнизона - были изгнаны острием меча из мятежного города. Статую Марцокко, стоявшую на мосту, тысячей осколков сбросили в грязную Арно; флорентийский штандарт тащили и топтали в трясине, а костры до утра возвещали о поражении союзников короля. На следующий день после полудня Карл покинул город. Он разместил в новой цитадели гарнизон из трехсот французских солдат, назначил трех комиссаров для надзора за делами, но не предпринял никаких шагов, чтобы навязать этому вспылчивому и внезапно получившему права народу хотя бы малейшие ограничения гражданского порядка. К счастью, городские дворяне взяли дело в свои мудрые руки. Через двадцать четыре часа после вступления французов Пиза стала свободной республикой, управляемой гонфалоньером, шестью приорами и Балией десяти, с новым ополчением и, впервые за восемьдесят лет, пизанским гарнизоном в древней цитадели.

III.

Если мы спросим, какое право имел король Франции отпускать на свободу подданных своих союзников, одолженных ему по нужде в качестве временной кассы, мы найдем ответ на этот вопрос трудным. Для таких государственных деятелей, как Коммин или Бризонне, в освобождении Пизы королем было что-то шокирующее и бесчестное, что-то такое, что самые нежные паллиативы для щедрой молодости и неопытности не могли оправдать. С другой стороны, для свежих энтузиастов, таких как Линьи или сам король, в оставлении пизанцев в очевидном рабстве была некая бесчеловечность, которую не мог смягчить никакой кодекс политической чести.

Эти две партии и эти два совета отправились с королем из Пизы в Эмполи, где он и заночевал в ночь на понедельник - несомненно, в том же самом плохом трактире, который так плохо приютил авантюристов Медичи всего пятнадцать ночей назад. Когда во вторник король прибыл в Синью, он узнал, что город Флоренция охвачен восстанием. Флоренция и Пиза, не зная друг друга, в один и тот же день вернули себе свободу. Когда король Франции

увидел группу куполов и башен вдоль Арно, его юный гость из Сарцаны, еще недавно бывший повелителем всей этой красоты, бежал в Болонью через горы, переодевшись и заплатив за свою голову.

Карл, воспитанник миланского герцога, не был расположен к Флоренции; его не умиротворял и тот факт, что Пьеро Медичи был изгнан из города за большие уступки, которые он сделал Франции во время своего беглого визита в Сарцану. Месяц назад король заявил, что только Пьеро был его врагом, а город - его другом; с 30 октября он изменил свое мнение, теперь его другом стали уступчивые Медичи, и его гнев был направлен против мятежной Флоренции.

Однако что Флоренция сделала более дерзкого, чем то, что сам Карл одобрил в Пизане? Флоренция изгнала Медичи, Пиза - флорентийцев, причем почти в один и тот же час. Но тот факт, что флорентийцы осудили заем крепостей, ожесточил сердце короля, осознавшего, что освобождением пизанцев он оправдал самые большие их опасения. По сути, это был самый страшный вред, которым враг мог угрожать Флоренции; и Карл сделал это, несмотря на свое имя друга. Вполне естественно, что он затаил обиду на союзника, которого обидел; и когда 17 ноября французы вошли во Флоренцию, было замечено, что король проехал по улицам с копьем на бедре, с видом оскорбленного завоевателя. Мысли его были столь же надменны, как и повадки, и он готов был потребовать от Республики независимости Пизы и восстановления Пьеро на главном посту в правительстве.

Но флорентийцы были не менее решительны, чем Карл. Каппони выступил со своей знаменитой угрозой, и король, после десяти дней тщетного парада силы, 25 числа месяца заключил с флорентийцами торжественный договор. По условиям этого договора Пиза и Ливорно оставались в руках короля до его возвращения из Неаполя, а затем возвращались Флоренции; король должен был решить между Генуей и Флоренцией вопрос об окончательном распоряжении Сарзаной и Пьетро Санта; Король не должен был более ничего говорить до марта о реставрации Медичи, когда Синьория, если пожелает, пересмотрит вопрос, а пока, по требованию короля, цена была снята с головы тиранов, а жене и ребенку Пьеро было разрешено остаться во Флоренции. Синьория согласилась выплатить королю, в три срока, сумму в 120 000 дукатов на расходы кампании; но для нас самым важным условием этого договора (с которым студент может ознакомиться в первом томе "Негоциации" Дежардена) является то, которое обеспечивало полную амнистию для Пизы. Кроме того, Флоренция обещала в пользу короля управлять этим городом в будущем более либерально и мягко.

Не прошло и трех недель с тех пор, как Карл обещал сохранить пизанцам свободу, а несчастные патриоты, которые не могли проникнуть (Комминс утверждает, что ни один итальянец никогда не мог этого сделать) в переменчивую путаницу двора, не знали, да и не хотели понимать, что вчера баланс держали Бокер и Линьи, а сегодня - Ганне, Гие и Бризонне. Единственным утешением, которое они могли найти в этой нестабильности, была возможность того, что их сторонники вскоре снова придут к власти, и поэтому они постарались заручиться поддержкой Линьи (кузена короля) и Пьенна - двух молодых джентльменов, ровесников короля, которые были его неразлучными спутниками, носили доспехи, как у него самого, и королевские цвета. На стороне этих двух галантов выступал сенешаль Босера, один из двух особых советников короля. Но второй, Бризонне, поддерживал флорентийскую партию. Старшие и более дипломатичные государственные деятели, такие как Гие, Ганне и Комминс, были на стороне Флоренции.

Таково было положение двора, когда в январе 1495 года пизанцы отправили в Рим, в качестве последнего отчаянного защитника своей крайности, дворянина из своего города, знатока французского языка, мессера Бургундио Леголо, или Лоло, как называли это имя нестройные пизанские голоса. Король принял посла милостиво, но в присутствии флорентийских посланников; и партия жалости, и партия чести (если так можно назвать фракции Линьи и Бриссонне) были в сборе, когда пизанский адвокат начал обращаться к королю:

"Вот уже почти девяносто лет, ^{-[130]} начал Бургундио Лоло, - город Пиза, некогда величайший в Италии, некогда несший свою империю в глубины Востока, терпит иго невыносимого рабства. Жестокая алчность Флоренции привела наш город в такое запустение, что на его улицах почти не осталось жителей, ибо большинство его граждан, не в силах вынести это изнурительное рабство, отправились в добровольное изгнание, покинув родные края. Те же, кто остался, не в силах вырвать из своих сердец любовь к родине, действительно отказались от всего остального, что делает жизнь сносной. Грубые и жестокие поборы иностранцев, наглые грабежи частных флорентийцев, несправедливость, запрещающая нам заниматься искусством, торговлей или государственными должностями, чтобы восстановить свое упавшее состояние, оставили нам пустую жизнь, лишенную всех удовольствий: Да что там, даже смертельно опасной, ибо глинистые болота, которые наши предки содержали с точным и благочестивым усердием, теперь так мало осушаются, так долго игнорируются, что воды Мареммы заливают наши прекраснейшие дворцы, а наши церкви, наши дома, наши общественные здания превращаются в руины, пока миазмы этих застойных вод порождают среди нас тяжкую лихорадку. И куда же нам обратиться, чтобы забыть о своем несчастье и бесчестии? Нам, лишенным выхода нашей энергии и нашим амбициям? Проводя пустые часы досуга на разрушенных улицах нашего некогда славного города, разве не испытываем мы жалость к разрухе? Разве не смотрим с умилением на бесчестные остатки великолепия наших предков? И если Пиза после долгой славы не позорно пришла в упадок - ведь всему великолепию мира сего присуща эта фатальность разложения, - то не разумнее ли даже ее завоевателям, размышляя о ее древнем величии, обратить свое сердце к жалости, а не использовать столь жестокое преимущество над городом, в упадке которого они, по правде говоря, должны были увидеть неизбежное предвестие своего собственного?"

"Увы, столь жестоким, столь ненасытным, столь нечестивым было флорентийское владычество, что вместо того, чтобы вернуться в это рабство, мы готовы лишиться самой жизни. И вот, наконец, для нас забрезжила надежда - дорогая надежда на свободу; и мы умоляем вас, о король Франции, со слезами - не только этими несколькими видимыми моими слезами, но и невидимыми и обильными причитаниями всего далекого города - здесь, у ваших ног, о король, я умоляю вас вспомнить, какая справедливость, какое благочестие, какое милосердие великодушного принца будет вечно сиять вокруг вашего имени, если вы решите быть отцом и избавителем Пизы, а не министром рабства Флоренции."

Наступила тишина. В этих словах люди, казалось, услышали отголосок того естественного закона, который незыблемо живет за удобствами наций - νομῖμα ἄγραπτα καὶ σφαλῆ θεῶν. Лицо короля сияло; энтузиазм Линьи и Пьенна отразился в поведении Босера, человека опрометчивого и низкого происхождения, которого тронула жалость, тронули деньги пизанцев, а также (если верить Гиччардини), тронуло соперничество с Бризоннетом. Другая сторона с некоторым беспокойством ждала ответа флорентийского посла от Лоло. Содерини, епископ Вольтерры, был практичным и выдающимся государственным деятелем, но на эту взволнованную аудиторию его слова падали без крыльев, чтобы достичь их сердец.

Флоренция, сказал он, купила Пизу за хорошие деньги. Она была добрее, чем следовало, ибо, когда своиравные пизанцы сдались, полумертвые от голода, она привезла больше провизии, чем огнестрельного оружия, чтобы покончить с их покорностью. Она имела право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, и будь она в тысячу раз суровее, кто бы встал между человеком и его собственностью? Смешно говорить о древнем величии Пизы - Бог покончил с ней задолго до флорентийцев, а сама она с момента покупки была для Флоренции жалкой сделкой.

Так говорил твердолобый епископ Вольтерры. Но даже в изложении флорентийского историка эти аргументы не произвели должного эффекта; как он утверждает, было совершенно ясно, что пизанский защитник произвел на короля гораздо более глубокое впечатление. А поскольку на той же неделе Бризонне был отправлен во Флоренцию с дипломатической миссией, пизанская партия осталась триумфатором в лагере, где вместе с (Коммином в Венеции и Бризонне в Тоскане) Бокером, Линьи и Пьенном в данный момент находилась вся королевская благосклонность.

IV.

Луи де Линьи-Люксембург, Великий камергер Франции, двоюродный брат короля по матери-савойе, был сыном того несчастного графа де Сен-Поля, обезглавленного Людовиком XI. Он был не только одним из великих дворян Франции, но и одним из первых джентльменов Европы, поскольку его дом был древним и прославленным по происхождению и особенно удачливым в браке. Тем не менее молодой человек был беден, но благодаря своим очаровательным манерам, смелости и ловкости он занимал важное место не только при дворе короля, но и при Орлеанском дворе. Граф де Линьи, рыцарственный, влюбленный и жалкий, на краткий миг промелькнул, как фигура Юноши в аллегии, на серьезной сцене итальянских войн; а его трагическое детство и меланхолический брак, кажется, еще ярче высветили присущий ему блеск этого сверкающего присутствия.

Он был, по словам французских летописцев, "prince gentil vaillant, adroit et généreux", образец для дворян и возлюбленный дам. Гвиччардини, глядя с другой точки зрения, называет его малолетним, неопытным и легким. Комминс, цитируя последнего авторитета, кратко излагает причину, по которой мы остановились на нем: "Прежде всего, - говорит он, - этот молодой господин особенно благосклонно относился к делу пизанцев".

Линьи всегда был политиком Орлеанской партии, той ранней фракции, которую так долго стимулировала интригующая Венеция и которая стремилась не только к завоеванию Неаполя, но и к закреплению Милана. При наличии этих двух великих владений в обоих концах Италии было ясно, что Пиза станет отличным промежуточным пунктом. Жалость к пизанцам, вероятно, была основным двигателем действий Линьи, но, несомненно, он хотел продолжить политику Орлеана. И не успела закончиться зима, как женитьба Линьи привела к тому, что он стал лично заинтересован в игре.

Ранней весной 1495 года Карл VIII прибыл в Неаполь. С тем роковым недостатком политики, которому суждено было сорвать более чем смертельный триумф, он начал щедро раздавать владения неаполитанской аристократии своим фаворитам и соотечественникам. Более мудрый король примирил бы местных баронов и скрепил их интересы со своими, чтобы, покинув страну, оставить после себя целую аристократию наместников. Но Карл думал только о том, как вознаградить своих любимцев. Дочь принца Альтамура, последняя из рода, наследница огромных владений, была отведена под Линьи.

Мадонна Лионора была юной принцессой, представлявшей более чем общий интерес, последней Альтамуры по прямой линии, последней представительницей рода, претендовавшего на происхождение от трех королей Востока. Графа Линьи легко было сделать фактически принцем Альтамуры, женив его на этой юной девушке. Так и было сделано, но Линьи едва исполнилось семь дней, как он стал женихом своей прекрасной магини, когда король, встревоженный приготовлениями Лиги, решил отправиться в поход на север. Линьи, конечно же, отправился с ним, оставив невесту в монастыре. И на долгом пути на север желание быть рядом с молодой женой и своими новыми владениями придало еще большую остроту плану создания центрально-итальянской французской зависимости, губернатором которой должен был стать сам Линьи. Когда армия достигла Сиены, хотя город и был вотчиной Священной Римской империи, а значит, был замешан в Антигалльской лиге, тем не менее республика объявила себя на стороне Франции, потребовав Линьи в качестве своего губернатора. Молодой человек оставил там гарнизон под командованием Гоше де Тинтевиля и отправился с королем, надеясь проводить такую же политику в Пизе.

Король еще не решил, где он остановится - в Пизе или во Флоренции. Накануне праздника Тела Христова, в среду, 17 июня, французы достигли Поджибонси, где дороги расходятся. Здесь они остановились на день, чтобы соблюсти праздник, и здесь короля встретил не кто иной, как Савонарола, в сопровождении пятидесяти знатных людей Флоренции. В тот момент это должно было сильно противоречить планам Линьи, ибо если и был в Италии человек, к которому французы относились с любопытным, полусуеверным уважением, то это был этот авторитетный монах, с суровой сладостью в голосе, сатурнической головой, язвительным и любящим выражением в болезненной улыбке, который, как уполномоченный небес, предсказал их приход еще до того, как их уговорили на этот шаг.

Поджибонси, как я уже говорил, - последний значительный город перед разрывом путей, ведущих в Пизу и во Флоренцию. На таком перепутье находился и ум Карла. Куда ему свернуть? "Сдержать клятву, восстановить города, уважать Флоренцию, чтобы не навлечь на себя страшный суд Божий, чье имя, если только вы не сдержите клятву, вы напрасно произнесли на алтаре святого Иоанна во Флоренции!" Так гремел Савонарола; в пользу этого плана говорило многое: во-первых, сильное личное влияние пророческого Феррарезе; во-вторых, то, что Карл остро нуждался в деньгах и надеялся занять их во Флоренции; в-третьих, в Поджибонси он слышал, что война началась, что Орлеан находится в Новаре, а значит, он сам и его горстка войск отчаянно нуждались в флорентийской армии. Немного уговоров, и, без сомнения, король отправился бы во Флоренцию; но Савонарола не стал уговаривать, а пригрозил. Город, говорил он, вооружен до зубов; она примет короля скорее как блудного, чем как завоевателя. Если он хочет примирить ее, пусть сдержит свое слово; тогда, но только тогда, она осыплет избранных Божьих своими благами.

Этот акцент не был так трогателен для короля, как мольбы Бургундио Лоло. Пиза, как хорошо знал Карл, приняла бы его как героя и избавителя, но в Пизе не было ни людей, ни денег.

В этой неопределенности прошло два дня; король попеременно заверял Савонаролу, что сдержит свое слово, данное Флоренции, и протестовал, что у него не хватит духу нарушить обещание, данное ранее пизанцам. Выйти из этого затруднительного положения можно было только с помощью нарушенных клятв и предательства. Это был деликатный вопрос для рыцарского принца, вскормленного, как Карл, на Амадисе и Артуре: ведь сохранить веру в пизанцев означало бы погубить своего союзника, а сохранить веру в Флоренцию - отдать в рабство народ, который торжественно отдал себя под его защиту. Не было и политических преимуществ. Флоренция, конечно, предлагала людей и деньги, в которых так нуждалась; но Пиза предлагала убежище на случай неудач на севере или если флорентийцы окажутся

такими же неверными, как и остальные итальянцы. Ведь Пиза была не просто дружественным городом, а городом, фактически находящимся в руках Франции. Это, конечно, был аргумент - "тем не менее, - говорит Гиччардини, - я сомневаюсь, что что-то столь логичное могло повлиять на короля. Гораздо сильнее на него подействовали слезы и мольбы пизанцев". Эти слезы, невидимые и обильные, как воды жизни, Бургундию Лоло цитировал королю в Риме; и спустя столько месяцев память о пизанском защитнике успешно противостояла реальному влиянию Савонаролы.

Наконец какая-то соломинка решила неустойчивое равновесие. В деревне Кампана, или Кассино, расположенной неподалеку от Флоренции, король узнал о жестоком набеге флорентийцев на пизанский город Понтевалле. В форте находились французские солдаты, но когда французские лучники пришли на помощь, они обнаружили, что в маленьком местечке нет никого, кроме умирающих людей, колеблющихся хищных птиц и трупов. Король был в ярости против флорентийцев, но с той легкостью на душе, которая бывает после принятия трудного решения, он встал спиной к городу, "и с радостью направился к Пизе".

V.

История не решается ораторским искусством. Красноречие Лоло, угрозы монаха, сговорившись с минутным беспокойством и гневом, привели к тому, что французы остались в Пизе. Оставалось узнать, что предпримет Карл. Первый шаг мало что обещал; чтобы уберечься от повторной капитуляции перед порывом момента, Карл отправил во Флоренцию гонца, пообещав сказать последнее слово, только когда прибудет в Лукку.

Но если историю на самом деле решает Необходимость - эта мрачная и решительная Ананке, которая вырезает по своему образцу самые разные характеры, делая из Людовика XI и Генриха V., Если Необходимость и медленная эволюция идей управляют человеком и оставляют его едва ли более независимым, чем гвоздь, который, правда, движется, но лишь для того, чтобы следовать контролю притягивающего магнита; однако мир прогрессирует не только благодаря непрерывной последовательности Закона. Кометы и катаклизмы, чума и землетрясения, а в нравственном мире внезапные, яростные вспышки энтузиазма или экстаза прерывают и изменяют его ход.

Побуждаемый минутным негодованием, порывом жалости и воспоминаний, Карл не успел въехать в Пизу, как король возобновил свою власть над Человеком. Он отправил, как я уже говорил, посольство во Флоренцию, успокоив, как мог, этот могущественный и богатый город, отложив ответ и попросив тем временем денежный взнос и триста копий. Флорентийцы не прислали денег и только восемьдесят копий, и Карл понял, что малейшее дополнительное напряжение разорвет ту тонкую нить, которая еще связывала его с французами. Отныне он закалил свое королевское сердце против невежливой жалости. Напрасно он смотрел на свою статую на мосту, украшенную скульптурами, решительный, героический, Спаситель города, попирающий ногами флорентийского льва и миланскую гадюку. Напрасно при входе армии маленькие пизанские дети, одетые в белый атлас, усыпанный *флердоранжами*, бросались к воротам встречать солдат, крича своими высокими, сладкими, уверенными голосами: "Viva Francia!" И напрасно ранним утром, когда король возвращался после напряженного таинства мессы, он встречал на улицах самых прекрасных дам города, босых, растрепанных, одетых, как рабыни, в грубые траурные одежды, которые падали перед ним на колени, вздыхая и причитая о свободе.

Самое большее, что мог сделать Карл, - это откладывать, медлить, колебаться; он не мог заставить себя пообещать больше. Он, с остатками своей армии, был один во враждебной

стране, в любой момент мог столкнуться с силами Венеции, Милана, Испании, императора и папы; между тем Флоренция была его единственным надежным другом. Флоренция была для него честным и порядочным союзником; смеет ли он покинуть ее? Должен ли он отплатить за ее жертву гибелью? И все же эта верная Флоренция поступила с Пизой жестоко и антигуманно. А ведь Пиза доверяла ему; Пиза была его нежным другом. Мог ли он бросить раненого зайца, укрывшегося под его королевской мантией, на растерзание свирепым глазам и разинутой пасти гончей, служившей ему?

Этот вопрос мучил его совесть. Но для короля этот вопрос был решен легко. Его первым долгом была страна и его войска; Флоренция могла помочь ему добраться до Орлеана в безопасности и с некоторой долей славы, но Пиза не могла оказать никакой активной помощи.

Тем временем армия загорелась совершенно иными убеждениями. Внезапно король Карл, обожаемый завоеватель, второй Карл Великий, маленький неграмотный и некрасивый капитан, преданность солдат которого так поражала миланцев, увидел себя посреди своих войск почти без власти. Армия, как один человек, поднялась и заговорила от имени пизанцев.

Укрытый в этом убежище Пизы, с обиженными флорентийцами, постоянно донимающими его аванпосты, с Апеннинскими горами и (одному Богу известно, где) пятизубой ловушкой Лиги, в которую должны были попасть его маленькие силы, - в этом ужасном осложнении Карл увидел, что ему угрожает не что иное, как мятеж его собственной армии. И за что? Не из-за легкомыслия и безрассудства, которые привели эту горстку солдат на борьбу с такими страшными трудностями. Этот мятеж был вызван исключительно жалостью к людям, чье положение, несомненно, было менее опасным, чем у их возмущенных поборников.

Но весь день армия стояла перед дворцом и кричала "Свобода! Свобода!" более энергичными голосами, чем голоса пизанцев. Армия заразила двор, и однажды, когда король сидел за игрой в шашки наедине с месье де Пьеном, сорок или пятьдесят джентльменов из королевского дома со своими приверженцами ворвались в его покои и продекламировали беды Пизы. Карл был возмущен и говорил с ними так грубо, что они отнесли свои уговоры и угрозы в другое место. Даже бедные лучники, говорит Комминс, движимые жалостью к слезам и причитаниям пизанцев, угрожали тем, кто, по их мнению, убеждал короля сдерживать клятву во Флоренции. Один рядовой лучник угрожал Бризонне, другие грубо обращались с маршалом де Гие, а президент Ганне три ночи не мог спать в своих покоях. Французы заразили швейцарцев; и эти свирепые гиганты, которые через несколько дней должны были устроить резню мужчин, женщин и детей в Понтremoли, проявили себя столь же страстно в своих извинениях за свободу. "Вам нужны деньги?" - кричал молодой Саллезарт, их начальник. "Разве только деньги ведут вас к этому позору? Возьмите скорее наши воротники, пряжки и серебряные украшения; прекратите выплачивать нам жалованье и потратьте сумму наших недоимок. Мы заплатим вам не хуже, чем Флоренции! Только освободите пизанцев!"

При таком энтузиазме Карл не осмелился высказать противоположное решение. Напрасно Бризонне и его партия призывали к немедленной верности Флоренции. Коммину бесполезно было замечать, что сохранение верности Флоренции не исключает чувства нежнейшей заботы о Пизе, хотя, в конце концов, как заметил превосходный дипломат, "многие города Италии, находящиеся в подчинении, подвергаются такому же дурному обращению, как и она" - *Sie ist nicht die Erste*. Карл ничего не обещал Пизе, ничего определенного; но и Флоренции он не давал никаких клятв. Он знал, что перед его маленькой армией стоит самая

суровая и задача, физически невыполнимая для обескураженных и недовольных войск. Поэтому он написал флорентийцам, что даст ответ не в Лукке, а в Асти; и хотя в душе, как мы увидим, он намеревался добиться наилучших условий для Пизы, а затем вернуть ее флорентийцам, он оставил в городе французский гарнизон, триста отборных людей, с трудом пощаженных, под управлением Робера де Бальзака, сеньора д'Антрагэ. Таким образом, с помощью разумного временного решения Карл надеялся развязать гордиев узел. Отвернувшись от трудностей, он думал, что подавил их. Но разве эти триста человек, оставленные в Пизе, могли стать более послушными отсутствующему монарху? Разве Энтраг, человек из Орлеанского дома, кандидат Линьи, мог проводить в жизнь взгляды Коммина или Бризонне вопреки открытой политике своего господина и покровителя? Карл, надо полагать, не задавал себе таких вопросов. Он передал Энтрагю не только губернаторство в Пизе, но и командование пограничными замками, и без дальнейших колебаний покинул город.

Робер де Бальзак, сеньор д'Антрагэ, был, по словам Коммина, очень нездоровым человеком. Но такого же мнения придерживались многие историки в отношении самых успешных из своих политических противников. Робер де Бальзак был сыном Жана д'Антрагэ, а его жена - сестрой знаменитого графа де Даммартена. Роберт был еще совсем молодым человеком, когда воцарение Людовика XI привело к опале и изгнанию его всемогущего дяди. Каждый, кто изучает историю, знаком с легендой об этом великом позоре: как поместья несчастного министра были поделены между фаворитами при дворе; как его жена с грудным ребенком осталась без средств к существованию и была изгнана из всех своих замков; Как, покинутая всеми своими друзьями, она бродила, как отлученная от церкви, по переулкам Даммартена, выпрашивая хлеб, пока бедный поденщик Антуан Ле Фор не приютил брошенную графиню в своей лачуге и не приютил ее и ее восемнадцатимесячного ребенка, голодающего крестника герцога Бурбонского. Жанна все еще находилась в крестьянской хижине; ее муж бежал, спасая свою жизнь, в Германию, и тогда, в качестве последнего усилия, Робер де Бальзак, племянник графа, был послан ко двору, чтобы заступиться за него. Задача была не из легких. За просьбы о помиловании Даммартена людей изгоняли из страны или сажали в тюрьму, и многие благонамеренные друзья могли бы отговорить молодого человека. Но он пошел своим путем, прибыл ко двору в конце 1466 года и так хорошо выступил, что после нескольких аудиенций король вспомнил о своем дяде и сделал его высокопоставленным.

Таким был человек - около сорока лет, риторичный, импульсивный, храбрый, щедрый и дерзкий, которого король оставил командовать в Пизе.

VI.

Маленькая армия Карла, тащившая свою артиллерию с израненными руками через Апеннины, пробивавшаяся через венецианские войска у Форново, прибыла наконец в Асти; и когда наступил август, перед ними забрезжила перспектива мира. Король заключил соглашение с Флоренцией; и, учитывая неизбежное вероломство ситуации, Туринский договор не был недобрым. Правда, король согласился вернуть город Пизу с другими тосканскими крепостями своему союзнику Флоренции, но при условии, что пизанцам не будет объявлена амнистия. Отныне они должны были торговать на море и на суше на равных с Флоренцией, пользоваться теми же гражданскими правами, их древние искусства мореплавания и кораблестроения должны были быть освобождены от эмбарго, а их конфискованное имущество должно было быть возвращено в их владения. Карл надел

намордник на гончую; Пиза, хотя и вернула себе прежнюю энергию, отныне должна была находиться под защитой главного союзника - Флоренции.

По сути, Карл предлагал сравнительное равенство. Оставаясь неотъемлемой частью флорентийской территории, как того требовали безопасность и процветание республики, отныне восхитительное торговое положение Пизы не должно было быть обращено только на флорентийскую выгоду, и пизанцы не должны были полностью управляться флорентийскими целями и флорентийским советом. Отныне пизанцы сами должны были иметь место и право в своем управлении; единственным исключительным преимуществом, которое должны были сохранить флорентийцы, было бы то высшее достоинство, тот запас власти, с которым могущественная страна-мать неизбежно управляет своими колониями и зависимыми территориями. Отныне в праве, во всем, что можно оценить с помощью франшизы и юрисдикции, пизанцы должны были стоять на равных с флорентийцами.

Решив это, Карл, убедившись, что ни к кому не был несправедлив, 16 августа написал из Турина письмо Антрагесу, подписанное им самим и подписанное Оранским, Винкулом, Бризонне, Жье, де ла Тремуьем, Коммином и (к нашему удивлению) Пьенном. Этот список имен красноречиво свидетельствует о триумфе дипломатической партии; в нем нет ни Линьи, ни д'Амбуаза, ни Этьена де Босера, хотя они были одними из самых близких королевских советников. На самом деле необходимо было срочно что-то предпринять. Орлеан и его люди все еще голодали в осажденной Новаре; Монпансье с армией сражался с отчаянными шансами в Неаполе. Мир с Флоренцией немедленно передал бы в руки короля 70 000 дукатов и 250 человек вооружения;^[131] кроме того, освободил бы солдат в Пизе, Мурроне, Ливорно, Сарзане, Пьетра-Санта и Либрафатте, которые вместе с флорентийским контингентом стали бы действенной поддержкой Монпансье. Но Флоренция не хотела платить деньги, пока крепости не окажутся в ее руках.

Письмо короля к Антрагесу прибыло в Пизу 29 августа. "Вы можете чувствовать, - говорилось в письме,^[132] - из-за вашей присяги определенную трудность в передаче новой Пизанской цитадели в другие руки, кроме наших, но мы освобождаем вас от этой присяги и приказываем вам, как только вы получите это письмо, передать указанную Пизанскую цитадель в руки комиссаров Флоренции, при условии, что один или любой из наших советников заверит вас, что правительство Флоренции согласилось с нашими статьями".

"A cause du serment que vous avez fait, vous pourriez différer de ne mettre la dicte Citadelle neufve de Pise en aultres mains que les nostres." Эта фраза позволяет предположить, что, покидая Пизу, Карл обещал городу постоянную французскую защиту. По крайней мере, кажется очевидным, что Энтраг поклялся уступить свою позицию только французам.

Эти три месяца Энтраг и его люди жили как спасители Пизы вместе с пизанцами, их приветствовали горожане, их поселили не только в цитадели, но и во дворце Медичи на Лунг' Арно; теперь они уже не были незначительной частью пестрых хозяев Франции, а были любимыми гостями и хозяевами этого изысканного южного города. У них было преимущество порта, из которого можно было отправлять помощь армиям на юге или из них; они наслаждались большими сосновыми лесами у моря, полными дичи для охоты; они полюбили широкие, мягкие виды плодородных равнин, ограниченных тусклой линией синих гор, где их товарищи держали пограничные замки. Позиция французов в Пизе была не только выгодной, но и сильной, и они должны были отдать ее в руки флорентийцев, союзников, правда, их короля, но для них отчаянных и смертельных врагов, с которыми, нарушая перемирие, они постоянно вели обостренную и изнурительную партизанскую войну набегов и грабежей. И эти три месяца, которые усилили первоначальную подозрительность

и неприязнь, которую французская армия питала к Флоренции, были потрачены на дружбу и помощь пизанцам, к которым даже вначале они испытывали столь божественный приступ жалости, а теперь им было приказано предать. Большинство мужчин, вероятно, завели отношения в городе. Энтрагес, как мы знаем от Гиччардини, был сильно влюблен в дочь мессера Луки дель Ланте и, вероятно, находился под ее сильным влиянием; чуть позже он женился либо на этой, либо на другой пизанской даме, поскольку Марин Сануто говорит о Сан-Кассано, пизанском послу в Венеции, как о "el cugnato d'Andrages". Таким образом, страсть, не меньшая, чем обида, и чувство благополучия, а также сострадание связывали Энтрагеса с Пизой. Добавьте к этому, как ни невероятно, чувство верности; ведь как ни долго длилось правление Людовика XI, оно было недостаточно долгим, чтобы искоренить феодальную идею, и Энтрагес, хотя и был подданным короля, чувствовал себя в гораздо более близкой степени вассалом Орлеана и лейтенантом Линьи. Как я уже говорил, имена Орлеана и Линьи отсутствуют в подписях под письмом короля. Уступить Пизу означало бы переломить их политику; и вполне возможно (Коммину, Гиччардини, Джулини, Порто-Венере и другим современникам это казалось совершенно несомненным), что Орлеан или Линьи написали Энтрагесу и велели ему сопротивляться решению короля. По крайней мере, в этом можно быть уверенным: *Антраг отказался уступить крепости*.

Король тщетно повторял свои настоятельные письма - письма, которые до сих пор хранятся во Флорентийском архиве под датами 29 и 31 августа, 25 сентября, 1 и 22 октября - письма, умоляющие, приказывающие эвакуировать гарнизоны, но все было напрасно. Не только Пиза, но и Сарцана, Пьетра Санта, Либрафатта и Мурроне упорно сопротивлялись королевскому мандату; только губернатор Ливорно 17 сентября поддался на уговоры своего государя. Тем временем в Неаполе, в Гаэте, Таранто и Ателле, во всех опустевших деревнях дикого Аббруцци голодная и покинутая армия день за днем тщетно вглядывалась в горы на север. Зима пронзительно свистела над ветреными холмами; из болотистых долин поднимались сизые туманы и тонкие лихорадки; кукуруза не уродилась, и жестокий голод начал опустошать землю; а обещанные подкрепления все не приходили. Из этой доблестной армии почти все солдаты погибли от голода, кораблекрушения или малярии, потому что войска, которые должны были принести им помощь из Тосканы, никогда не покидали городов, где они жили.

18 сентября Энтрагес заключил официальный договор с пизанским синьором. Если через три месяца король не вернется в Тоскану, он обязывался эвакуировать цитадель и оставить ее в руках пизанцев. Тем временем они должны были ежемесячно поставлять ему две тысячи дукатов, необходимых для оплаты и обеспечения гарнизона; а при оставлении крепости они должны были купить его артиллерию и выдать ему 20 000 (или, как говорит Сануто, 30 000) дукатов для себя. Эти условия не были чрезмерными: несколько лет назад флорентийцы с радостью заплатили 150 000 дукатов за Пьетро Санта, менее важное место. Однако это было столько, сколько Пиза могла заплатить: чтобы собрать сумму, пизанские дамы с радостью продали самые яркие из своих драгоценностей. А пизанцы в благодарность за стойкость и умеренность Антрагеса наградили его большим поместьем, недавно конфискованным у флорентийцев, и дворцом в городе. "Он сделал это не ради денег, - замечает Гиччардини, - ибо флорентийцы, несомненно, дали бы ему вдвое больше". Вероятно, именно из дружбы и жалости, из искреннего энтузиазма, из древних чувств феодальной преданности в сочетании с желанием нажиться Энтрагес совершил эту роковую и катастрофическую ошибку.

VII.

Флорентийцы действительно оказались в крайне затруднительном положении: Карл, который был их союзником, оказался бессилем добиться возвращения им Пизы, и итальянские города решили, что Пиза ни за что не должна перейти к союзнику Карла. Этот пост в руках друзей Франции означал бы не только всегда открытую дверь из Марселя в Тоскану, но и постоянное снабжение французских гарнизонов в Неаполе. Было ясно, что Пиза должна быть сохранена, но Пиза была слишком слаба, чтобы устоять в одиночку; заговоры и контрзаговоры омрачали решение о том, какому великому государству должен принадлежать пизанский порт.

С 16 сентября по 14 декабря капитан Фракасса, капитан герцога Миланского, удерживал город под ревнивым наблюдением венецианского комиссара, в то время как Энтрагес и его французы заперлись в цитадели. Несколько месяцев спустя сиенцы, лучезарцы и генуэзцы объединились в тайный союз с Пизой против флорентийцев. Милан и Венеция плели вокруг этого места непрекращающуюся паутину интриг. И вполне возможно, что, оставаясь в цитадели, Энтрагес руководствовался возвышенным и героическим чувством непокорности, надеясь своим присутствием сохранить Пизу в верности Франции и не дать ей укрепиться в руках смертельных врагов своей страны.

Как бы то ни было, 1 января Энтрагес, несколько дней назад оказавший помощь в изгнании Фракассы, передал цитадель в руки пизанского синьора. Радость была велика. Еще до наступления ночи ненавистная крепость, построенная флорентийцами для господства над городом, превратилась в бесформенную груду развалин. Были отчеканены новые деньги с головой Карла VIII, и артиллерийские залпы гремели по всей равнине до самых стен Флоренции, с угрозой возвещая о наступлении нового года, который начался с свободы в Пизе.

Сам Антрагес, разбогатевший на жемчужинах пизанской красоты, удалился на месяц-другой в Лукку, чтобы завершить свои торговые операции с крепостями. Пьетра Санта он продал в Лукку, Сарцана - в Геную. Он оказал добрую услугу Пизе, распределив их за круглую сумму между ее союзниками. Но если он надеялся, что Пиза сохранит свою независимость под защитой этих скромных друзей, то легко обманулся: не далее как 26 января мессер Джанбернардин дель Аньоло был отправлен в Венецию со смиренным посланием, умоляя августейшую защиту молодой республики со стороны этого города. Именно к Венеции, а не к Милану обратились пизанцы - Венеция теперь преобладала на полуострове, тайно укрывая Пизу и Таранто под своей широкой эгидой. В течение тринадцати лет с этой даты переменчивые судьбы, жадность и ревность великих итальянских городов способствовали искусственной свободе в Пизе. Перебрасываемая, как мяч, из Милана в Венецию, из Венеции к Максимилиану, от Макса снова в Венецию, а оттуда к Сезару Борджиа, несчастная республика прошла весь круг отчаянных надежд, мучительного мужества, страданий, нищеты, коварства и предательства. Но муки ее героических перипетий нас в данный момент не касаются. Поведение Антрагеса - наше дело.

С того новогоднего дня для французов в Неаполе все надежды были потеряны. Газета, Таранто, Ателла, Остия пали; Монпансье умер от разрыва сердца, войска - от лихорадки; великое королевство гвельфов, видение стольких веков, исчезло, как сказочное золото, как только французы ухватились за него.

Во Франции граф Линьи, покровитель Антрагеса, был с позором изгнан от двора. "Он уехал в свои поместья в Пикардии, - писал Антонио Винчивера, - как отчаявшееся существо. Король

опозорил его из-за пизанского дела". Таким образом, Энтрагес самым эффективным образом разрушил шансы своего хозяина: и хотя со временем Линьи был помилован королем, это произошло не при жизни его невесты. В феврале 1498 года дочь Магов скончалась вдали от рук Линьи, в своем женском монастыре в Неаполе.

Но если поступок Антрагеса оказался неудачным для его друзей, то для его врагов во Флоренции он имел более губительные последствия. Партия Савонаролы так и не смогла оправиться от того, что французы не смогли вернуть Пизу. В течение некоторого времени, среди голода, моровой язвы и разрухи, они все слабее удерживали город: "И все же они стоят в надежде на то, что выше", - насмехается Марон Сануто весной 1497 года, - "и все же они ожидают прихода короля". Годом позже, в мае 1498 года, Савонарола избавился от этого заблуждения с помощью пламенного покаяния на костре. "Questa è la fine dei cattivi!" - восклицает венецианский секретарь.

Из всех действующих лиц этой сложной драмы не пострадал лишь один человек - сам Энтрагес, обещанный освободитель. Он вернулся жить в Пизу, где, судя по всему, демонстрировал выдающееся и почти официальное достоинство. Дважды в трудные моменты предлагалось отправить Энтрагеса посланником в Венецию вместо его шурина, но необходимость отпала. Он остался в комфорте и блеске в Пизе, где мы читаем о его приеме послов Луккезе и ведении дипломатии Республики. Сама Пиза - несчастная приверженка свободы - становилась все беднее и беднее, скромная пенсионерка на венецианские щедроты: "Они нас обожают", - с некоторой долей фатума замечает Сануто, - "и, по правде говоря, без нас они бы умерли с голоду". Но Пиза, лишенная всех своих территорий, разместила своего освободителя во дворце, и для этого добровольного изгнанника не имело значения, что его король заявил о готовности обезглавить его королевскими руками. А пока он оставался естественным центром всех достоинств в Пизе. Здесь мы в последний раз видим его в ту зловещую весну 1498 года, когда во Флоренции мученически погиб Савонарола, а во Франции внезапно умер Карл VIII. Вихрь, уничтоживший эти могучие корабли, позволил пустой соломе плыть невредимой. "Энтраг вернулся в Пизу, - пишет Сануто, - которая сейчас очень бедна, потеряв все свои земли и существуя только на то, что мы ей даем. Он уже некоторое время как вернулся из поездки в Иерусалим. Он живет в нескольких семьях в Пизе. У него есть свои деньги, и он позволяет себе удовольствия".

Пять лет спустя, когда возвышению Венеции стала угрожать ревность итальянцев, пизанцы начали искать нового покровителя. "Мы скорее отдадим себя дьяволу, - заявили они, - чем Флоренции". На самом деле они предложили себя Сезарю Борджиа. Они выдвинули очень мало условий: два из них заслуживают внимания в свете нынешней истории:

"Пизанцы отдадут себя в руки Иль Валентино, если ни он, ни Папа никогда не заключат мир или перемирие с Флоренцией".

"Новый герцог должен пообещать городу никогда не заключать ни мира, ни союза с Францией".

118. 30 октября 1403 года он написал Флоренции и предложил взять один из лучших миланских городов между Миланом и Пьемонтом, если Флоренция предоставит ему (как она и сделала) помощь в 200 копий (Florence Archives, Filza II. dei Dieci 3). Из этой договоренности, которая, судя по всему, была совершенно не принята во внимание королем, ничего не вышло.

119. См. предыдущую главу о Валентине Висконти.

120. См. рукописное письмо, я полагаю, отпечатанное, во Флорентийском архиве, Dieci di Balia, Classe x. dist. iii. No. 2, f°. 56: Istruzione data a Pierotto Fidini: "Andrai a Pisa e sarai con Madonna Agnese e dicele che tu ciai (ci hai) referito quello chella ta detta (ch'ella ti ha detta) e, uditolo, noi siamo contenti seguitare il ragionamento, cioè di contrarre con lei buona pace e sicura sì che tra lei e noi non abbia da essere guerra. Ma che, per fare contento il nostro popolo, e mostrargli come cosa sia sicura che guerra non gli [siasia](#) fatta a noi, è bisogno chella metta nelle mani del Comune nostro quatro Castella colle loro forteze, di quelle del Terreno di Pisa che per noi si nomineranno et vogliendo ella fare questo noi verremo alla pace e alla concordia realmente.

"Se ella dinegasse questo volere fare, avendo tu prima provato e riprovato chella il consento, et ella dicesse di volere mettere le dette castelle colle forteze loro in mano di terza persona fidata a lei ed a noi, dirai in ultimo che noi siamo contenti. E se questo ella non movesse a te ma stessesi pure in su la negativa-di non ci volere dare le dette castella-allora moverai tu a lei dicendo che, poi che non le dia piacere mettere le dette castella nelle mani nostre, chella le metta nelle mani di terza persona di lei e di noi fidata. E che a questo ella consente e volere che tu nommassi le castella, dirai Livorno, Librafacta, Casena e Ponteacra. E se d'alcuni di questi [ellaella](#) dicesse non potere fare, saprai quali. E in scambio loro dirai Palaia e Marti se fossino più d'uno. Если она спросит, кого мы хотим взять в качестве третьего лица, скажите, что вы не информированы, но что вы на это ссылаетесь, и если она не назначит кого-либо, то вы будете в курсе. E poi ne vieni subito alla presentia nostra, bene informato d'ogni cosa. Et eziandio d'ogni novettà e cosa che sentire puoi" (17 апреля 1404 года).

121. Dieci di Balia, Classe x. distinzione iii. No. 2, f°. 58. Я перевожу целиком это интересное письмо, до сих пор, я полагаю, не публиковавшееся:

"Istruzione data a Bonaccorso di Neri Pitti ... di quello che abbia fare a Genova". 28 апреля 1404 года: Andrai a Genova. E sarai al Governatore Messer Giovanni Bouciquaut, Luogo tenente del Re. E lui saluterai affettuosamente per parte del Comune nostro.

"Di poi gli dirai come di questo mese egli manda al nostro comune suo Ambasciatore Maestro Piero di Nantrone, suo secretario. Il quale, per sua parte, ci notifica come egli aveva ricevuto per vasallo e feudatorio del serenissimo Re di Francia Messer Gabriello Maria di Visconti colla città di Pisa e col suo terreno che possedea. Et aveva presa la sua difesa. E che darà per censo al detto Regni anno uno cavallo e uno falcone pellegrino. Secondaria, ci prega che ci piacesse per lo avvenire non offendere la [cittàcittà](#) nil (ne il) terreno di Pisa predetto, per rispetto del [SerenissimoSerenissimo](#) Re predetto. Et agli aveva preveduto che di quelli di Pisa non sarebbe fatta alcuna offesa nel nostro terreno.

"Tertio disse che noi possiamo colle nostre mercatantie usare et trafficare a Pisa sicuramente come a Genova e in qualunque altra terra del Re di Francia.

"Al quale Ambasciatore fu risposto in effecto che noi ci maravigliamo et dolevamo, come essendo noi in guerra colla dicta città di Pisa e con chi la teneva-et essendo noi al disopra per liberare la detta città di tirannia et avendo rispetto quanto noi siamo sempre frati, e siamo servidori della detta Corona di Francia; et egli aveva presa la difesa loro contro a noi; e che questa non era honesta cosa.

"Alla seconda parte-di non offender-egli fu detto, che in ciò noi terremo tali modi come vedessimo convenirsi e che non gli darebbero dispiacere.

"E alla terza parte, diciamo che l'usare in luogo dove avesse a fare alcuno dei Visconti di Milano non ci fu mai sicuro, non potrebbe essere, considerati le inimicitii e odii antichi stati da detti Visconti al comune nostro; Conchiudendo che sopra le dette cose noi faremo risposta più pienamente al detto Signor Boucequaut per nostri Ambassadors.

"E poi gli direte che-se mai noi avevamo maraviglia di alcuna cosa-noi abbiamo dello avere gli, in nome del Serenissimo Re di Francia, presa la difesa di Pisa e di quello che gli possiede, contro a noi, figliuoli devotissimi della corona di Francia stati sempre, in favore dei Pisani che sempre sono stati inimici della detta Corona. Et maximamente essendo noi in guerra con Pisa e con chi la tiene, non di nascosa ma pubblicamente e non di guerra hora cominciata ma durata lungamente. Et essendo noi con nostro esercito in punto et in ordine per esser intorno alla città di Pisa, sperando in shortvissimo tempo liberarla della Tirannia dei Visconti. E per poter meglio e con maggiore forza cosa fare, abbiamo fatta grandissima spesa nello apparecchio di questo, il quale possiamo dire per cagione sua avere tutta perduta. E con lui di questo vi direste amichevolmente, subiungendo che noi ci rendiamo certi che quando il Serenissimo Re di Francia e suo Consiglio sapranno questo, essi n'avranno dispiacere come di cosa non honesta et iniusta. Il che non fu mia usanza della Corona di Francia fare, et come di cosa fatta contro a i suoi figliuoli e divoti in favore di un Tiranetto e d'una città stata sempre nemica della Corona di Francia. A presso gli direte, che, per riverentia della Maestà Reale la quale egli rappresenta (come che duro e malagevole ci paresse per le ragioni di sopra asseggante) già sono più di passati, noi facciamo commandamento a tutta nostra gente d'arme e subditi: Che nel terreno di Pisa non dovessenodovesseno fare alcuna offesa o cavalcata, e così è stata observata: la qual cosa fare grava molto il nostro popolo per gli rispetti scripti di sopra. E mai non si sarebbe creduto per nessuno Fiorentino che Messer Bouciquaut il quale abbiamo reputato a noi e reputiamo amico singularissimo avesse mai fatta tale cosa contra a noi ma pensiamo che questo sia proceduto da altri con velati colori che gli le hanno dato a dividere; ma veramente questo che fatta ha non è cosa punto honesta ne iusta ne utile ne honorevole per la Maestà Reale. E per tutto il pregherate che gli piaccia, veduta la verità del fatto, renonciare questo che ha ordinato in questa materia, ed essere contento che noi possiamo seguitare contro a Pisa, e chi la tiene, la nostra impresa. E questo sarà a lui honore et a noi, figliuoli della Corona, singularissimo piacere.

"Alla parte del trafficare et usare a Pisa i nostri cittadini e mercatanti colle loro mercatantie, direte che niuno cittadino se ne fiderebbe mai ne vorrebbero trafficare, essendo Pisa nella mani d'alcuno dei Visconti, come ella è. E non che ivi-ma in alcuna terra dove alcuno dei Visconti avesse a fare, per che essi sono antichi nostri nemici e molte volte l'anno (l'hanno) dimostrato-e romperci la fede e pace e tregua; e bene lo vedevamo dove, essendo colligati colla Serenissima Corona di Francia, il Conte di Vertus ci ruppe la Pace e manifestò tradimento contra Dio a vergogna della detta Corona, sì che in modo alcuno non ci potremo mai fidare in luogo done alcuno di loro avesse a fare."

Здесь документ оставляет политику, чтобы защитить ссору частных флорентийских купцов в Генуе, пожаловаться на поведение пизанцев, совершивших набег на земли мессера Герардо д'Аппиано, феодала Флоренции, и пожаловаться на секвестр товаров некоторых флорентийских купцов Генуи. Десять также заявляют, что они отправляют мессера Ринальдо Джанфильяцци и мессера Филиппо Козими с посольством во Францию, чтобы изложить свое дело королю. F°. 60 сообщает нам, что Бусико освободил конфискованные товары и что между Флоренцией и Пизой было подписано перемирие на тот срок, пока Пиза будет оставаться в подчинении короля Франции.

122. Брит. Museum MSS. 30, 669, f. 238; договор между королем Франции и Г.М. Висконти, лордом Пизы. Башня и форт Ливорно должны быть отданы французам, король обещает, что никому не будет позволено войти в Ливорно против воли Габриэле Марии Висконти. Также

quod absit, если замок Ливорно будет взят врагами упомянутого Габриэле Мария, или если он каким-либо образом восстанет против него, король и его лейтенант обязуются предоставить свободный проход любому войску, которое упомянутый Габриэле Мария может послать для его подчинения. Король недвусмысленно обещает, что если какое-либо из владений Габриэле Марии будет утрачено в результате предательства стражников или иным способом, он вступит в войну с обманщиками и попытается вернуть их. Король вкладывает Габриэле Марии с помощью золотого кольца все свои владения, кроме башни и форта Ливорно.

123. Пока у меня нет никаких документальных подтверждений этим статьям, которые можно найти в "Ливре фактов Маришала Бусико", часть iii. гл. 10. Я привожу их и верю в них, потому что во всех случаях я находил архивные документы, подтверждающие или объясняющие утверждения этой конкретной хроники; потому что статьи дышат самим духом Бусико; и потому что я думаю, что именно на это соглашение ссылаются флорентийцы в цитируемом далее письме (Spoglio del Carteggio i. ii. fo. 221) под датой 15 августа 1406 года. Акт, на основании которого флорентийцы становятся вассалами Франции в Пизе, хорошо известен. Он напечатан в книге Дюмона.

124. "Arch. Nat.", Paris, Carton K. 55, No. 11, prèce 8; 27 июля 1406 года: "Charles par la Grâce de Dieu Roy de France, à nos amés et féaulx gens de nos comptes et trésoriers à Paris et à tous nos aultres justiciers et officiers ou à leur lieutenant, Salut et dilection!

"Savoir vous faisons que nos très-chers et très-amés frère et cousin les Ducs d'Orléans et de Bourgoigne, nous ont au jour dit fait foy et hommaige lige des ville terre et Seigneurie de Pise et de toutes terres appartenans et appendans quelconque, à eulx appartenir communément. Auquel hommaige nous les avons reçus sauf notre droit et l'autrui. Вы должны, и все ваши чада должны знать, что по причине этого закона, вы не будете страдать или суфлировать нашим братьям и кузенам, ни один из них не будет мешать, мешать или мешать диктуемой вилле Терре эль Сеньория де Пиза, а также другим территориям, к которым они принадлежат и примыкают. Mais si pour la dicte cause elles estoient empeschées mettez les leur ou faictes mettre a plaine delivrance. Donné a Paris le 26 jour de Juillet, 1406, et de nostre regne 26. За короля, графа де Танкарвиля и других принцев".

125. Корио.

126. "Filza xxii. della Signoria": см. ф°. 283, Spoglio del Carteggio, 10 октября 1406 года, флорентийская армия входит в Пизу: "La città di Pisa si rende al comune di Firenze: l'esercito vi entra vittorioso nel di senza commettere alcune violenza e prende il possesso di tutte le Fortezze." 14 октября некоторое количество пизанцев было отправлено во Флоренцию в качестве заложников; у всех пизанцев было отобрано оружие для нападения и защиты. 12 ноября было приказано отправить во Флоренцию еще большее число заложников в количестве ста пизанских граждан, "dei più atti alle fazioni". Гражданский порядок был установлен под управлением магистрата и восьми приоров.

127. "Spoglio del Carteggio", i. ii., ф°. 221 (Filza xx. della Signoria), 15 августа 1406 г.: "Письмо дельи Синьории, отвечающее на письмо короля Франциска в похвалу Пизанам, которые объявили о том, что у них есть синьор. Синьория жалуется, что эта процедура произошла после того, как приобретение города, которое Синьория приобрела в качестве компенсации, было подтверждено Ре с Фиглио, а затем были поданы различные жалобы Габриэлю Марии Висконти и Джованни Ле Мейнгре (Бусико), генеральному луготенанту короны и губернатору Генуи". Копия этого письма отправлена в Орлеан, Бургундию и Берри.

128. Существует ряд документов, касающихся этого задержания флорентийских послов: "Синьоры Карт. Miss." Reg. 1. Cancelleria 27, f°. 26 *и далее*, в архиве Флоренции, под датами 10 мая, 3 июня, 25 июня, 11 июля. Письма слишком длинные, чтобы публиковать их здесь, см. также "Spoglio del Carteggio", f°. 286, краткое изложение посольства, отправленного синьором к королю Франции, Орлеана и Бургундии в оправдание покупки Пизы и ее осады. Послы "были околдованы дукой д'Орлиенсом, за то, что он, приобретя город, отправил к нему Бонаккорсо Питти". Питти должен был присоединиться к Альберто дельи Альбицци уже во Франции, и, отправившись в Авиньон, они должны были встретиться с Антипапой, поговорить об унии Церкви, изложить ему политику Республики и получить от него похвальные письма ко двору во Франции. Но Антипапа был менее грозным союзником, чем во времена Климента.

Любопытно отметить, что синьория предписывает своим послам, если они не смогут добиться от короля освобождения заключенных послов, обратиться в конце концов к парламенту. При этом предполагается, что парламент был сильнее короля или даже Орлеана - этакий трансальпийский провинциализм.

129. "Архивы Флоренции: Spoglio del Carteggio universale della [RepubblicaRepubblica](#) Fiorentina dell' anno, 1401-1426," tome 2, f°. 273: "Ricuse la Signoria di pagare la rata dovuta a Gabriel' Maria Visconti, non essendo egli in sua libertà, ma in poter' del Duca di Milano, che serbava convertire il denaro in suo servizio." *Vide* "Filza II de' Dieci", f°. 170. Июнь, 1406 г.

130. См. речь - правдивую, как мы можем предположить, если не по фразе, то по факту - в "Истории" Гиччардини.

131. Оруженосец - это разное количество солдат, от пяти во Франции до трех, а иногда и одного в Италии.

132. Archives de Florence, No. 52, цитируется Cherrier, ii. 294.

The Gresham Press,
БРАТЪЯ УНУИН,
ЧИЛВОРТ И ЛОНДОН.

Примечание переводчика

Сноски перемещаются вслед за абзацем, на который они ссылаются, и располагаются в нумерационном порядке для обеспечения уникальности.

Гифенация сложных слов может быть различной. В тех случаях, когда он встречается при переносе строки, используется наиболее употребительная форма. Многие сноски содержат расширенную транскрипцию на итальянском языке XIV или XV века, и трудно установить их правильность. За некоторыми исключениями, отмеченными ниже, текст печатается дословно.

Название монастыря "Родердесдорф" в "Содержании" везде дается в тексте как "Родардесдорф". Записи в Содержании были исправлены для облегчения поиска.

Ссылки на страницы в "Содержании" направляют читателя к указанным темам. Однако следует иметь в виду, что ссылки на главу "Французы в Пизе" сбиваются после с. 354, а одна запись отсутствует полностью, но, скорее всего, относится к с. 358.

Очевидные типографские ошибки или недостатки печати были исправлены и отмечены здесь вместе с их исправлениями. Исправления указаны по номеру страницы и строки, а если исправление относится к примечанию, то по номеру примечания и строки внутри примечания.

iv.8	и, наполовину испугавшись, [/I] сказал тебе	Восстановлен о.
viii.1	Монастырь Род[e/a]рдесдорф	Заменено.
n1.3	Beginnen-häuser [i]m Mittelalter	Восстановлен о.
n1.5	Geschic[h]te der deutschen Mystik	Добавлено.
8.29	Александрийские теории псевдо-Дионисия	Удалено.
14.1	бедные тщеславные мистерии	Добавлено.
33.28	подозреваемый в ее [ее/ее].	Перенесено.
37.17	пант[ийская] идея	Перенесено.
38.3	К середине пятнадцатого века [Т/Т]он Бегардс	Заменено.
59.27	столько часов?	Добавлено.
64.19	за грехи нерадивых	Удалено.
61.17	спасибо	Добавлено.
82.21	это бессознательное отношение	Удалено.
n5.1	Биб. Nat. Франц.	Заменено.
120.9	Que cette Bergère jolie.[/'"].	Заменено.
148.17	суперсессия	Заменено.
149.21	"И это путешествие", - говорит Фруассар.	Добавлено.
n41.7	pour en avoir garde [/'"].	Добавлено.
182.28	его дяди Берна[d/b]ò>.	Заменено.
193.27	[(Если мы можем доверять приговору Корио)	Добавлено.
n57.6	(Pièces Originales Fontanieu, dossier 1185, No. 38[/'"].	Добавлено.
200.13	герцог боялся Сфорца[o/a].	Заменено.
207.16	оказался необычайно увлекательным	Добавлено.
221.5	резолуция графа Франческо Сфорца[o/a].	Заменено.
n90.1	обещал оказать помощь дофину.	Восстановлен о.
262.25	1 300 человек с оружием	Заменено.
277.3	Что для него было великолепие земли?	<i>sic</i> : "для него"?
282.23	он сражался почти непрерывно	Добавлено.
294.4	насмехаясь над священной мон[o]граммой	Добавлено.
302.30	посоветоваться с мудрым старым государственным деятелем	Заменено.

	и узнать его мнение	
n113.13	et diceva non si voller p[ui/iù] curar ne de figlioli	Заменено.
309.21	он устал от своей жизни[.]	Добавлено.
326.1	и к бедному Лоренцио	Восстановлен о.
321.24	в сочинении экспромтом стихов	Добавлено.
330.25	с упомянутым Петром[...]", - говорит Комминс.	Заменено.
335.20	Пьетра Санта, [которая] обошлась им в 150 000 дукатов	Убрано.
340.15	Медитский [раннеанский/средиземноморский]> морской порт	Заменено.
n120.9	guerra non gli [f/s]ia fatta a noi	Заменено.
n120.24	di questi ell[/a]	Восстановлен о.
n121.17	la citt[a/à] nil	Заменено.
n121.18	del Seren[e/i]ssimo Re predetto.	Заменено.
n121.62	Che nel terreno di Pisa non dovess[o/e]no fare alcuna	Заменено.
n122.12	Он будет вести войну с обладателями славы.	Добавлено.
358.13	задержание флорентийских послов Орлеаном[,]	Добавлено.
n129.2	делла Репуб[ика] Фиорентина	Добавлено.
368.2	пишет очевидец, ["чтобы"] услышать их.	Заменено.
369.30	не мог попытаться оправдать[-/.]	Заменено.
388.4	Gi[e/é]	Заменено.